10 04 – 43 / 174



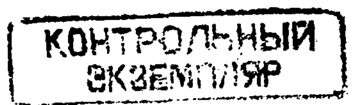

10 04 – 43
174

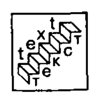
А.И. Ильф

Илья Ильф, или Письма о любви

Неизвестная переписка Ильфа

Биографический очерк
Комментарии



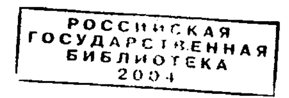


Москва «Текст» 2004

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
И45



Федеральная целевая программа «Культура России»
(подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)



Фотографии, письма и документы, не оговоренные особо, — архив А.И. Ильф.

Письма Ильфа и С.Г. Гехта к Генриетте Адлер, письмо Ильфа к Т.Г. Лишиной («Мой мощный друг!») и воспоминания Н.В. Гернет — фонды Одесского литературного музея.

Неопубликованные воспоминания Е.Б. Окса и *Ироническая поэма* Ильфа — архив Л.Е. Окс.

Орфография оригиналов в основном сохранена.

ISBN 5-7516-0427-X

© А.И. Ильф, 2004
© «Текст», 2004

Моим дорогим родителям
посвящается

Довольно странное название этой книги — *Илья Ильф, или Письма о любви* — возникло по аналогии с заглавием знаменитой повести Виктора Шкловского *ZOO, или Письма не о любви.*

Поэтому «Илья Ильф» здесь — не автор книги, а обозначение ее содержания.

Письма же — именно о любви.

Расскажу подробнее.

Книга складывается из двух частей.

Первая — жизнеописание Ильфа, охватывающее одесский период (детство, отрочество и юность, вплоть до 1923 года), отъезд в Москву, работа в газете «Гудок», формирование журналиста и писателя. Проследив пятилетний путь Ильфа — московского литератора-одиночки (без мотора!), прервем жизнеописание в конце 1927 года, когда Ильф с Евгением Петровым стали трудиться «в четыре руки». Это, разумеется, не означает, что Ильф прекратил писать самостоятельно. Просто он стал писать еще лучше.

Вторая часть — переписка Ильфа с Марусей Тарасенко, которая стала его женой. Полторы сотни писем, и все — о любви. Первая публикация.

Письма общих друзей к общим приятельницам, бесхитростные письма родных, вплетающиеся в романтическую переписку, дают возможность ощутить реальную атмосферу жизни Москвы и Одессы того времени.

Вот и получается: *Илья Ильф, или Письма о любви.*

ИЛЬЯ ИЛЬФ: ЛИНИЯ ЖИЗНИ

1897–1927

Культурное человечество привыкло к тому, что Илья Ильф и Евгений Петров — единое целое: Ильф-Петров (Бойль-Мариотт, Братья Гримм, Жапризо и др.). Соавторы тоже не исключали подобной возможности: «Ильфа и Петрова томят сомнения — не зачислят ли их на довольствие как одного человека». Напомним: они не были родственниками, однофамильцами или ровесниками. «И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой — еврей (загадочная еврейская душа)».

Каждая «разрозненная часть» писателя Ильф-Петров была яркой индивидуальностью и заслуживает отдельного рассказа. Ибо первый этап жизненного пути каждый прошел самостоятельно.

Хочется собрать воедино документы, воспоминания, письма и фотографии, чтобы выстроить наконец некое «жизнеописание» Ильфа — от появления на свет в 1897-м до образования «дуэта» с Евгением Петровым осенью 1927 года, когда они принялись за роман *Двенадцать стульев*. Особого внимания заслуживает одесский период, который в литературоведческих трудах упоминается мимоходом или не упоминается совсем. Хочется представить его семью, его окружение, познакомиться с его друзьями и подругами — «соучастниками юности» (по выражению одного из «соучастников»), прочесть письма. Хочется обойтись без домыслов и предположений, дать слово современникам.

Обидно, что допущенные когда-то неточности прижились и повторяются. Существует, например, убеждение (основанное на словах самих соавторов и на воспоминаниях Петрова), что их «двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве» (*Двойная автобиография*). Однако в письме от 2 мая 1924 года Ильф пишет, что он фотографировался «на бульваре вместе с бандитами Юрой [Олешей], Валей [Катаевым], Женей [Петровым] и Мишей [братом]», что подтверждается сохранившейся фотографией. Конечно, они познакомились гораздо

раньше, а именно в 1923 году и, скорее всего, не в редакции «Гудка», а у Катаева, в Мыльниковом переулке, где тогда жил Петров и часто бывал Ильф. Многие ретроспективы словно «подогнаны» и «привязаны» к их романам.

Мемуарная литература — вещь непростая. Ее можно охарактеризовать латинской поговоркой: *De mortuis aut bene aut nihil*, то есть «О мертвых или хорошо, или ничего». Поэтому плохого не говорят, вспоминают искренне. Но возникает сложность, которую так точно подметил друг и земляк обоих писателей Лев Славин: «...Иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости — такие, казалось бы, крохотные подробности существования — в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа». Так оно и есть.

Поэтому напрасно огорчался Петров, когда писал: «Какая ужасная вещь — человеческая память! Десять лет проработал я за одним столом с Илей. И вот теперь, когда его нет и я хочу о нем написать, в голову приходят одни незначительные подробности...» (Евг. Петров — Сергею Токаревичу). Но именно «незначительные» подробности», задержавшиеся в его памяти («Ильф часто подходил к зеркалу», «Всегда требовал чай. Любил также пить воду», «Старушка, которой он соврал, что он брат Ильфа»), превращают Ильфа из человека, «родившегося (по выражению Славина) с мечом в руке», в человека. Это подтверждают наброски Петрова к задуманной им книге *Мой друг Ильф*. А слова Олеши о том, что «Ильф любил копченую колбасу, которую ел во время чтения, нарезая аккуратными кубиками», кажутся мне интереснее обычного набора банальностей. «Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим — и образ этого особенного человека будет огрублен...» — заключает Славин.

«Штрихи и краски» теперь приходится вылавливать по строчкам.

Существует сборник воспоминаний об Ильфе и Петрове, изданный в 1963 году. Воспоминания хороши, но порой грешат неточностями. Сергей Бондарин, например, произвольно соединяет три письма Ильфа в одно, а то, что ему не удается вместить в эпистолярный жанр, превращает в прямую речь. Бондарин упоминает листки бумаги, исписанные «прямым и крупным почерком» Ильфа. Но эти письма написаны почерком совсем не прямым и вовсе не крупным. Воспоминания, по умолчанию, не бывают документально точными: они всегда подернуты дымкой романтической грусти по

улетевшей молодости и ушедшим друзьям. А вот, что бы ни говорили о книге Валентина Катаева *Алмазный мой венец* («...не воспоминания, не мемуары, не лирический дневник...»), она бывает точна до изумления (эпизод с куклой подтверждается уцелевшей фотографией того времени; рассказ о нашествии компании во главе с Есениным на Сретенку, в квартиру Олеши и Ильфа, повторяется в *Книге прощания* Олеши, и другое). Разумеется, бывает путаница в хронологии, названиях, фамилиях. Это естественно: голова мемуариста — не компьютер.

Написано об Ильфе довольно много, но все-таки недостаточно, чтобы отчетливо представить двадцать пять лет, прожитых им в родном городе. Эту лакуну, по счастью, постоянно заполняют одесские краеведы: их публикации тщательно выверены в архивах. Одесса кажется мне неисчерпаемой сокровищницей. Я бесконечно благодарна всем, кто оказал мне неоценимую помощь в создании если не летописи, то биографическо-литературной канвы «одесского» периода Ильфа, в воссоздание образа Ильфа-одессита: С.З. Лущику, Р. Александрову (А. Розенбойму), Одесскому литературному музею в целом и Алене Яворской с Еленой Каракиной в частности, Одесской государственной научной библиотеке имени Горького в лице Ольги Барковской и Татьяны Щуровой, а также Татьяне Донцовой, специалисту по одесской Молдаванке.

Я не собираюсь «сочинять» биографию моего отца. Она рождается сама из мемории, комментированными свидетельствами беспристрастных наблюдателей времени — документами, письмами и фотографиями.

ОДЕССА
1897–1922

«ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ. Я СКАЖУ ВАМ ВСЮ ПРАВДУ...»

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ: Илья Ильф родился в семье банковского служащего и в 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.

Двойная автобиография (1929)

Бегло, можно сказать, изящно намечена линия жизни. Но подлинная жизнь не бывает такой изящной. Можно ли сделать сплошной эту пунктирную линию, подробнее рассказать об одесском периоде, потревожить как можно больше воспоминаний, писем, документальных материалов? Впрочем, как ни старайся, не все пустоты заполнятся. Время было такое, что молодые люди не вели дневников, уцелевших писем немного, а воспоминания, написанные десятки лет спустя, неизбежно беллетризируют и поэтизируют суровые двадцатые годы ушедшего столетия.

«ЗАГАДОЧНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ДУША»

ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ ОДЕССКОГО РАВВИНАТА, 1897:

> Иехиель-Лейб Файнзильберг, сын Арьи Беньяминовича Файнзильберга и Миндли Ароновны по браку в 1891 г., родился в 1897 году, 3 октября по старому стилю (обрезан 10-го дня).

> ОТЪ ОДЕССКАГО ГОРОДОВАГО РАВВИНА
> № 1694
> 1897 г. У Богуславскаго мещанина Арье Файнзильберга
> от его жены Миндли 3 октября родился сын
> дано имя Иехиель-Лейбъ
>
> Одесса, октября 8 дня 1897 г.
> Одесский городовой раввинъ

ПЕТРОВ: Ильф говорил: «Всё равно про меня напишут: “Он родился в бедной еврейской семье”».

Мой друг Ильф

ЛЕВ СЛАВИН: Ильф — и не только он один, а вся семья, в которой он родился и вырос, — представляет собой поразительный пример той силы, которой обладает прирожденное призвание.

Их было четыре брата. Ильф был третьим по старшинству. Отец их, мелкий служащий, лавировавший на грани материальной нужды, решил хорошо вооружить своих сыновей для житейской борьбы. Никакого искусства! Никакой науки! Только практическая профессия! Старшего сына, Александра — это было задолго до Октябрьской революции, — он определяет в коммерческое училище. В перспективе старику мерещилась для сына карьера солидного бухгалтера, а может быть — кто знает! — даже и директора банка. Юноша кончает училище и становится художником. Отец, тяжело вздохнув, решает отыграться на втором сыне, Михаиле. Уж этот не проворонит банкирской карьеры! Миша исправно, даже с отличием окончил коммерческое училище и стал тоже художником. Растерянный, разгневанный старик отдает третьего сына, Илью, в ремесленное училище. Очевидно, в коммерческом училище все-таки были какие-то гуманитар-

ные соблазны в виде курса литературы или рисования. Здесь же, в ремесленном училище «Труд» на Канатной улице*, — ничего от искусства. Здесь только то, что нужно токарю, слесарю, фрезеровщику, электромонтеру. Третий сын в шестнадцать лет кончает ремесленное училище и, стремительно пролетев сквозь профессии чертежника, телефонного монтера, токаря и статистика, становится известным писателем Ильей Ильфом.

Я знал их

*Не на Канатной улице, а на Старопортофранковской; училище не называлось «Труд» (см. ниже).

Глава семейства служил в Сибирском торговом банке, директором которого в 1910-х годах был С.М. Гутник.

ЕВГЕНИЙ ОКС: Помню отца. Маленького роста, скромный служащий. Мать, вечно занятая хозяйством. Уборкой, стиркой, готовкой на всю семью. Четверо сыновей, и у всех отменный аппетит. Это при голоде, когда цены взлетали в десять, двадцать раз.

Как, каким образом в такой семье выросли таланты столь непохожие, отличные друг от друга? И раньше всего Ильф. Отец его рассудил просто: первые два — старшие Александр и Михаил — были отданы в гимназию имени Николая I. Их надо было вывести в люди. Младший — Илья — был отдан в ремесленное училище. Мало кто знает, что он окончил его с успехами. Работал на механическом заводе «Анатра» и был токарем высшего разряда.

Одесса, 1919

Здесь и далее цит. по авторской машинописи

Биографии писателей неизбежно обрастают эффектными легендами. Ранняя биография Ильфа — клад для мемуаристов. Один из них рисует портрет молодого электромонтера, который ходит по Одессе в потертой робе, со стремянкой, и, поблескивая стеклами интеллигентского пенсне, чинит электричество. Стоя на стремянке, он «зорко следил за всем, что происходило у его ног в крикливых квартирах и учреждениях. Очевидно, Ильф

видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал». Комизм здесь в том, что Ильф был не способен взгромоздиться на стремянку: он боялся высоты.

Учебное заведение, где учились двое старших братьев, называлось:

ОДЕССКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ,
УЧРЕЖДЕННОЕ ОДЕССКИМ КУПЕЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ
В 1862 г.
В ПАМЯТЬ В БОЗЕ ПОЧИВАЮЩЕГО ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ I

Трое братьев взяли псевдонимы: слишком тяжеловесной оказалась их фамилия для людей искусства! Старший — Сандро Фазини, следующий — Ми-фа или МАФ, третий — Ильф. Младший, Вениамин, оставшийся за бортом литературы и искусства, с гордостью носил родовую фамилию. Все четверо были отличными фотографами. Интересные братья! Братья Ф.

Будущий писатель родился на Старопортофранковской улице, в доме № 137. В *Иллюстрированном практическом путеводителе по Одессе* Григория Москвича (Одесса, 1905, с. 116, 117) Старопортофранковская улица, «охватывающая дугой город», называется «ожерельем красавицы Одессы». «В 1904 году отдельные части Старопортофранковской улицы получили следующие самостоятельные названия: часть ее от Херсонского полицейского участка до старого Христианского кладбища, образующая две параллельные улицы, согласно новому переименованию, для одной из них расположенной ближе к городу, сохранила прежнее название — Старопортофранковской...»

ИЛЬФ-ПЕТРОВ: В то время как одна половина автора барахталась в пеленках, другой было шесть лет, и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень.

Двойная автобиография

ПЕТРОВ: В детстве Ильфа дразнили:
— Рыжий, красный, человек опасный.

Мой друг Ильф

«Я РОДИЛСЯ В БЕДНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬЕ И УЧИЛСЯ НА МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ»

Мальчика определяют в Одесское 2-е казенное еврейское училище. Напрашивается цитата из ильфовских записных книжек: «Закройте дверь. Я скажу вам всю правду. Я родился в бедной еврейской семье и учился на медные деньги».

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ,
выданный Педагогическим Советом означенного училища
УЧЕНИКУ ПЕРВОГО ГОДА УЧЕНИЯ
ФАЙНЗИЛЬБЕРГУ ИЕХИЕЛЬ-ЛЕЙБУ
ЗА ПРИМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ХОРОШИЕ УСПЕХИ
Одесса, 1907 г.
Подписан лист Почетным Блюстителем,
Заведывающим училищем, членами и Секретарем Совета.

Двойная автобиография сообщает, что Ильф «в 1913 году окончил техническую школу». Речь идет о доме № 93 на Старопортофранковской. Во времена юности Ильфа тут была скромная «школа ремесленных учеников» [в путеводителе по Одессе 1905 года она называлась «гор. ремесленное училище». — *А.И.*], куда он поступил в 1910 году, тринадцати лет от роду.

Ростислав Александров

Ростислав Александров (далее обозначен инициалами Р.А.) — автор изданных в Одессе очерков *Прогулки по литературной Одессе* (1993), *Истории «с раньшего времени»* (2002), *Исхоженные детством* (2000), *Торг обильный* (2002), *Давний свет* (2003) и других публикаций.

Училище называлось:
Одесская Школа Ремесленныхъ Учениковъ,
учр. Е.М. Менделевичъ

АТТЕСТАТ

Дан сей от Педагогического совета Одесской школы ремесленных учеников, учр. Е.М. Менделевич, на основании § 26 Устава сей школы, учрежденного Министерством Народного Просвещения 11 сентября 1910 г. сыну Богуславского мещанина

ФАЙНЗИЛЬБЕРГУ Иехиель-Лейбу Арьеву иудейского вероисповедания, родившегося в Одессе 1897 года октября месяца 3 дня, в том, что он успешно окончил полный курс учения в Одесской школе ремесленных учеников, учр. Е.М. Менделевич, по слесарно-механическому отделению и, при отличном поведении, оказал успехи...

[По всем предметам — закону Божию, русскому языку, арифметике, счетоводству, геометрии, истории, географии, физике, технологии металлов, чистописанию, рисованию, черчению геометрическому и техническому — у него были круглые пятерки.]

На основании § 64 устава школы, утвержденного в 11-й день сентября месяца 1910 г. ФАЙНЗИЛЬБЕРГ по отбывании воинской повинности пользуется правами, предоставленными учебным заведениям, причисленным ко второму разряду.

На основании утвержденного 15 июня 1908 года закона, Иехиель-Лейб Арьев ФАЙНЗИЛЬБЕРГ удостоен звания подмастерья.

В 1911 году семейство Файнзильбергов — отец, мать и четверо сыновей — переселяется со Старопортофранковской на Малую Арнаутскую улицу («Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице»), дом № 9, кв. 25. По соседству, в доме № 11, держит мясную лавку некий Г.М. Бендер. Не ему ли обязан фамилией «великий комбинатор»?

Вполне возможно. Но эта фамилия была не такой уж редкой в Одессе:

Ф.Ф. *Бендер* — преподаватель немецкого языка в коммерческом училище, которое закончил брат Ильфа Михаил Файнзильберг в 1913 году (Преображенская ул., 8).

Луиза Мартыновна *Бендер* — преподавательница Одесской Мариинской городской женской гимназии.

Еще один *Бендер* — сослуживец Ильфа по Опродкомгубу.

С Малой Арнаутской семейство Ф. перебралось на Базарную, 33. В 1919 году они жительствовали на Софиевской, 13, в квартире № 36, «...в большом угловом доме, в неуютной квартире» (Евг. Окс).

СЕРГЕЙ БОНДАРИН: Он жил в доме, известном в Одессе как один из домов князя Урусова [Руссова]. Не нужно, одна-

2 – 4720

ко, думать, что это был роскошный особняк. Стоял дом, правда, на одной из лучших улиц города, поблизости от обрыва с парапетом, с которого открывался вид на порт и море, но всё же это был обыкновенный доходный дом, и в нем довольно многочисленной семье Файнзильберг принадлежала небогатая квартира на третьем или четвертом [на четвертом. — *А.И.*] этаже, смотревшая окнами в узкий темный двор-колодец.

Милые давние годы

Всё еще было впереди: работа на телефонной станции и «аэропланном заводе» (был такой когда-то в Одессе), борьба с бандами в рядах 1-го Караульного полка на военных дорогах 1919 года, служба в одесском Опродкомгубе.

Р.А.

«...НО ЧЕКИСТОМ НИКОГДА НЕ БЫЛ»

В 1917 году ему довелось служить разъездным статистиком одесского комитета Всероссийского Союза городов под началом друга Эдуарда Багрицкого С.Г. Березова, который и рассказал о неизвестном доселе факте биографии Ильфа: «Статистиков у меня набралось человек восемь. Появился Илья. Он выезжал на различные участки Румынского фронта, а потом составлял такие отчеты, что моя непосредственная начальница не могла сдержать удивления: “Что он у вас, писатель?”».

Р.А.

ИЛЬФ: Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. <...>

Я был солдатом... <...> Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Повелитель евреев

«СТРАНА, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО ОКТЯБРЯ»

Не так-то просто перечислить смену властей в Одессе: Временное правительство (до 7 декабря 1917), Переходный период (7 декабря 1917 — 27 января 1918, когда действовали одновременно несколько властей — Городская Дума, Военный Совет, Румчерод), Первый период советской власти (27 января — 13 марта 1918), Австро-немецкая оккупация (13 марта — 26 ноября 1918), внутри которой два периода — Центральная Рада (13 марта — 30 апреля 1918) и Гетманщина (30 апреля — 26 ноября 1918), Переходный период и Директория (26 ноября — 18 декабря 1918), Французская интервенция (18 декабря 1918 — 4 апреля 1919), Второй период советской власти (4 апреля — 23 августа 1919), Добровольческая армия (23 августа 1919 — 8 февраля 1920), Советская власть (с 8 февраля 1920).

В ранних рассказах и очерках Ильф постоянно возвращается к событиям и реалиям того времени. И даже в последней своей записной книжке (1936—1937) он приводит начало «Универсала» атамана Григорьева: «Народ украинский, народ измученный».

ПЕРИКЛ СТАВРОВ: Октябрь 1917 года... Все мы знаем, во что с этого месяца обратилась «улыбающаяся», «бескровная». Однако на севере и на юге превращение происходило по-разному. На севере: «Вся власть советам!» — и никаких, и точка. У нас же, на пылком, изменчивом юге, по очереди: и «Deutschland über alles», и «Вся власть советам», и «Единая, неделимая», и «Хай живе вільна Україна», и «Vive la France», и просто «грабь награбленное», и «бей, спасай», и такие еще лозунги, что вспомнить стыдно. Власти сменялись многократно и бурно; от смены этой одесситы чумели.

Эдя Багрицкий и другие (Одесса 1917–1918). —
Новое русское слово (Нью-Йорк), 6 и 13 янв. 1952.
Цит. по: Дерибасовская — Ришельевская. Одесский альманах, 2003, № 14, с. 257

Перикл Ставрович Ставропуло (1895–1955) — поэт-романтик, писавший под псевдонимом П. Ставров — коренной одессит, друг Багрицкого и многих молодых литераторов южнорусской школы. Уехал в Париж в начале 1920-х;

дружил с Фазини, братом Ильфа. Автор сборников стихов, воспоминаний. Встречался с Ильфом, когда тот дважды был в Париже, перевел совместно с Виктором Ллоной *Золотого теленка* на французский язык. Переписывался с Ильфом в середине 1930-х годов.

Летом 1919 года в связи с началом деникинского наступления военное положение на юге осложнилось. 9 июля партийным организациям было разослано обращение ЦК ВКП(б) «Все на борьбу с Деникиным», 14 июля Совет обороны Одесского округа объявил в городе осадное положение, а 19 июля началась мобилизация «граждан, не эксплуатирующих чужого труда, постоянно и временно проживающих в городах и уездах Херсонской губернии, родившихся в 1891–1909 годах».

Илья Ильф [в то время — Иехиель-Лейб Файнзильберг. — *А.И.*], который родился в 1897 году, постоянно проживал на Торговой, 10 [дом был угловой; другой адрес: Софиевская, 13. — *А.И.*] и не эксплуатировал чужого труда, подлежал, как тогда говорили, безусловному призыву.

Он прибыл на сборный пункт на Дегтярную, 24 с книжкой А. Франса *Боги жаждут* и, сверкая протертыми до хрустального блеска стеклышками пенсне, предстал перед призывной комиссией. Из-за этого пенсне Ильф был зачислен в 1-й Караульный советский полк, который квартировал в здании нынешнего Дворца моряков на Приморском бульваре. Он был сформирован из негодных к строевой службе. По воспоминаниям служившего вместе с Ильфом скульптора Макса Гельмана, когда полк проходил мимо БУПа (Бюро Украинской печати) на Пушкинской улице, 11, кто-то из вышедших на крыльцо журналистов с насмешкой воскликнул: «Стеклянный батальон!»

Р.А.

ИЛЬФ: Была объявлена мобилизация и отменена тридцать седьмая статья расписания болезней, освобождающая от военной службы. Словом, был девятнадцатый год.

Колесников пошел прямо на сборный пункт. Там уже началось великое собрание белобилетчиков, и близорукие стояли толпами.

В толпах этих ломался и скрещивался солнечный блеск. Близорукие так сверкали двояковыгнутыми стеклами своих

очков и пенсне, что воинский начальник только жмурился, приговаривая каждый раз:

— Ну и ну, таких еще не видел!

Над беднягами смеялись писаря:

— Стеклянная рота!

Стеклянная рота

ИЛЬФ: Стеклянный батальон! — сказал комендант Гранитной станции, когда нас увидел. — Рвань! — добавил комендант. — Я думал, хороших ребят пришлют, а они все в очках!

...Потом комендант переменил свое мнение, но кличка пошла в ход, и мы так и остались стеклянным батальоном.

Рыболов стеклянного батальона

ИЛЬФ: Я знал страх смерти, но молчал, боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в пшенице. Солнце палило в затылок, голову нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего так боишься. Мне было очень страшно, я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Из письма от 30 мая 1923 г.

СЛАВИН: ...Мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы Гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности? Да, вероятно. Он не видел в этом ничего особенного.

Я знал их

ОДУКРОСТА, 1920 ГОД

ИЛЬФ: ...Где-то под Орлом и Воронежом поскользнулся Деникин. Уже фронт ломался, и утром на мостовой можно было найти сорванный осторожным офицером погон, тот самый погон, что должен был сиять вечно, как солнце. <...>

Январь, февраль и март были последними месяцами борьбы за рабочую Украину.

Двадцатый год был первым месяцем украинского празднования Октября.

И этот первый Октябрь был последним месяцем для жизни белых. В этот месяц Врангель был выброшен из Крыма.

Страна, в которой не было Октября

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ: Остатки деникинских войск были сброшены в Черное море... <...> Город, приняв огневое крещение, как бы очистился от скверны, помолодел и замер в ожидании начала новой жизни. <...>

В помещении деникинского Освага возникло новое советское учреждение Одукроста, то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготовлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. <...> С утра до ночи в Одукросте кипела работа, стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов — польского и врангелевского, крымского.

...[Ильф] дружил с наследником [Славиным], который и привел его к нам в агитотдел Одукросты...

Алмазный мой венец

Советская власть в Одессе окончательно установилась с 8 февраля 1920 года. Ильф выполнял работу по заданиям Югроста и агитпропа губкома ВКП(б) Одесской области по составлению листовок, текстов для плакатов и т.п.

ОПРОДКОМГУБ

Одесские старожилы до сих пор помнят песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона...» — одно из произведений городского фольклора, с описанием праздничного стола начала двадцатых годов:

Жестяный чайник с кипятком из куба
И мамалыга, точно кекс,
Повидло, хлеб Опродкомгуба...

Опродкомгуб — это сокращенное, по обыкновению тех лет, название «Особой губернской продовольственной комиссии по снабжению Красной Армии». Опродкомгуб не только снабжал продовольствием армию, но и, пусть скудно, кормил изголодавшихся за годы войны и интервенции одесситов. Константин Паустовский, поступивший в Опродкомгуб в феврале 1920 года, писал: «Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город».

В феврале 1921 года в финсчетном отделе Опродкомгуба, как именовали тогда бухгалтерию, заполнив анкету, отпечатанную на обратной стороне бланков чайной фирмы Высоцкого, появился новый бухгалтер кассово-операционного стола. Бухгалтером был Илья Ильф, который, как вспоминал его друг, поэт и художник Евгений Окс, утверждал, что «его учреждение единственно, абсолютно незаменимо в городе. Если его закрыть, город умрет голодной смертью, любая власть зависит от этого учреждения, оно одно твердо и вечно должно существовать» [Окс ошибочно относит его службу в Опродкомгубе к 1918 году. — *А.И.*].

Благополучно пережив многочисленные чистки аппарата и сокращение штатов, Ильф прослужил в финсчетном отделе семь месяцев и по распоряжению Губернского управления по учету рабочей силы был откомандирован «в распоряжение Рабсилы (Торговая, 4) для посылки его на работу по специальности» [ГАОО, ф. Р-1263, оп. 3, д. 346, л. 6], так как он состоял к тому времени на учете литературных работников.

Р.А.

Кто же были сослуживцы Ильфа по Опродкомгубу? Многие превратились в сотрудников «Геркулеса» в романе *Золотой теленок*: А.Я. *Берлага*, *Кукушкинд*, М.Э. и Г.А. *Лапидус*, Е.Р. и М.Я. *Пружанские*. Опродкомгуб, как и «Геркулес», размещался в «Большой Московской» гостинице на Дерибасовской. *Залкинд* вместе с Галкиным, Палкиным, Малкиным и Чалкиным вошел в состав «звукового оформления» на пароходе «Скрябин» (*Двенадцать стульев*). З.К. *Остен-Сакен* стал другом детства Остапа Бендера — Колей Остен-Бакеном.

Прогуливаясь по одесским улицам, Ильф не мог не видеть вывески часовщика *Фунта* (Ришельевская, 21); Л.Т. *Залкинда*, представителя фирмы «Патефон» бр. Пате, Париж (Дерибасов-

ская, 10), Галантерейной торговли близ Привоза, владелец — купец 2-й гильдии И.М. *Зайонц* (Екатерининская, 85). Безусловно, он проходил мимо Аптекарского и парфюмерного склада М.Я. *Бомзе* (ул. Кондратенко, бывш. Полицейская), мимо пивной *Брунса* в доме Вагнера на Екатерининской (инженер Генрих Христофорович *Брунс* трудился в конторе на Дерибасовской, 14, а жил в собственном доме на Водопроводной, 3). Нет сомнения, что именем домовладельца *Гая Юлия Эрнестовича Циммермана* (Гаванная, 6), сотрудника Бельгийского вице-консульства, воспользовался обитатель сумасшедшего дома. «Другой [больной] завернулся в одеяло и начал выкрикивать: "И ты, Брут, продался большевикам!" Этот человек, несомненно, воображал себя Каем Юлием Цезарем. Иногда, впрочем, в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, путая, кричал: "Я Генрих Юлий Циммерман!"» (*Золотой теленок*). Что же касается фальшивого вице-короля из того же романа, то Я.Р. *Берлага* был служащим ссудно-сберегательной кассы торгового дома «Д. Вальтух» на Прохоровской, 48 (Молдаванка). Генрих Мария Заузе, специалист из Германии (*Золотой теленок*), над происхождением фамилии которого напрасно бились американские слависты, обязан ею одесскому художнику В.Х. Заузе (1859–1939).

ТАЯ ЛИШИНА: Смешное он видел там, где мы ничего не замечали. Проходя подворотни, где висели доски с фамилиями жильцов, он всегда читал их и беззвучно смеялся. Запомнились мне фамилии Бенгес-Эмес, Лейбедев, Фунт и много других, которые я потом встречала в книгах Ильфа и Петрова.

Веселый, голый, худой
Здесь и далее цит. по авторской рукописи
с правкой и подписью

В сентябре 1921 года Илья Ильф работал помощником заведующего секцией распределения и организационно-хозяйственном отделении управления совхозов при Губземотделе на улице Ленина. <...> Сохранившиеся документы управления совхозов сберегли анкетные данные помощника заведующего секцией: образование — среднее, специальность или профессия — «письменный работник», адрес — улица Софиевская, 13.

Р.А.

«КОЛЛЕКТИВ ПОЭТОВ» «ДЕМОНСТРАТИВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПОЭТА ИЛЬФА»

Инициативная группа поэтов приглашает всех поэтов собраться по вопросам организационного характера в среду, 7 апреля, в 1 час дня, по улице Петра Великого, 20.

Известия (Одесса), 6 апр. 1920 г.

Так начался «Коллектив поэтов» — объединение литературной молодежи. Пишущий народ тут подобрался разный: бывшие участники «Зеленой лампы» Эдуард Багрицкий, Борис Бобович, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Зинаида Шишова, упорно овладевавшие мастерством Илья Ильф, Лев Славин, Владимир Сосюра, уже два года печатавшаяся Аделина Адалис, едва прикоснувшиеся к литературе Сергей Бондарин, Нина Гернет, Семен Гехт, Осип Колычев, Марк Тарловский...

Р.А.

БОНДАРИН: В те времена литература в Одессе была устной. <...>

На улице Петра Великого помещался коллектив поэтов.

И вот здесь-то в те времена я познакомился с Митей, прообразом будущего Остапа Бендера. Литературный герой сатиры, ставшей популярной и знаменитой, заимствовал коекакие черты от этого Мити, а кое-что от другого человека — по имени Остап. Я знал их обоих.

Можно только дивиться, откуда у Мити, прихрамывающего на одну ногу, столько энергии и предприимчивости. Стихов он не сочинял и не декламировал чужих, но знался дружески со всеми пишущими, а главное — чего уж теперь скрывать — прихрамывающий, всегда улыбающийся, Митя Махер [все-таки он был не Махер, а Ширмахер! — *А.И.*] чуть ли не с детских лет умело обделывал свои делишки и охотно помогал другим — с той же ловкостью, что и его земляк и двойник — рослый, рыжий, грубоватый Остап. Этот тоже не сочинял стихов, прибился он к поэтической братии заодно и вслед за своим братом поэтом Фиолетовым. <...>

Вернемся, однако, к хромому Мите.

Ловкач ухитрился занять обширную квартиру, наполненную обломками стильной мебели. Вселения в заброшенные квартиры в те годы случались нередко [вспомним Корейко, который после революции семнадцатого года «захватил большую квартиру, владелец которой благоразумно уехал на французском пароходе в Константинополь, и открыто в ней зажил». — *А.И.*]. С Митей поселился Багрицкий, которому наскучило жить в полутемной и вонючей квартире на Ремесленной улице у мамаши.

Вот так и начался коллектив поэтов, до этого не имевших постоянной аудитории. Сюда, на улицу Петра Великого начали ходить Юрий Олеша и Валентин Катаев, Зинаида Шишова и Адалис, Марк Тарловский, Илья Файнзильберг (Ильф тогда еще не был Ильфом, знали его фамилию, а не литературный псевдоним), с ним неизменно приходил немного хмурый, малословный Лев Славин.

Если не ошибаюсь, чтения происходили по средам и субботам. В эти вечера самая просторная комната буржуазной квартиры с венецианским окном наполовину без стекол, наполнялась поэтами и художниками, девушками, любящими стихи, студентами, прежде ходившими на чтения «Зеленой лампы».

Парус плаваний и воспоминаний

ОКС: ...Однажды она [Аделина Адалис] сказала: «Есть пустая, буржуйная квартира — мы устроим там клуб поэтов...»

И вот она привела Ильфа и меня на улицу Петра Великого. В квартире был хозяин — Митя Ширмахер.

Он был хром, носил ортопедический сапог, лицо имел бледное, один глаз был зеленый, другой был желт. Опираясь на палку и хромая, он показал нам комнаты. Их было две, довольно обширных, обе с выходом на балкон. Двигаясь, он ласково ощупывал рукой шелковую обивку кресел и большие атласно-желтые портьеры. В комнатах сохранилась мягкая мебель и даже рояль. Мелких предметов, посуды, ваз не было — их унесла начисто волна эвакуации. После нескольких предварительных условий, чтобы все расходы по квартпла-

те и освещению оплачивались поэтами, с чем мы немедля согласились, Митя перешел к главному вопросу, прося совета у Музы [Адалис], из чего лучше сшить костюм — из занавесок или обивки. Поняв, какая угроза нависла над креслами, мы после долгих дебатов и консультаций, видя, что отговорить Митю от задуманного никак не удастся, с болью в сердце остановились на занавесках. Через некоторое время, действительно, на Мите и его верном адъютанте, молодом Юре, появились баснословно ярко-желтые, блестящие френч и галифе, чем-то отдаленно напоминающие костюмы какого-то XVII столетия.

Митя Ширмахер принадлежал к славному племени одесских комбинаторов. Я же прозвал его «хромой бес Тюркаре». Он в самом деле был близок героям Лесажа. Но пока что он был небезынтересным собеседником и гостеприимным хозяином.

Вскоре мы стали привлекать всех знакомых поэтов и художников в новый клуб. <...> Было решено, что клуб будет открыт свободно для всех выступлений, не будет ни устава и никаких стеснений для посетителей. Тут же было решено отпраздновать открытие клуба, которому по предложению Адалис было дано имя «Зеленое кольцо» [неточность: «Зеленая лампа». — *А.И.*]. Всё правление клуба без труда разместилось в удобных креслах главного зала. Здесь были поэтессы Аделина Адалис и Зинаида Шишова, Эд. Багрицкий, Юра Олеша, Илья Файнзильберг (Ильф), его брат-художник Миша, Гриша Гуковский и, конечно, наш хозяин Митя Ширмахер и его верный соратник Юра, и, наконец, моя скромная персона. <...>

По вечерам всё больше стекалось народу, горела одна лампа под зеленым абажуром, двери на балкон открыты в весеннюю ночь. Багрицкий читает стихи русских поэтов. Память его неисчерпаема. «Чьи это стихи, Юра?» — но эрудиция Юрия Карловича тоже огромна. Они читают по очереди — Фета, Тютчева, Баратынского, Батюшкова, Языкова и т.д. и, конечно, много Пушкина и Лермонтова.

Стихи в чтении Эдуарда звучат по-особенному. Быть может, тому виной его астм[ат]ический, хриплый голос. И правда, это напоминает львиный рокот — раскаты его голоса. Но

еще какой-то внутренний напор. И вот один из первых поэтических вечеров. Уже довольно много народу, здесь художники М. Перуцкий, А. Глускин, Наум Соколик, Андрей Соболь [описка: Наум. — *А.И.*], много молодежи.

Читает Илья Арнольдович свою «Торгово-промышленную поэзию» — произведения «оригинального ума», как их кто-то назвал. Читает ясно, громко и четко, без всякого нажима, как читают приказ, рапорт. Чтение и стихи имеют большой успех и особенно поэма — «На Вандименовой земле...». Читают другие поэты. <...> Даже я, осмелев, читаю свои довольно невнятные стихи.

Клуб поэтов.

Здесь и далее цит. по авторской машинописи

Есть мнение, что Митя Ширмахер был *одним из* прототипов Бендера, с чем не все соглашаются, предпочитая *одного* Остапа Шора.

КАТАЕВ: ...Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности: атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. <...> Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании, ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпускал с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город...

Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас.

Вот каков был прототип Остапа Бендера.

Алмазный мой венец

Ильф и Петров часто виделись с Шором в Москве. Жена друга Ильфа, художника Евгения Окса, Варвара Васильевна, чье имя тоже осталось в *Золотом теленке*, рассказывала мне, как однажды Ильф встретил ее словами: «Вава, жаль, что вы не пожаловали раньше, только что ушел Остап Бендер».

Р.А.

Существует и другое мнение: «Есть в романе только один-единственный персонаж, целиком выдуманный, — утверждает Арон Эрлих. — Всё в нем выдумано: внешность и происхождение, костюм, жесты, манеры, мысли и чувства, поступки и намерения. Это Остап Бендер» (*Нас учила жизнь*). Сразу видно, что Эрлих не одессит!

Согласимся на том, что это собирательный образ, и перейдем к «Коллективу поэтов».

ЮРИЙ ОЛЕША: Существовал в Одессе в 1920 году «Коллектив поэтов». Это был своего рода клуб, где, собираясь ежедневно, мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве. Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьезно работали. Это была школа. Мы равнялись на Москву. Слава ее докатывалась до нас, волнующие слухи о Блоке, о Маяковском.

Об Ильфе

НИНА ГЕРНЕТ: 1920 год. Голодный, нищий. Солнечное лето. Садовую улицу пересекала за почтамтом улица Петра Великого — она же бывшая Витте, бывшая Дворянская. Как она называлась в 1920 году — не помню. Только на ней, между Садовой и Нежинской, была квартира, вернее, темноватая комната, где собирался Коллектив поэтов. <...> Много было разных людей. Сидели и слушали стихи. Выступал, кто хотел. Только после, во время других собраний, я узнала, что там были большие поэты и писатели. <...>

Собирались по вторникам. И слушала я разговоры о неопушкинианской школе, которая тогда владела поэтами. А какие поэты приходили и читали!

Олеша. Спокойный, медлительный, немногословный. Ужасно жалко, что не запомнила больше его стихов. Но ведь ничего не записывалось, всё, что помню, — оставалось в памяти с одного чтения — многое ли могло уцелеть за столько лет? Олеша читал:

Двадцатый век, как низко пал ты!
Изнеможен, теряя дух,
Бредешь от Жлобина до Балты
И от Борщей до Попелюх...

И выходил Багрицкий — в штормовке, в солдатских обмотках, худой, нервный, и торопливо, светлым задыхающимся голосом читал:

И белой яхты легкий крен,
И тихий образ милой Джен...

Или:

...Марта, Марта! Нужно ль плакать,
Если Дидель свищет птицей,
Если Дидель бродит в поле
И смеется невзначай...

А самая убежденная представительница неопушкинианской школы, молодая Зинаида Шишова, читала с подпеванием:

Я знаю — времена бывали —
Счастливейшие из времен, —
И у источника видали
Нежнейших девушек и жен.
И пахли в час перед полуднем
Соленой влагою морей
Покорные высоким будням
Ладони царских дочерей...

Худой, высокий Ильф обыкновенно садился на низкий подоконник, за спинами всех. Медленно, отчетливо произносил он странные, ни на какие другие не похожие стихи, которые нравились мне именно этой странностью формы и поэтических образов:

...Комнату моей жизни
Я оклеил мыслями о ней...

Или:

А мы, в костюме Адама до грехопадения,
Прикрыв неприличие шевиотовой эманацией...

Сохранились ли где-нибудь, у кого-нибудь из его тогдашних товарищей эти стихи? А я больше ничего не помню. <...>

Однажды, уже вечером (сидели до темноты, света не было — разве коптилка) явился мальчик. По-моему, было ему 12–13 лет. Громко и уверенно начал что-то читать... Кончил. Все помолчали. Потом кто-то из старших спросил его: как он относится к Пушкину? Точного ответа мальчика не помню, но смысл был такой, что Пушкин кончился и нам не указ. И вдруг из темного угла, от окна, где сидел Ильф, раздался спокойный, ровный голос:

— Пошел вон.

Мальчик был Семен Кирсанов. Он не пошел вон, а стал таким же участником сборищ, как и мы все.

Помню аристократического, выдержанного Георгия Шенгели, который вел литературные споры. Читал ли он стихи и какие — не могу припомнить. Бывал и Андрей Соболь. Длинноволосый Миних. Сосюра, читавший длинные украинские поэмы или баллады...

Кажется, по инициативе этого же Коллектива поэтов было организовано кафе поэтов. Не то возле какого-то иллюзиона «Урания», не то оно само называлось «Урания» — не помню, всё спуталось. Помню только, что это была терраса, что единственное угощение было — жестяные миски с черным, не то желудевым, не то житным кофе, и, кажется, к мискам давались столовые ложки. В глубине террасы была небольшая эстрада, и вот там выступали поэты для всей публики, и даже происходили литературные диспуты.

Помню, Олеша произнес эпиграмму:

Не будем говорить о свиньях,
Когда стихи читает Миних.

Разъяренный Миних тут же ворвался на эстраду и выкрикнул:

Когда ж читать начнет Олеша —
О свиньях будем говорить!

Чем кончилось — не знаю, шум поднялся со всех сторон.
И был у нас гимн — «Четвертый пэон»:

Четвертый пэон — это форма стиха,
А всякая масса без формы плоха,

А так как стихов у нас масса,
То форма нужна ей, как мясо.

Вперед, товарищи! И без формальности
Оформим форму мы без платформ.
Вперед, товарищи! До идеальности
Нас доведет лишь строгость форм!

1920 год, Одесса

ЛИШИНА: Не помню, где мы — дружная компания трех девушек, только что окончивших школу и пишущих стихи — познакомились летом 1920 года в Одессе с Ильфом. Скорее всего, это было в «Коллективе поэтов», где до поздней ночи бурно обсуждались стихи, или в кафе поэтов «Пэон четвертый». <...>

Ильф часто бывал на собраниях поэтов. Худощавый юноша, в пенсне без оправы, с характерным толстогубым ртом и черным родимым пятнышком на нижней губе, он обычно сидел молча, не принимая, казалось, никакого участия в бурных поэтических дискуссиях. Но стоило только кому-то прочесть плохие стихи, как он делал с ходу меткое замечание, и оно всегда било наповал.

Как-то довольно бездарный поэт прочел любовные стишки, где рифмовались «кочет» и «хочет». Ильф крикнул с места: «Кто кочета хочет?», и это восклицание долго следовало за поэтом, как насмешка.

Ильфа побаивались, вернее, боялись его острого языка, умной язвительности, хотя никто не знал, что он пишет: стихи или прозу. Было известно, что он брат талантливого художника «Миши Рыжего», что Ильф — его псевдоним, состоящий из имени и первой буквы фамилии, и что служит он статистиком в Губземотделе. Но его абсолютный слух к стихам, нетерпимость ко всякой пошлости, ложному пафосу, нарочитым стилистическим красивостям быстро завоевали общее признание.

Веселый, голый, худой

Вероятно, знали, что он брат еще одного талантливого художника — Сандро Фазини, но в то время, когда писались эти воспоминания, имена эмигрантов были не в моде.

КАТАЕВ: Он дружил с наследником [Львом Славиным], который и привел его... в так называемый коллектив поэтов, где он... хотя большей частью и молчаливо, но весьма неравнодушно принимал участие в наших литературных спорах.

Алмазный мой венец

БОНДАРИН: Я недоумевал: что так привлекает этого таинственного человека в самодеятельных кружках, что может он здесь почерпнуть, чего он здесь ищет?

Милые давние годы

ОЛЕША: Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наигранна. Он как бы говорил нам: я очень уважаю вас, но не думайте, что я пришел к вам не как равный к равным, и, вообще, не надо быть слишком высокого мнения о себе — ни вам, ни мне, потому что, какими бы мы ни были замечательными людьми, есть люди гораздо более замечательные, чем мы, неизмеримо более замечательные, и не нужно поэтому заноситься.

Этот призыв к скромности и корректному пониманию собственных совершенств исходил от Ильфа всегда.

Ильф поразил всех нас и очень нам понравился.

Он прочел стихи. Стихи были странные. Рифм не было, не было размера. Стихотворение в прозе? Нет, это было более энергично и организованно. Я не помню его содержания, но помню, что оно состояло из мотивов города, и чувствовалось, что какие-то литературные настроения Запада, неизвестные нам, ему известны. Сохранились ли эти стихи Ильфа? Уже в этих первых опытах проявилась особенность писательской манеры Ильфа формулировать, особенность, которая впоследствии приобрела такой блеск.

Об Ильфе

КАТАЕВ: Мы полюбили его, но никак не могли определить, кто же он такой: поэт, прозаик, памфлетист, сатирик? Тогда еще не существовало понятия эссеист.

3 – 4720

Во всяком случае, было ясно, что он принадлежит к левым, даже, может быть, к кубо-футуристам. Нечто маяковское витало над ним. В нем чувствовался острый критический ум, тонкий вкус, и втайне мы его побаивались, хотя свои язвительные суждения он высказывал чрезвычайно редко, в форме коротких замечаний «с места», всегда очень верных, оригинальных и зачастую убийственных. Ему был свойствен афористический стиль.

Алмазный мой венец

Объявления о литературных вечерах «Коллектива поэтов» помещались в местных газетах, чаще всего в «Известиях». Например:

Сегодня, 3 ноября [*1920 года. — Р.А.*] в 5 с половиной часов в коллективе поэтов (улица Петра Великого, 33) состоится очередное литературное собрание. Платой за вход служит книга. Собранные таким образом книги пойдут на укрепление библиотеки коллектива.

Известия (Одесса), 1920, 3 нояб.

Или:

В среду 1 декабря в коллективе поэтов... состоится большой литературный вечер поэта А. Фиолетова. Вход свободный и бесплатный.

Там же, 28 нояб.

И даже:

От коллектива поэтов г. Одессы. В среду 16 ноября... состоится общее собрание членов коллектива поэтов для производства чистки членов коллектива. Нач. в 6 часов вечера. Явка обязательна.

Там же, 1921, 15 нояб.

В конце 1921 — начале 1922 года поэтам пришлось покинуть улицу Петра Великого, и собрания проводили в районном клубе профработников на улице Ласточкина, 22. <...> Позже «Коллектив поэтов» обосновался на нынешней улице Советской Армии, 6. Тогда же члены «Коллектива» иногда читали свои произведения в так называемой «Мастерской производственно-синтетического театра» на Соборной площади, 2, квартира № 12.

К концу 1922 года «Коллектив поэтов» распался, так как многие его активные участники переехали кто в Москву, кто в Харьков, и лишь газеты доносили вести об их успехах.

Р.А.

Самое раннее упоминание о «взрослом» Ильфе (лето 1917-го) встречается в записках Ставрова, рисующих картину литературной и художественной атмосферы Одессы того времени.

СТАВРОВ: Отдыхали мы <...> в Летнем саду Литературно-артистического клуба, короче, «Литературки» <...>

Каждый вечер приходили в клуб молодые (действительно молодые!) писатели и поэты. Валя Катаев — в необычной форме. <...> Мы называли его «гусаром», так как он был полон жажды «врубиться» в литературу, завоевать. Напористый был молодой человек.

Приходил и Юрий Олеша, низенький, коренастый, талантливый и нахальный. Он тогда еще был поэтом, звезду Альдебаран воспевал, но будущее свое предвидел и о длинном романе заговаривал.

Рыженький Ильф приходил на старших посмотреть. В те отдаленные времена он о славе не помышлял... Ильф — милый такой, умненький, молчит, молчит — только пенсне поблескивает — и вдруг такое скажет, что все расхохочутся. Ну, а Сему Кирсанова по молодости лет мама и еще в клуб не пускала. Так, на улице кого-нибудь из нас остановит и стихами, мальчишка, захлебывается.

Эдя Багрицкий и другие...

«ПЭОН 4-Й»

ЛИШИНА: В трудное голодное лето 1920 года в Одессе, только недавно освобожденной от белогвардейцев, местная советская власть организовала в помещении бывшего первоклассного ресторана обеды для литераторов. Обед — тарелка ячневой каши и сколько угодно стаканов желудевого кофе или морковного чая, но только с одной-единственной конфеткой на саха-

рине — был немалым подспорьем в полуголодном рационе писателей. Но не только это привлекало их сюда. В одесском «Коллективе поэтов» собирались всего два раза в неделю, а здесь ежедневно допоздна засиживались за столиками, спорили о поэзии, встречались с друзьями, обменивались книгами. <...> Часто кто-нибудь из поэтов, перекрывая стук жестяных тарелок, в которых стыла каша, самозабвенно читал только что написанные стихи, и на мгновение шум смолкал. <...>

Не знаю, кому первому пришла мысль открыть вечернее кафе поэтов для широкой публики. Возможно, это был предприимчивый молодой человек, о котором ходили слухи, что он внебрачный сын турецкого подданного (много позже мы узнали его черты в образе Остапа Бендера), но тогда он только начинал бурную окололитературную деятельность*. Во всяком случае, летом 1920 года первое одесское кафе поэтов с загадочной вывеской «Пэон четвертый» было открыто. Название привлекало, но оно нуждалось в разъяснении, кроме того, следовало украсить стены. Инициативная группа, в которую вошли Багрицкий, журналист Василий Регинин (будущий редактор известного советского журнала «30 дней») и художник Мифá — Михаил Арнольдович Файнзильберг, брат Ильфа, занялись этим. Развесили плакаты, сатирические рисунки, стихотворные лозунги. У входа поместили плакат с четверостишием из сонета Иннокентия Анненского: «На службу лести иль мечты, равно готовые консорты, назвать вас *вы*, назвать вас *ты*, Пэон второй — Пэон четвертый?» Привлекал внимание рисунок с изображением огромного металлического ключа и маленького фонтанирующего источника и шуточными стихами Багрицкого: «Здесь у нас, как сон невинен и как лезвие колюч, разъяснит вам всем Регинин, что за ключ — Кастальский ключ».

Багрицкий написал куплеты песенки, в которой на все лады разъяснялись смысл и значение непонятного названия кафе. Куплетов было много. Скандированием первого куплета: «Четвертый Пэон — это форма стиха...», — часто заканчивались выступления поэтов перед публикой.

Так начинают жить стихом...

*«Предприимчивый молодой человек» —
всё тот же Митя Ширмахер.

Во главе кафе поэтов стоял известный на юге импресарио, впоследствии — директор Большого зала Московской консерватории Ефим Галантер, а в программе вечеров, регулярно устраиваемых в «Пэоне 4-м», были выступления литературной молодежи. Объявления о вечерах, печатавшиеся в газетах, остались документальными свидетельствами времени, определяющими состав выступавших:

Пэон 4. Эстрадное выступление поэтов. Новая программа. Стихи Георгия Шенгели, экспромты Потемкина, Олеши. Выступления группы пролетарских поэтов — Чичерин, Вас. Регинин, Э. Багрицкий.

Известия (Одесса), 1920, 17 июля

Или, например, другое, расширяющее состав участников:

Пеон четвертый (Екатерининская, 6). Начало в 9 часов. Эстрада пролетарских поэтов. Демонстративные выступления Ильфа. Стихи — Георг. Шенгели, лирика — Сосюры, песнопения — Чичерина...

Там же, 1920, 22 июля

Р.А.

Афиша «Пэона 4-го» (1920):

«ПЭОН 4-ый»

КАФЕ ПОЭТОВ (Ул. Карла Маркса, б. Екатерининская, 6) во дворе:

Открыто с 12 час. дня

Сегодня и ежедневно в 8½ ч. нов. вр. Выступления поэтов:

I. Трубный глас, неизвестн.
II. Оды и другое — Эд. Багрицкий
III. Стихи — Георгий Шенгели
IV. Демонстративные выступления поэта Ильфа
V. Экспромты, эпиграммы, памфлеты — Эд. Багрицкий, Л. Бесов, И. Владимиров, С. Глаголин, Ильф, Б. Мирцев, Юр. Олеша
VI. Алексей Чичерин
VII. Песенка Пэона 4-го в коллективн. исп. поэтов
VIII. Сергей Глаголин
IX. Музыка
X. Свободная эстрада
XI. Излишние разговоры — Вас. Регинин
XII. Петр Потемкин

РЕДКОЛЛЕГИЯ

СЛАВИН: На эстраду этого «Пэона IV» входил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым (правда, не все соглашались со мной). Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем, — первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался, — поблескивая крылышками пенсне и улыбаясь улыбкой, всю своеобразную прелесть которой невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа, — в ней были смущенность, и ум, и вызов, и доброта.

Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи, ни поэзию, ни прозу, но и то, и другое, где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и словотворческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил, главным образом, сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычайной стороны. Но эта необычайная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека.

Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю «неожиданно», потому что Ильф никогда не проявлял «выступательских» наклонностей. <...> Ильф воздерживался от выступлений и в одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически-огненных обсуждений и споров. <...> А вот в пору своей юности, «допетровский» Ильф читал свои произведения хорошо.

Я знал их

ЛИШИНА: Кафе просуществовало недолго и к осени [в начале августа 1920 года] закрылось. Из-за отсутствия топлива и света стали редко собираться и в «Коллективе поэтов», и зимой 1920/21 года литературная жизнь в Одессе почти замерла. <...>

К лету 1921 года литературная жизнь в Одессе снова оживилась. Тот же энергичный «окололитературный» молодой человек организовал в полуподвальчике бывшего ванного заведения новое кафе. Вначале оно называлось «Хлам» (художники, литераторы, артисты, музыканты), но вскоре было переименовано в «Мебос», что означало «Меблированный остров».

Так начинают жить стихом...

В воскресенье 20 июня состоится (Елисаветинская, 18) открытие эстрады поэтов «Меблированный остров». Участвуют: Багрицкий, Бродский, Владимиров, Ильф, Кирсанов, Славин, Ставропуло. В программе: Стихи, экспромты, памфлеты, почтовый ящик, окно сатиры. Нач. в 10 час. веч.

Известия (Одесса), 25 июня 1921 г.

3 июля та же газета сообщит, что «Меблированный остров» открыт «общими усилиями местных поэтов». Атмосфера «Мебоса» запомнилась участникам.

ЛИШИНА: Десяток стульев и столов, буфетная стойка и расстроенное пианино, над которым висела надпись: «В пианиста просят не стрелять — делает, что может» — составляли всю обстановку «острова». За единственным маленьким зальцем нового кафе, в тесных кабинах почему-то остались мраморные ванны, пугая неожиданностью случайно попавшего туда посетителя. Участникам выступлений они служили раздевалкой и местом отдыха и перекура между выступлениями, за которые полагался бесплатный ужин. Но читать стихи под стук и грохот посуды и шум разговоров было трудно. Надо было придумать, чем заинтересовать посетителей и заставить их быть повнимательней к поэтическому слову. Багрицкий предложил инсценировать свою драматическую поэму «Харчевня». В ней участвовали знаменитый старый поэт — теперешний хозяин харчевни — и два проезжих молодых поэта, едущие в Лондон на состязание поэтов. Между старым поэтом и молодыми возникает спор о поэтическом мастерстве. В стихотворном поединке побеждает старый по-

эт, но, уйдя от суеты и бренной славы, он нашел свое призвание за трактирной стойкой, где продолжает сочинять стихи. Багрицкий играл старого поэта, Ильф и Славин — молодых. Нам, юным участникам «Коллектива поэтов», в этой инсценировке были отведены роли посетителей харчевни. Нехитрые костюмы и грим, широкополые шляпы, шарфы и трости, бакенбарды и передники были принесены из дома. На столах зажглись свечи, и «Мебос» превратился в старинную английскую харчевню, где хозяин и гости читали белые стихи, а посетители — простые рыбаки и рыбачки, крестьяне и конюхи — в конце представления запевали песню о Джен, написанную Багрицким. Ее подхватывали и пели вместе с исполнителями все посетители «Мебоса».

Так начинают жить стихом...

СЛАВИН: Были случаи (на моей памяти их два), когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей. Второй случай: поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебос» («Меблированный остров»). Ильф играл роль одного из путников. Он вел ее изящно и весело...

Я знал их

«НИ ПРОЗА, НИ ПОЭЗИЯ...»

ОКС: Ильф писал стихи, которые мы называли «произведениями оригинального ума». Он называл их «торгово-промышленной поэзией». Помню одну поэму, где были образы города, магазинов, закрытых шторами, там была некая фирма, не то «Гарвест Компании», не то «Катерпиллер». Написана была белыми стихами. Говорилось об обществе жатвенных машин. Была фраза: «Выньте лодочки рук из брюк». Это было до знакомства с Маяковским. Как видно, в воздухе носились те же поэтические фигуры — той эпохи. Были

и другие совпадения с образами Маяковского. Вот начало одной поэмы:

На Вандименовой земле,
Что в самом низу географической карты,
Бидеино сердце познало любовь.
И вот души Биде стропила
Трещат под тяжестью любви...
Комнату своей жизни он оклеил мыслями о ней,
С солнца последние пятна счистил:
Пусть светит светлее для Анке,
Но Анке неверная, Анке коварная,
Бидеин комплекс добродетелей оставив втуне,
Дандина сына и Данди самого
Подарила любвями и Раями.
Бедный Биде! От беды такой
Небеса должны содрогнуться...

Увы, не помню. Всё это читалось по памяти, никогда не видел эти стихи написанными или напечатанными.

Читал он прекрасно. С отчетливой дикцией и без всякого нажима. Позже в Клубе поэтов эта поэзия была встречена восторженно, особенно молодежью.

Одесса, 1919

АРОН ЭРЛИХ: Никому не известны его ранние работы. Только немногим его одесским товарищам привелось услышать в 19-м или 20-м году юношеские выступления Ильфа в литературном кафе, у входа в которое рукописная афиша обещала посетителям «один бокал оршада и много стихов».

Худенький юноша в пенсне, волнуясь, декламировал там свои стихи в прозе, многозначительные, но непонятные, стихи возвышенного, декламационного строя, тронутого нарочитой таинственностью и даже мистикой.

Начало пути

КАТАЕВ: Однажды, сдавшись на наши просьбы, он прочитал несколько своих опусов. Как мы и предполагали, это было нечто среднее между белыми стихами, ритмической


РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 2004

прозой, пейзажной импрессионистической словесной живописью и небольшими философскими отступлениями. В общем, нечто весьма своеобразное, ни на что не похожее, но очень пластическое и впечатляющее, ничего общего не имеющее с упражнениями провинциальных декадентов.

Сейчас, через много лет, мне трудно воспроизвести по памяти хотя бы один из его опусов. Помню только что-то, где по ярко-зеленому лугу бежали красные кентавры, как бы написанные Матиссом, и молнии ложились на темном горизонте...

Алмазный мой венец

ЛИШИНА: Нельзя сказать с уверенностью, что Ильф ничего не писал до того дня, когда, вернувшись в 1921 году из поездки в Харьков, куда он ездил с Эдуардом Багрицким и поэтом Эзрой Александровым, прочел нам свой первый рассказ. Помню только, что там шла речь о девушках, «высоких и блестящих, как гусарские ботфорты», и на одной из девушек была «юбка, полосатая, как карамель». Помню и такую фразу: «Он спустил ноги в рваных носках с верхней полки и хрипло спросил: “Евреи, кажется, будет дождь?”»

Веселый, голый, худой

Последняя фраза обнаруживается в рассказе *Повелитель евреев*, написанном в начале июня 1923 года. Не исключено, что целых два года Ильф хранил в памяти эту заманчивую фразу. Но вот еще одно воспоминание Лишиной: «Вернувшись из первой поездки в Москву, он рассказывал, очень волнуясь, что на Петровке в витринах нэповских кондитерских появились торты, украшенные революционными лозунгами.

— Подумать только, что слова, написанные однажды кровью, теперь написаны сахаром! — возмущался он».

Здесь что-то не так. В письме Ильфа от 1 июня 1923 года: «Слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. То, что писали два года тому назад на знаменах, теперь сахарной цепью выводят на яблочных пирогах Моссельпрома. <...> Это мои слова, которые я сказал, заглядевшись сегодня на башню из теста, на которой были написаны лозунги. Тогда я сказал:

«Слова, написанные однажды кровью, во второй раз пишутся сахаром». Безусловно, Ильф мог бы рассказать об этом Лишиной, когда (впервые после отъезда) навестил Одессу в середине мая 1923 года, но тогда он не написал бы в июне: «*...заглядевшись сегодня...*». Увы, голова мемуариста — не компьютер.

ЛЕЙТЕНАНТ ГЛАН?

ОКС: Мы познакомились в столовой университета.

Высокий, в длинном узком пальто. «Мое пальто называлось когда-то фасон “коммод”».

За толстыми стеклами пенсне, ибо в это время, да и позже, он носил этот старинный оптический прибор, трудно было угадать выражение его глаз. Это требовало напряженного внимания. Улыбка едва касалась углов рта. Едва скользила. Но что поражало — это чувство собственного достоинства. Достоинство и невозмутимость. Он нам казался англичанином. Может быть, лордом. Это сразу внушало уважение.

Одесса, 1919

ЛИШИНА: Ложь он не прощал, даже самую маленькую. Администратор нового кафе поэтов ХЛАМ (художники, литераторы, артисты, музыканты) пообещал кому-то из поэтов дополнительный талон на обед за повторное выступление на эстраде, но не сдержал слова. Ильф, узнав об этом, требовал от него: «Признайтесь, Митя, что вы сказали неправду. Вы обманули товарища. Скажите, что вы солгали. Извинитесь, Митя». И тому пришлось это сделать в присутствии всех нас.

Веселый, голый, худой

ОЛЕША: Ильф был чрезвычайно сдержан и никогда не говорил о себе. Эту повадку он усвоил на всю жизнь. Он придумал себе псевдоним — Ильф. Это эксцентрическое слово получилось из комбинации начальных букв его имени и фамилии. При своем возникновении оно всех рассмешило. И самого Ильфа. Он относился к себе иронически. Это был худой юноша, с большими губами, со смеющимся взглядом, в

пенсне, в кепке, и, как казалось нам, рыжий. Он следил за своей внешностью. Ему нравилось быть хорошо одетым. В ту эпоху достигнуть этого было довольно трудно. Однако среди нас он выглядел европейцем. Казалось, перед ним был какой-то образец, о котором мы не знали. На нем появлялся пестрый шарф, особенные башмаки — он становился многозначительным. В этом было много добродушия и любви к жизни. К несерьезному делу он относился с большой серьезностью, и тут проявлялось мальчишество, говорящее о хорошей душе.

Об Ильфе

СЛАВИН: Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он скорее молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчальником, но с большей охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника: какой он, «куда» он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, когда некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей.

Я знал их

БОНДАРИН: Необыкновенным был этот молодой человек — тихий, но язвительный, особенный в повадках, в манере одеваться, входить в комнату, вступать в разговор, <...> со своим, уже выработанным вкусом, что, должно быть, и определило и внешние манеры, и скрытые стремления.

Милые давние годы

ОКС: «Вы можете звать меня Иля». Это было доверие, но «Вы» осталось, осталось до конца. Так к нему обращались

все, включая жену и близких друзей. Он сам как бы устанавливал границу близости. Переступить ее не мог никто.

Одесса, 1919

КАТАЕВ: Он одевался, как все мы: во что бог послал. И тем не менее он явно выделялся. Даже самая обыкновенная рыночная кепка приобретала на его голове парижский вид, а пенсне без ободков, сидящее на его странном носу и как бы скептически поблескивающее, его негритянского склада губы с небольшой черничной пигментацией были настолько космополитичны, что воспринять его как простого советского гражданина казалось очень трудным.

Алмазный мой венец

Вряд ли в 1920 году Ильф мог выглядеть европейцем, тем более парижанином. Известно, что зимой 1919-го он ходил в узком и длинном пальто фасон «коммод» (Окс), а в 1920-м — «в веревочных сандалиях на деревянной подошве и блузе, перешитой из мебельного чехла» (Лишина).

Начитавшись благожелательных и даже восторженных воспоминаний (или упоминаний) о раннем Ильфе, представляешь себе этакого лейтенанта Глана — загадочного, высокомерного, многозначительного, изредка роняющего убийственные замечания. Никто не знал истинной причины сдержанности Ильфа, сходной с замкнутостью: лишь единожды он упоминает о ней в письме и почти дословно переносит свои переживания в рассказ *Повелитель евреев.*

ИЛЬФ: Я знал страх смерти, но молчал, боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в пшенице. Солнце палило в затылок, голову нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего так боишься. Мне было очень страшно, я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить. Зимой у меня отваливались пальцы, дул ветер, мне было очень холодно, всегда холодно и никогда тепло. Я перестал говорить и замолчал. Всё мне было противно и скучно. Я не искал ничего, я был сам в себе и для себя. <...> Я не хотел ничего и никого. <...> Один, как всегда.

Из письма от 30 мая 1923

ЛИШИНА: Ильф жил трудно, в большой семье скромного бухгалтера. Дома была полная неустроенность, болела мать, не было дров, воды в голодной и холодной тогда Одессе. Но по тому, как он держался, никак нельзя было предположить этих трудностей жизни.

Худой, он совсем истоньшился — щеки впали и еще резче выступили скулы, но вместе с тем он всегда был подтянут, чисто выбрит и опрятен, и никогда не терял интереса к окружающему... «Я просыпаюсь к *Ars amatoria* и черному хлебу. <...> Во имя Бога, какая жизнь!» — писал он.

В Одессе, только несколько месяцев назад освобожденной от белогвардейцев, почти всё население голодало. Местные власти организовали для писателей бесплатные обеды. Ложка ячневой каши и кружка желудевого кофе с конфеткой на сахарине — это всё, что могла дать молодая советская власть пишущей братии. После такого обеда сосущее чувство голода оставалось. Как-то поздно мы возвращались с литературного вечера, Ильф пошел проводить меня. Ноги у меня подкашивались — видимо, сказывалось длительное недоедание. Ильф внимательно присматривался ко мне. «Кажется, сегодня голоден не только я, но и вы?» <...>

Иногда Ильф мечтал вслух: «Неужели будет время, когда у меня в комнате будет гудеть раскаленная чугунная печь, на постели будет теплое шерстяное одеяло с густым ворсом, обязательно красное, и можно будет грызть толстую плитку шоколада и читать толстый хороший роман?»

Пока же он ходил в сандалиях на веревочной подошве, в блузе, перешитой из мебельного чехла, — веселый, голый и худой.

Веселый, голый, худой

ОКС: Жизнь сводилась к простым формулам, к экономике, к примитиву. Еда и топливо. И того и другого было ужасающе мало. Летом были огурцы и помидоры, но хлеба почти не было. <...> Забота об обуви представляла труднейшую проблему. Рынок отвечал астрономической цифрой стоимости «колес», как их тогда называли. Если ботинки рвались, над человеком нависала катастрофа, ибо все пределы починки и ремонта бы-

ли давно превзойдены. Вся «проза» жизни давно уже превратилась в угрозу существования. Это касалось всего: раньше всего — продовольствия, затем топлива, потом одежды, обуви, белья, мыла, освещения и т.д. <...> Чем больше разрушался привычный быт, тем и было всё необычайнее, похожее на приключения. <...> Мы голодали, но были веселы, пьянели от любой еды, но еще более от стихов, от репродукций картин, от хорошей книги, от предчувствия близкой любви.

Одесса, 1919

БОНДАРИН: В двадцатом году, однажды, я получил паёк — буханку хорошего ситного хлеба. <...> Я шел домой, хотелось есть, в голове шумело, но я крепко держал хлеб — в ту пору случалось, что съедобное выхватывали из рук среди бела дня. <...> Но тут мне повстречался один знакомый молодой человек... Этот молодой человек со странно примятым носом на румяном лице, в пенсне, входящим тогда в моду галстуке, высоко держал голову и выглядел задорным и надменным.

Мы не были с ним близко знакомы, но там, где мы встречались, он слыл насмешником; все побаивались его меткого словца. ...Молодой человек, при виде которого, казалось мне, мог побледнеть самый развязный одесский конферансье...

Мы сделали несколько шагов, и, покуда я придумывал, как поддержать разговор, мой спутник, не глядя на меня, сказал:

— Дайте хлеба...

Я даже остановился.

Посмотрев на него, я увидел, что он очень худ...

Милые давние годы

ИЛЬФ: Я знал голод. Очень унизительный — мне всегда хотелось есть. Мне всегда очень хотелось кушать. И я ел хлеб, утыканный соломой, и отчаянно хотел еще. Но я притворялся, что мне хорошо, что я сыт. По своей природе я, как видно, замкнут и отчаянно уверял, что я не голоден, в то время как ясно было заметно противоположное.

Из письма от 30 мая 1923

Нина Гернет в «Коллективе поэтов» читает заключительные строчки своих стихов:

«...И сливок розовых стакан
Небесным кажется напитком!

Первой реакцией, не успела я кончить, был вздох из дальнего угла и тоскливая фраза:

— Так он и есть небесный...

Это был 20-й год. Голодный. Может, потому и я про сливки писала».

Эхом тех трудных лет звучит цитата из *Золотого теленка*:

ИЛЬФ-ПЕТРОВ: В то беспокойное время всё сделанное руками человеческими служило хуже, чем раньше: дома не спасали, еда не насыщала, электричество зажигалось только по случаю большой облавы на дезертиров и бандитов, водопровод подавал воду только в первые этажи, а трамваи совсем не работали. Все же силы стихийные стали злее и опаснее: зимы были холодней, чем прежде, ветер был сильнее, и простуда, которая раньше укладывала человека в постель на три дня, теперь в те же три дня убивала его.

О литературном вкусе Ильфа, его литературных пристрастиях рассказывают друзья:

ОКС: Первый разговор, первое знакомство. Разговор, конечно, сразу зашел о книгах, об искусстве, сразу обозначилось сходство вкусов. Поразила его начитанность. Дружба завязалась сразу, через час, через два. Мы жили близко, встречались ежедневно, иногда по два раза на день. <...>

Вот круг его литературных симпатий в то время. Стивенсон, Стерн, Диккенс, Конан-Дойль — его исторические романы. Из французов — Флобер, Мопассан, Франс, отчасти Бальзак, Мериме. Стендаль был известен только как автор *Итальянских хроник* и книги *О любви*. <...>

Поражали его суждения, необычайно меткие, свежие. Его мысли, их самостоятельность, оригинальность и полное отсутствие даже намека на банальность.

И, кроме всего и лучше всего, замечательный юмор.

Если он видел нечто заслуживающее осуждения, подлость, злобу, унижение — его слова были особенно метки и совершенно уничижительны.

О местных профессорах — «знаменитые лысины», о завсегдатаях прежних кафе — «пикейные жилеты».

Одесса, 1919

СЛАВИН: В пору молодости, в 20-х годах, Илья увлекался более всего тремя писателями: Лесковым, Рабле и Маяковским.

Я знал их

БОНДАРИН: Часто играли в игру «Что возьмем с собою на необитаемый остров?». Твердо помню, что с Диккенсом Ильф расстаться не хотел даже на необитаемом острове, и едва ли будет преувеличением сказать, что этого автора Ильф полюбил навсегда и не расставался с ним до самой смерти. Иные главы «Двенадцати стульев», по словам самого Ильфа, «срисовывались» с «Пиквикского клуба». <...> Мы жадно листали иллюстрированные журналы, смакуя с одинаковым удовольствием и Бенуа, и Жироду, но Илья Арнольдович показывал пример серьезного отношения к таким писателям и поэтам, как Франсуа Вийон, Рабле, Стерн, Франс, наш Лесков.

Милые давние годы

ОЛЕША: Ильф любил книги о спорте, о морских сражениях. Много зародившихся в детстве желаний он нес сквозь жизнь свежими, нетронутыми.

Об Ильфе

«ОДИН, КАК ВСЕГДА...»

Жить было нелегко. В начале 1922 года дом на Софиевской покидает старший брат — художник, известный под псевдонимом Сандро Фазини (1893–1944). Сразу же после окончания Одесского художественного училища Александр начал сотрудничать в популярных журналах, где появились его заставки, виньетки, рисунки. «В России, в прошлые, конечно, годы... я зарабатывал

4 – 4720

большие деньги. ...Я никогда не был последним и всегда выделялся», — вспоминал Фазини. В годы расцвета левого искусства Фазини примкнул к Обществу Независимых художников, участвовал в их выставках. В рецензиях его неодобрительно называли «кубистом». Он даже писал «поэзо-эксцессы» в манере Маяковского-футуриста. При большевиках работал в Окнах Роста. Катаев вспоминает «...громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини — два революционных матроса в брюках клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев» (*Трава забвенья*). Писатель причисляет художника к «настоящим мастерам — острым и современным» (*Уже написан Вертер*). Именно от старшего брата перешла к Ильфу мечта о Франции, любовь к ее литературе и искусству.

Из Константинополя художник шлет письма своему дяде Натану, уехавшему в Америку еще в конце XIX века: просит прислать ему вызов. Причина отъезда как нельзя более ясно изложена в письме Фазини от 23 апреля 1922 года:

...К сожалению, сейчас нельзя делать выбора, и выбирать Россию сейчас как поприще — значит выбрать смерть. Вам, за отдалением от России, это, я думаю, трудно себе представить. Но представить себе, что такое Россия, теперь человеческому уму невозможно. Это нужно увидеть собственными глазами, и только тогда можно понять. Если бы я был один, это еще не страшно, я еще, может быть, протянул бы полгода или больше, но там мама, папа, братья, и при одной мысли, что их скоро ждет участь тех, которые уже умирали на виду у всех, без всякой помощи, эта мысль мне совершенно невыносима, и Вам тоже, я думаю, трудно будет помириться с тем, что Ваш брат умирает от того, что вот уже два года ему нечего есть, и что если я еще буду раздумывать, собираться что-либо сделать или ждать, пока в России можно будет жить, то этим я обрекаю своих родных на неминуемую смерть. Такое положение было полтора месяца тому назад. Я уехал, оставив родителей больных, крайне истощенных, преждевременно состарившихся от тяжелого, им непривычного труда. Оставил их без уверенности, что они проживут еще месяц. Поверьте, что это не слова, это самая ужасная правда.

Листки письма Фазини, распавшиеся на квадратики, уцелели у американских «Файнсилверов» в Хартфорде (штат Коннектикут). Лет десять назад его мне переслала «кузина Францез» с просьбой перевести на английский язык (никто из Файнсилве-

ров не знал и не знает русского языка, «американский дядюшка» писал только на идише).

С Америкой почему-то не получилось, и Фазини оказался во Франции. В Париже он работал в сюрреалистической манере, выставлялся в салонах — Осеннем, Тюильри, Независимых. Французские искусствоведы называют его одним из исключительно интересных мастеров Парижской школы. Его художественные фотографии экспонировались на Всемирной парижской выставке 1937 года (у меня хранится более десятка великолепных крупноформатных фотографий, которые он подарил Ильфу в декабре 1935 года вместе с тремя карандашными рисунками). 16 июля 1942 года он и его жена Аза Канторович были арестованы, через неделю с партией конвоируемых № 9 отправлены из Парижа в Освенцим, где оба погибли. Все работы Фазини были уничтожены.

Безрадостный 1922 год. Мать умерла. Отец болен. Брат Миша с конца 1921 года — в Петрограде. Младший брат — не в счет. Многие друзья и приятельницы покинули Одессу. Ильф тоскует. Он продолжает писать — но это уже не стихи, а письма, похожие на белые стихи, на незаконченные поэтические наброски, на лирические эссе. По счастью, сохранились его письма к двум подругам — Лине Орловой и Тае Лишиной.

ИЛЬФ — ЛИНЕ ОРЛОВОЙ ИЗ ОДЕССЫ В МОСКВУ

Лина Осиповна Орлова училась в то время в студии танца Тотеш Бабаджан, будущей жены композитора Михаила Раухвергера, дружила с Ильфом, бывала в молодежном объединении «Коллектив художниц» на Преображенской, 4.

В 1922 году она уехала в Москву, тотчас заболела, волею судьбы оказалась в Кремлевской больнице, откуда и написала о своих злоключениях одесской подруге Тае Лишиной. Лишина же прочитала это письмо Ильфу, который и послал Орловой «поддерживающее и отвлекающее» письмо, начинавшееся обращением «Любезный друг».

Вскоре после этого Лина Орлова переехала в Петроград, училась в Академии художеств и, «объединив» оба свои увлечения, стала впоследствии художником по костюму. Летом 1922 года Ильф получил от нее письмо из Петрограда, полное нос-

тальгических воспоминаний об Одессе. Ответом стало письмо Ильфа «Гражданка Лина...».

Письма молодого Ильи Ильфа не только доносят до нас отголоски давних бесед, споров, любовей, суждений, но могут быть восприняты как поиски или даже подступы к тому литературному стилю, которому не суждено было обрести наметившиеся очертания.

Р.А.

Оба письма печатаются по фотокопиям оригиналов.

Любезный друг.

Мне читали Ваше письмо из больницы. Между Кремлевской стеной и голландскими печами Вы поместили там и мое имя. И это исполнило меня радостью, правда, гораздо меньшею, нежели та, какая была вызвана Вашим выздоровлением. Что-то я сделал Вам, чего по свойственной мне грубости нрава не сознаю и посейчас. Но было это то, в чем нужно просить прощения. Итак, я прошу одного ко мне милосердия. Милосердие, мой друг, единственно лишь Ваше милосердие еще сможет спасти меня. Я ожидаю от Вас письменного разрешения моих грехов до той благословенной поры, когда и мне будет надлежать Москва. О, время, когда зацветет свечами дерево Преображенской улицы*. Тогда я покину родные акации и уеду в Петербург. Мой путь будет лежать на Москву. Моя верность приведет меня к Вам, а Вашим милосердием мне будет подана жизнь.

А моя жизнь — всё то же. Дымный мороз и санки слетают на Греческий мост, но приходит ветер западный и южный, и ничто, даже самое яростное воображение весны не заменит Вам западного и южного ветра в феврале. В городе, где так много любви и так много имажинизма, каждое утро я говорю: Пусть вы все будете так прокляты в своей любви, как я проклят в своей ненависти. И пусть, взглянув на небо, Вы не увидите ничего, ни ангелов, ни властей. День проходит в брани и проклятиях, а ночи еле хватает для

снов, на маленьком пароходе мне надо плыть в Лондон, мои морские познания разворачиваются во всем блеске своего невежества, и лишь стыд перед капитаном с головой, голой как яйцо, понуждает меня проснуться. Ночью я вспоминаю осень и пожар, и осень это один пожар, будто не было иного.

Итак, Вы видите, во мне нет изменений. По-прежнему предоставив небо птицам, я всё еще обращен к земле.

Ожидаю Вашего письма, будьте многословны в разговорах о себе и точны в описаниях Москвы. Живите возвышенно и не ешьте дурного хлеба. Его с большим удобством можно заменить шоколадом.

На окраинах, утверждают, не пишут больше стихов. Что же касается до Таи, то сочетание скверных папирос, речей по поводу некоего Уисполкома и страсть к громкой речи делают ее поразительной. А зимой так трудно удивляться. И мне трудно.

Если в Москве хороши книги, надеюсь на Вас,

а я Ваш друг

16/II 22 г. Иля

*На Преображенской улице в доме № 4 находилась студия «Коллектива художниц».

Гражданка Лина.

Считайте лирическую часть моего письма оконченной, я начинаю с середины, закройте дверь, я ожидаю к себе уважения. Именно так, и я сказал то, что сказал.

Можно увидеть женщину, возникающую из пены и грязи Ланжерона, в шляпе, вуали и купальном костюме, образованном тугим корсажем и юбкой выше примечательных колен. О бесстыдство и привлекательность! Вульгарно и непристойно изображал таких художник Фелисиен Ропс*. Можно увидеть собак, пораженных любовью, и закат «в сиянии и славе нестерпимой» и еще, и снова, и опять, и так, как этого никогда не бывает, а я стою в сей малой куче и говорю: Никто не знал любви до меня, и никто не узнает ее по-

сле меня. Именно так, и я сказал, что говорили другие. Впрочем, тревоге нет оснований, в этом деле преданность прошлому обещает много в предстоящем.

Если Женя Окс имеет до Вас касательство, полагаюсь на Вас в передаче ему некоторого известия. Тому причиной была польская водка на беспощадном основании. Словом, я его (галстук? — *А.И.*) потерял. И это очень жаль. Он был великолепен. К тому же подарен в благословенные времена. Теперь я ношу галстук, какой в Европе носят негры, а в Европе никто не носит. Естественно, что мне остались только поцелуи**. Только упорным трудом можно спасти Республику. Говорю Вам, даже собаки поражены любовью. А Славин, я говорю Вам, Славин тоже. Лева, дитя мое, он погиб.

Вы говорите — море. Очень может быть. Улица Белинского*** — весьма вероятно. А я говорю — бросьте — это не дело. Отвратитесь. В Петербурге, понятно, акаций нет. Но взрастите ее в комнате. Вдохните, о аромат, благоухание. Первый день на неделе и первый на земле.

Ветер идет от юга. Он придет ранее этого письма. Облака и всё сдвинулось к северу. Это начинается у вас позднее, нежели здесь. Но пусть сопровождает Вас успех.

Я пребываю вплоть

до Вашего письма

Иля

5-ый июль
1922 года

*Фелисьен Ропс (1833–1998) — бельгийский художник и график. Автор жанровых и сатирических сцен с мистико-эротическими тенденциями.

**Скрытая цитата из стихотворения Мандельштама *Возьми на радость из моих ладоней...* (1918):«Нам остаются только поцелуи,/ Мохнатые, как маленькие пчелы,/Что умирают, вылетев из улья». — Цит. по: Осип Мандельштам. Сочинения в двух томах. Т. 1. Стихотворения (1908–1925). *Tristia*. М., 1990, с. 131.

***Лишина вспоминает: «...Он [Ильф] называл нас "Белинской колонией недотрог" (жили мы все на улице Белинского...)» (*Веселый, голый, худой*).

Бондарин утверждает, что Ильф, якобы прочтя ему вслух оба этих письма (чего быть не могло: при публикации мемуарист произвольно соединил их в одно), будто бы сказал: «Да, надо бы проще, но проще у меня, вероятно, никогда не получится» (*Милые давние годы*).

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ Т.Г. ЛИШИНОЙ *ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ...* С ПИСЬМАМИ ИЛЬФА

Передо мной несколько писем. Слежались их страницы, прогнулись на сгибах, выцвели чернила...

Это письма молодого Ильфа. Они адресованы двум подругам, двум молодым девушкам, жившим в двадцатые годы в одном с ним городе.

Не помню, где мы познакомились. Возможно, на литературных средах в одесском «Коллективе поэтов», где до поздней ночи бурно обсуждались стихи, либо в кафе поэтов с заимствованным у поэта Анненского названием «Пэон четвертый». <...>

Ильф хорошо относился к нам, молодым, только что окончившим среднюю школу и сначала очень робевшим на поэтических собраниях. Он приносил нам старые номера «Вестника иностранной литературы», читал понравившиеся страницы из Рабле, Стерна, знакомил нас со стихами Вийона, Рембо, четверостишиями Саади и Омара Хайяма.

Хотя Ильф был старше нас, но любовь к книгам, меткому слову, шутке, житейские невзгоды и маленькие праздники сблизили нас, и мы подружились. С ним было нелегко подружиться. Нужно было пройти сквозь строй испытаний — выдержать иногда очень язвительные замечания и насмешливые вопросы. Ильф словно проверял тебя смехом — твой вкус, чувство юмора, умение дружить, и всё это делалось как бы невзначай, причем в конце такого испытания он деликатно спрашивал: «Я не обидел вас?»

Виделись мы с ним часто, но иногда, без всякого внешнего повода, он писал нам письма и искал удобного случая их пере-

дать. В них почти не было ничего личного, относящегося к кому-нибудь из нас. Мы удивлялись и считали это своеобразным чудачеством. Много позже стало понятным, что письма выражали естественную потребность Ильфа еще в те ранние годы заняться литературой. В письмах он определял свой стиль, свою манеру, литературный вкус. Ильф искал применения своему таланту, силам, и письма были проверкой. Не было еще будущего писателя-сатирика, не было еще своей темы, но за литературным озорством или грустью этих писем можно разглядеть, как накапливались и отбирались впечатления, росла меткость и точность образного слова, определялась нетерпимость к пошлости и банальности.

События и обстоятельства, затрагиваемые им в письмах, часто были случайными и не очень значительными. Но они связаны с жизнью молодого Ильфа, и в этом их непреходящее значение. Мне кажется, они заслуживают того, чтобы рассказать, как жил, грустил и смеялся молодой Ильф.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ*

Еще Вы, любезная Тая, совершаете своекорыстные переходы в Аркадию, еще Вам, Лиля, может быть, милы жаркие гиперболы лета, и даже я еще предаюсь размышлениям о нравственности и насморке Робеспьера, но в небе уже осень, ветер сбивает звезды, и к зиме оно раздвинется над нами огромной черной лисицей. Еще раз нам предстоит увидеть прощальные солнца осени. Это как пушечный салют кораблей, которых больше не увидишь никогда. А после, татарской конницей, легкой и яростной, во весь опор помчится снег, это плен и невзгоды.

Тогда Вы увидите меня иным, в чугунной походке памятника, с привязанной к лицу улыбкой, в молчании человека, отчаянно расточившего дар разговорной речи.

И я думаю о Вас и о том, что Вы такое зимой, о комнате, маленькой и совершенной, где Вы живете среди разгромленных книг и где в отваге смелых

сердец и в милом извращении приличий Вы реабилитируете один из пороков и судорожно создаете новые. И я вижу Вас провождающими свои дни в веселом умерщвлении плоти и в гуле пожираемого шоколада.

Аркадия, о которой пишет Ильф, это не идиллическая страна аркадских пастушков, а одесский курортный пригород. До революции он славился не только своим великолепным естественным пляжем и даже не оборудованной на заграничный манер водолечебницей, а дорогим рестораном над морем с летней эстрадой, где выступали международные кафешантанные звезды. В голодное лето 1920 года в Аркадии, как и во всех одесских пригородах, каждый клочок земли был занят под огород. Там, где раньше были дачи со стеклянными шарами на цветочных клумбах, теперь пробивалась чахлая зелень моркови и низко стелилась картофельная ботва. Одесситы неумело возделывали землю, и она приносила им тощие плоды. Я помогала знакомым, у которых был маленький огород в Аркадии, окучивать картошку и поливать помидоры. Позже мне предложили собрать для себя часть небогатого урожая, и я несколько раз совершала многочасовые «переходы» из дома в Аркадию за овощами. <...> Провозившись дотемна на огороде, я возвращалась в кромешной тьме с тяжелым рюкзаком. Примерно на полдороге, у здания полуразрушенной трамвайной станции, Ильф встречал меня, отбирал рюкзак, и мы вместе возвращались в город. Всю дорогу он занимал меня всевозможными историями и пересказом прочитанных книг. Именно здесь, на темных улочках приморской окраины, я впервые услышала от него о Лоренсе Стерне и его книге *Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена.* Он знал наизусть главы из этой любимой им книги, часто цитировал ее и восклицал по любому поводу: «Чего?» — с улыбкой спросила Маргарита Наваррская. «Усов», — ответила Ла Фоссез»**, — и потом он тихо и заразительно смеялся.

У меня дома, растопив чугунную печурку пухлыми пачками журнала «Нива» за 1916 год, мы пекли в горячей золе картошку, обжигая пальцы и губы, ели ее без соли, которая тогда была дороже золота, грызли пахнущую острой свежестью морковку и мечтали о шоколаде.

Ильф с тревогой ждал зиму, тогда он ее не любил. Милей его сердцу были «жаркие гиперболы лета». Они были связаны с домом тетки, о котором он пишет дальше в письме:

А над домом «тетки» обезумевшим фонтаном взлетают кальсоны девственниц, сорочки честных матерей и фланелевые набрюшники холостяков. Он бьет в Вашу честь, этот фонтан, и на Вас же он опадает золотым и разнообразным дождем.

«Тетка» — моя родная тетя Лиза — переезжала к дочери в Москву. Одной ей было не под силу ликвидировать домашние вещи, и она попросила меня помочь. Единственным местом, где можно было продать и купить что угодно, от тонкой севрской чашки до потертого кавалерийского седла, была толкучка Нового базара. <...>

— Вы не справитесь одна. У вас всё разворуют. Надо что-то придумать. Кроме того, — он [Ильф] лукаво улыбнулся, — я поговорю кое с кем, и мы войдем в игру.

Эта игра продолжалась несколько дней. Я выходила из дома, напутствуемая тетиными наставлениями быть осторожной, нагруженная корзиной с носильным, постельным и столовым бельем. У ворот дома меня поджидали Ильф, Багрицкий и Бондарин. Они сопровождали меня до улицы, ведущей к базару, а там по нашему уговору рассредоточивались, чтобы появиться по условиям игры в нужный момент. <...> К концу моей распродажи появлялся Ильф. У него давно была какая-то особенная мохнатая кепка, которую, несмотря на жаркий день, он надевал для своей роли. Кепка вместе с его очками без оправы и короткая пенковая трубка в зубах делали его похожим на иностранца, а их было в Одессе немного. Со скучающим лицом он раздвигал кучку прицениваюшихся покупателей и, небрежно указывая на простыню или полотенце в моих руках, бормотал что-то неразборчивое, вроде по-английски. «Что он говорит?» — «Наверное, сколько стоит?» — отвечал кто-нибудь в толпе. Я на пальцах показывала стоимость вещи. Ильф отрицательно покачивал головой и тоже на пальцах показывал цену значительно ниже, названой мной. Видя, что я не соглашаюсь, он указывал на скатерть и с огромным интересом рассматривал ее. Казалось, он вот-вот согласится и купит, и тут кто-нибудь из перекупщиков, подбадриваемый возгласами и выкриками из толпы: «Вещь-то

хорошая, раз иностранец покупает», — не выдерживал, называл подходящую цену, и я уступала ему покупку. Ильф отходил недовольный, а вслед ему несся злорадный смех перекупщиков.

<...> Письмо заканчивается словами:

Так я думаю о Вас в промежутках между кровосмешениями Катюля Мендеса***, трагическими любвями Гамсуна и Ошибками и Тайнами Теодора Гофмана.

Пребываю в нежном Вашем дыхании.

Иля

Вам преданный и верный

*Печатается по фотокопии оригинала.

**В главе *Об усах* цитата звучит так: «Во всей Наварре, мадам, нет ни одного кавалера его возраста, — продолжала фрейлина, с живостью поддерживая интересы пажа перед королевой, — у которого была бы такая красивая пара...
— Чего? — с улыбкой спросила Маргарита.
— Усов, — ответила, совсем сконфузившись, Ла Фоссез».

***Катюлль Мендес (1841–1909) — французский поэт, романист и новеллист. Автор сборников новелл с изысканной стилистикой, большей частью фантастического содержания, с рочитым порнографическим привкусом.

ПИСЬМО ВТОРОЕ*

Летом [скорее всего, 1922 года. — *А.И.*] Ильф неожиданно получил на работе путевку в дом отдыха на Хаджибеевском лимане. Целебные свойства лиманной грязи привлекали туда желающих полечиться. Случилось так, что в срок его пребывания в доме отдыха находились преимущественно женщины, и Ильф оказался там чуть ли ни единственным мужчиной. По этому поводу он написал нам веселое и остроумное письмо. Может быть, сегодня оно покажется кому-нибудь недостаточно пристойным, тем более что оно адресовано молодым девушкам, но у нас в юности был свой критерий приличного и неприличного. По молчаливому уговору пошлый анекдот, двусмысленные остроты и плоские шутки воспринимались как плохая литература, считались неприличными и были начисто изгнаны из нашего обихо-

да. Письмо Ильфа не могло оскорбить нас. Мы понимали, что свойственная ему и в устной речи гиперболичность, образное преувеличение событий и отношений к ним понадобились ему в этом письме, чтобы сильнее заострить забавную ситуацию, в которую он попал. Великолепный язык, которым оно было написано, совсем очищал письмо от кажущихся непристойностей и натуралистического правдоподобия. Образцом литературного стиля и вкуса молодого Ильфа было это письмо, которое начиналось обращением:

Нежные и удивительные.

Желание беременной женщины, чувство странное и неукротимое, овладело мною, моими внутренностями и помыслами. Это желание лизнуть кого-нибудь из тех, что ходят здесь обугленными и просоленными. Но лизать всех невозможно, лизать же одних, отдавая им предпочтение перед другими, неудобно. В желаниях проходят день и лето, обреченное любви, славе и толстым женщинам, которые исступленно хотят у меня стенного прибора для измерения чувств.

Я привез с собой свое черное сердце и палладиум семейной чистоты и невинности. Глупый и немой садовник среди разъяренных благочестивыми псалмами монахинь, я принес себя в жертву.

Он никогда не подымется больше, ртутный столбик моего прибора для измерения чувств. Мне остались только поцелуи и мое черное сердце. Что же касается до семейного палладиума чистоты и невинности, то он утерян. Новый поэт, соединив в себе достоинства Гомера и Банделло, в свое время расскажет историю этой пропажи. Это будет забавно и торжественно. Всё дело в толстых женщинах, плохо и поспешно воспитанных на ускоренном Губувузе, оборудованных трагическим профилем и злоупотребляющих привычками героев. Истинному герою необходимо восхваление своих подвигов народом. Он требует у него криков и кликов, и народ послушно дает их. От меня тоже требовали кликов, по ночам я ревностно кричал, и вот священный признак

моей мужественности превратился в орудие домашнего и частого обихода. От этого гибли Империи, и я тоже погиб, как погибали Государства и Нации, — от чрезмерного напряжения сил и крайнего изнурения.

Вот почему мне остались только поцелуи, наблюдения за летящими звездами, лиманная помойница и три сестры, джигитуюшие на моих, увы, уже безвредных коленях. И еще остались сны.

В письмах, как и в разговорах, Ильф часто вспоминал свои сны. Не было ясно, снились ли они ему действительно или он их придумывал. Прибегал он к этому приему, когда это касалось его личных переживаний и чувств. Очевидно, так ему было легче спрятать то, что никогда бы не рассказал он прямо и лично от себя и о себе. И в этом письме он дальше пишет:

Ночь обводит стенами смутных комнат, подкладывает под ноги мягкий асфальт, вывешивает неверную луну, и когда она в первый раз привела сны, мчалась звездная стая, сердце моталось и било, как взбунтовавшиеся часы, меня целовали в губы, это была она и ее внимательные глаза. И во сне вспомнил, что ей нравилась война

Ведь пушки дышали розами,
Клубами алых и чайных**,

вспомнил весеннюю холодную ночь, единственную и последнюю, паровоз, зло кричавший, ее в любви и слезах и себя, выходившего в темноту плакать и жаловаться. Сон кончился в звоне, смятении уходящих поездов и в плеске отплывающих пароходов.

Как всегда, словно пугаясь откровенного разговора, не желая выглядеть слишком чувствительным, он и в этом письме, неожиданно уже совсем другими словами, резкими и контрастными, переходит к сатирическому изображению того, что его окружало. Необычайное своеобразие его личности и заключалось

в столкновении и сочетании высокого и низкого, тонкой лирики и едкой сатиры. Он заканчивает письмо:

А проснулся, и небо пустынно, как бильярд, лишенный шаров, унесенных любителями слоновой кости, а мимо ходят толстые погубительницы моей чести, и проходят, сверкая ребрами и сорокалетним стажем невинности, тощие девы, а сверху валится солнце, тишина, пространство и птичий помет. Это день, он несет преувеличенную лень, вкусный табак, любовные стихи Пушкина, дары моему ошеломленному желудку и шумящие и нежные битвы Асеева, где

от дыханий пушечных
бежали по небу розы.

Эти пушки и розы соединяют день и сон, и глаза покачнулись, и день идет, как сон.

И это надо так, чтоб скучились
к свече преданья коридоров.

Это моя жизнь в климате милом и приятном.

В этот город, великолепный и злой, где остались Вы, я эвакуирую себя скоро.

Иля, Ваш преданный и верный

*Письмо печатается по фотокопии оригинала.

**Здесь и далее — цитаты из стихотворений Николая Асеева (цикл *Военные дни. 1914–1917*). — Цит. по: Н. Асеев. Собрание стихотворений в трех томах. Т. 1: *Стихотворения 1912–1925 гг.* Вступ. ст. И. Дукора. Государственное издательство. М.– Л., 1928.

«Нежные и удивительные!» — вспомним Бендера, который говорит Зосе: «Вы нежная и удивительная. Вы лучше всех на свете» (*Золотой теленок*). «Лиманную помойницу» Ильф перенес в рассказ *Рыболов стеклянного батальона* (1923).

ПИСЬМО ПОСЛЕДНЕЕ*

[конец декабря 1922]

Шел 1922 год. Блокированная страна, разгромив и выгнав интервентов, боролась с разрухой и голодом. Жизнь в Одессе была суровой, совсем замерла в ней и литературная жизнь. Давно закрылись кафе поэтов «Пэон четвертый» и «Меблированный остров». Не было бумаги, в одесских газетах еле хватало места для сводок с трудового фронта и важнейших международных новостей, и они редко могли печатать художественные произведения. Сократилась работа в ЮГРОСТА, которую долгое время предоставлял литераторам и художникам замечательный человек и великолепный поэт В. Нарбут, заведовавший одесским отделением. Из-за отсутствия топлива и света редко устраивались литературные вечера в университете и рабочих клубах, которых тогда было немного. Негде было печататься, негде было прочесть новые работы, и литераторы поспешно уезжали из Одессы. Ильф, как и остальные, тоже собирался в Москву, но тяжелое материальное положение семьи не сразу позволило ему сделать это. Почти каждый день мы провожали кого-нибудь из друзей, и Ильф неизменно напутствовал их своей любимой фразой: «Да пребудет с вами буйство, нежность и путешествия!»

...Мы возвращались с ним с вокзала и долго бродили по вечерней Одессе. Сейчас в нем трудно было узнать остроумного блестящего рассказчика и собеседника. Ему не хотелось возвращаться домой, где недавно умерла мать и оставался больной отец с младшим сыном, которого Ильф очень любил и в веселые минуты называл не иначе как «Мой младший брат Бенжамен или просто Веня»**.

У меня дома было тоже темно и холодно, и мы молча шагали по многочисленным приморским переулкам и улочкам, пересекали Александровский парк с вековыми деревьями и заброшенный городской сквер. «Хороший собеседник тот, кто умеет не только красноречиво говорить, но и не менее красноречиво молчать», — часто говорил Ильф, и в этот вечер молчание нас не тяготило. <...>

«Простите, я не поблагодарил вас за книги (речь шла о подаренных ему гравюрах французских художников и книге Назона *Наука любить*). Они великолепны. Овидий учит терпению и терпимости, а Домье и Гаварни трагичны в своей кажущейся несерьезности. Спасибо». Он стал разговорчивей к концу нашей

прогулки. «Одессу покидают все — всем нужна работа, любовь, поездки... Буйство, нежность, путешествия...» — повторил он несколько раз. Потом неожиданно спросил: «Да, на окраинах еще утверждают, что вы тоже хотите покинуть этот город, этот мертвый Брюгге?» Он махнул рукой в сторону порта и выжидательно посмотрел на меня. Я действительно собиралась ненадолго в Ленинград и подтвердила это. Он опять замолчал на всю длинную дорогу до моего дома. На этот раз обоюдное наше молчание было нелегким.

Накануне моего отъезда, который наступил через несколько дней после нашей последней прогулки, Ильф вручил мне маленький пакетик. В нем оказалась хрустальная печатка с двенадцатью гранями, на каждой из граней было вырезано по знаку зодиака. К печатке было приложено письмо. Вот оно полностью, это печальное письмо загрустившего человека, расстающегося с другом:

Мой мощный друг! Уезжают на север и направляются к югу, восток привлекает многих, между тем как некоторые стремятся к западу. И есть еще такие, о которых ничего не известно. Они приходят, говорят «прощайте» и исчезают. Их след — надорванная страница книги, иногда слово, незабываемое и доброе, и ничего больше. Я снова продан, и на этот раз Вами, и о чем мне писать, если не писать всё о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше имя, короткое как римский меч. Я трогаю Ваши пальцы и говорю торопливо и хрипло: «Хлоя или Помпей, это всё равно. Так ее зовут. А Вы называетесь Ан, и что может быть короче?» Но Вы подымаете руку, и снег налетает сразу, и это не снег, а дорогие мне знаки, это пчелы, и всё перепутывается — вечер, пожар, свеча и перчатка.*** Я просыпаюсь к *Ars amatoria* и черному хлебу. Нет больше оловянного потопа, дожди отступают по всей линии, мне остаются деревья из пепла и парк, наполненный рукоплесканиями. Это снова сон. Во имя Бога, какая жизнь! Так всегда. Ждать, покуда завертится круглый птичий глаз,

молчать до этого, молчать после. И говорить, не умолкая, выбалтывать всё, когда сдвинется и завращается круг. Иля

*Письмо предоставлено Одесским литературным музеем.

**Ильф, увлекавшийся западной литературой, называл его [младшего брата] не иначе как Бенджамен: «Бенджамен, не будете ли так добры принести ведро воды из дома номер семнадцать по Софиевской улице?»
[Из беседы В.А. Файнзильберга с Р.А.]
Домашние звали его не Веня, а Нюма.
Ильф называл его Нюма Помпилий
(Нума Помпилий — римский полководец).

***«Вечер, пожар, свеча и перчатка...» Не возвращается ли Ильф к этому образу из прошлого в своей «поэме», написанной, по утверждению семейства Окс, в 1932 году, прямо в прихожей их дома?

Назад на сорок дней
тысяч верст
и тысячу мостов
стекается моя память
Назад
еще назад.
Ночь — пожар
Рука, перчатка, свеча

Тебе друг и никому
Больше

Ниже — сердце, пронзенное стрелой, и подпись:
Знаки наивных

Начало и конец миниатюрной ильфовской «поэмы» с рисунками, которую Евгений Окс условно нарек «иронической», стилистически близки поэтической манере раннего, одесского периода:

В том что здесь рассказано нет лжи
Будь проклят тот, кто подумает об этом иначе
я начинаю
Пусть не увижу неба
Если скажу о том чего не было

Во имя Бога и во имя пчел
Во имя желтых пчел, во имя блеска
и во имя сияния

Последняя страница романа
Закройте дверь
Я был зачат в день 17 ноября
В 17-ый день ноября
В ночь этого дня
Более вы ничего не узнаете.
Блеск и сиянье —
Нету ничего больше, ничего иначе,
Только это, только блеск
И только сиянье

Не исключено, что в памяти Ильфа сохранились «белые стихи», написанные им в давние годы.

ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА ИЛЬФА

Здесь холодно, и меня мучает воспоминание о Ваших теплых коленях. Странный человек (в квартире напротив) трубит погребальный марш. Я один в комнате, где могли быть и Вы. Я грустен, как лошадь, которая по ошибке съела грамм кокаину. Я один, это ужасно... Я один лицом к лицу с яблоком... Что за яблоко? С какого оно дерева?

Комната слишком велика, чтобы одному есть в ней яблоко... Я не верю в свою хладнокровную тупость, и мне нет дела до лейтенанта Глана. А Вам я друг верный и преданный...

Цит. по: Сергей Бондарин. *Милые давние годы* (адресат не указан; отрывок присоединен к двум письмам Ильфа Лине Орловой).

В действительности это еще одна акция Бондарина: текст составлен из двух коротких писем Ильфа Тае Лишиной (фонды Одесского литературного музея) с добавлением цитаты из его письма Генриетте Адлер от 1 декабря 1923: «Я грустен, как лошадь, съевшая по ошибке грамм кокаина».

ЛИШИНА: Ильф готовился к переезду в Москву. Незадолго до отъезда мы сидели с ним на ступеньках одного из разрушенных оползнями домов на Черноморской улице. Он прощался с морем, с юностью, но не позволил себе ни единого лишнего слова, был, как всегда, сдержан, только, пожалуй, молчаливее обычного.

— В жизни нужно каждому пережить буйство, нежность и путешествия... Посмотрим, как у меня всё это получится.

Веселый, голый, худой

ПРИЯТЕЛЬНИЦА ВАЛЯ: Помнишь ли ты, Иля, оладьи в последние дни в Одессе и стихи Киплинга — «Потому что мы инженеры, инженеры Ее Величества войск...»?

Из письма

ИЛЬФ: — Иля, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Иля, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это!

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье.

Повелитель евреев

В юморе Ильфа есть истина. Разговор с женщиной он действительно считал за счастье. Приятельницы это понимали. Его серьезное, доброе внимание импонировало женскому полу. Кроме девушек из «Коллектива художниц», назовем Таю Лишину, Лину Орлову, Леночку Голованевскую, Валю — «маленькую и в ботах» (см. ревнивые письма Маруси Тарасенко после получения рассказа *Повелитель евреев*). «Муза Черного моря» — поэтесса Аделина Адалис дружила с Ильфом и Евгением Оксом, а потом в нее влюбился Окс.

ОКС: ...Я мог только подозревать о возможности существования неизвестных мне отношений, еще до моего знакомства — между Музой и Илей. О всей их сложности...

Позже Ильф как-то сказал мне: «Влюбленных соединила влюбленного рука».

Одесса, 1919

БОНДАРИН (о Лине Орловой): Немного танцовщица, немного поэтесса, немного художница, девушка эта недавно уехала в Москву или Ленинград — куда точно, я тогда не знал, но знал, что Илья Арнольдович тоже собирается ехать туда же...

Милые давние годы

Впрочем, кто знает? Не будем гадать, как складывались отношения Ильфа и девушек. Возможно, их объединяла исключительно любовь к литературе и изящным искусствам. Тем более что, по выражению златоуста Бондарина, «иное стояло за дверью».

«ИНОЕ СТОЯЛО ЗА ДВЕРЬЮ...»

Приоткроем дверь. За дверью — Маруся Тарасенко. Ей семнадцать лет, она очень хороша собой. Она старшая дочь Кузьмы Игнатьевича и Елены Андреевны Тарасенко. Имеются: брат Коля, ему шестнадцать, и младшие сестренки — Надя и Женя. Семья Тарасенко живет в Вознесенском переулке, дом 20, кв. 1, недалеко от вокзала. Пекарня, которую держат братья Тарасенко, Кузьма и Дмитрий Игнатьевичи (казаки Полтавской губернии), помещается в том же доме. Простое семейство Маруси «держит ее за принцессу» (как сказали бы в Одессе): она хрупкое, поэтическое, впечатлительное существо, далекое от житейской суеты и склонное к изящным искусствам. После окончания женской гимназии Александровой в 1919 году девушка поступает в 3-ю Пролетарскую Художественную студию (школу Рейнгбальда*).

*Владимир Рейнгбальд — одесский художник, окончивший Петербургскую Академию художеств, преподаватель живописи.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 26
Дано сие Марие Тарасенко в том,
что она действительно состоит ученицей
3-ей Пролетарской Художественной студии.
Действительно до 8 января 1921 г.
Заведующий В. РЕЙНГБАЛЬД

Организатором «Коллектива художниц» (по аналогии с «Коллективом поэтов») был живописец Наум Клементьевич Соколик (Соколини). По воспоминаниям Генриетты Адлер, Соколик пришел в школу Рейнгбальда как представитель Наробраза, отобрал четырех девушек из числа «подающих надежды» (Генриетта Адлер, Рая Менделевич, Маруся Тарасенко и Тоня Трепке), добился у городских властей помещения (Преображенская улица, 4, на втором этаже) и организовал студию. Именно студия — адрес «милого девичьего гнезда на Преображенской», о котором позже упоминает Ильф в письме к Генриетте Адлер.

Из поздних воспоминаний Тони Трепке: «Был такой молодой художник Наум (фамил[ию] забыла). Ему удалось реквизировать 2 прекрасные комнаты в квартире Лузановых (у которых мой папа и Власов купили Лузановку, чтобы построить гор[одской] сад с 3 к[илометровым] пляжем. В этих комнатах Наум преподавал живопись мал[енькой] группе учениц, в конце Преображенской, к морю. <...> В меня был влюблен Наум, в мою подругу Марусю — Ильф. <...> У Багрицкого была изумительная память, и так, как он читал поэзию, это было наслаждением слушать. Поэты моложе часто приходили читать свои стихи» (Антонина Трепке — Евгению Запорожченко в Одессу. Август 1976, Франция).

Пора объединить разрозненные сведения и рассказать о девушках из «Коллектива художниц»: образование группы можно было считать событием в культурной жизни Одессы. Но сначала об организаторе — Науме Клементьевиче Соколике. Сведений о нем не слишком много. Год рождения неизвестен. Вернее, известен, но источник не архивный, а литературный:

ИЛЬФ-ПЕТРОВ: Свою биографию художник мог бы начать фразой, полной глубокого содержания: «Я родился в 1901 году. Телефона у меня до сих пор нет».

Именно о Науме Клементьевиче Соколике написано в их грустном фельетоне *Равнодушие* (1932): художник действительно столкнулся с полнейшим равнодушием людей, которые отказывались отвезти его беременную жену в родильный дом. Слава Богу, всё обошлось благополучно, и мы даже знаем, кто появился на свет: «...ожидали мальчика, а родилась девочка».

Наум Соколик, творивший под лжеитальянским псевдонимом Sokolini, был членом и экспонентом одесского Товарищества независимых художников (1917–1919).

В январе 1918 года Вениамин Бабаджан, «вождь сезаннистов» (Окс), посвящает коллеге четверостишие:

Мучаясь в спазме творческих колик,
Томно раздумчив, истинно тонок
Трудится юный маэстро Соколик
Над сотворением своих заслонок.

Действительно, он был юный — всего семнадцать лет!

Соколик принимал участие в первомайском оформлении Одессы: «Мастерская худ. Фраермана и Соколини. Декорировка братской могилы. 1 трибуна, 2 шеста, 1 колесница, 1 балаганчик и 2 плаката» (*Праздник пролетариата.* — Известия, Одесса, 1919, № 27, 1 мая, с. 1).

Вышеприведенные сведения и неопубликованное
четверостишие В. Бабаджана любезно предоставлены
С.З. Лущиком.

Зимой 1920/21 года энтузиаст Соколик организовал художественную студию на Преображенской, а осенью 1921 года уехал... Девушки думали, что в Париж, а он почему-то оказался в провинциальном Проскурове («Адрес Socolini: г. Проскуров, Александровская, 25. Райжелдор. Н.К. Соколини». — Из письма М. Тарасенко М. Файнзильбергу от 16 февр. 1922), где работал конторщиком). «Отчего в Проскурове, отчего конторщик?» — ужасается его ученица Тоня Трепке (из письма к М. Тарасенко от 20 дек. 1921). В Париж он так и не попал. Жил в Москве (его телефон указан в записной книжке Ильфа за 1928 год); погиб на фронте.

В 1929 году Соколик оказался соседом Ильфов по дому в Соймоновском проезде (интересно, что его семья в 1911 году жительствовала по соседству с Файнзильбергами на Малой Арнаутской, в доме 11. Кельман Иделевич, отец художника, был мастером ювелирного цеха). Соколик, Бондарин и Козачинский из окна комнаты Ильфа наблюдали взрыв храма Христа Спасителя 31 октября 1931 года (см.: Сергей Бондарин. *У себя дома, на дворе и на улице. — Парус плаваний и воспоминаний*, с. 43–45).

Генриетта Савельевна Адлер (1903–1997) — художница, подруга Маруси Тарасенко. Адресат двух писем Ильфа (1923), упомянута в его записных книжках («Гей, ты моя Генриэтточка!»). Она жила на улице Петра Великого, д. 25, неподалеку от квартиры «Коллектива поэтов» (д. 20). В нее был влюблен ученик Багрицкого, поэт (в Одессе) и прозаик (в Москве) Семен Гехт (1903–1863), уехавший в столицу в апреле 1923 года. Но их роман так и остался на бумаге, в письмах, а замуж она вышла за их общего друга Сергея Бондарина.

Рая (Раиса Лазаревна) Менделевич и Генриетта Адлер по окончании гимназии посещали частную рисовальную школу Рейнгбальда в доме Попудова — «плохую школу плохого педагога». Обе оставались приятельницами М.Н.Ильф и в Москве.

Как вспоминает Генриетта Адлер, зимой 1921 года было проведено много долгих интересных вечеров у раскаленной печурки, которая нещадно дымила, за стаканом глинтвейна, сваренного Ильфом, чудом находившего в голодной Одессе специи для его приготовления. Вино одновременно служило и пищей. Очень редко удавалось найти кукурузу, которую жарили тут же в казанке (из беседы Г.С. Адлер с Н. Городецкой, лето 1979). «На Преображенскую приходили поэты, читали стихи. Приходили художники. Зимой было очень трудно и холодно. Помню старого художника Михаила Александровича Медведева. Приходили Т. Фраерман, Наум Соболь» (из беседы Г.С. Адлер с С.З. Лущиком 21.05.1980). «Топили буржуйку, воровали у родителей дрова, от холода перебрались в студии в маленькую комнатушку. Ни в каких выставках группа не участвовала, документальных свидетельств работы коллектива не осталось. Р.Л. Менделевич сохранила несколько своих работ» (из беседы С.З. Лущика с Г.С. Адлер и Р.Л. Менделевич 15.06.1982).

Тоня, Антонина Трепке — дочь одесского инженера Вольдемара Фердинандовича Трепке (Елисаветинская, 19). На улице Гоголя, 14 находилась контора Зуева и Трепке, специализировавшаяся на общестроительных работах (справочник «Торгово-промышленная Одесса», 1914); в 1919 г. техническая контора «В. Трепке и К. Эрмиш» была зарегистрирована на Херсонской улице, 60.

Сохранились три письма Тони (1921), адресованные в Одессу «Живописцу Марусе Тарасенко»: она звала подругу в Москву — учиться или хотя бы походить по музеям. Училась в Москве в Свободных государственных художественных мастерских (Свомас), архитектор. В 1924 году Вольдемар Трепке и

его отец Фердинанд попали в список «лишенцев», и в том же году семья Трепке эмигрировала во Францию. Во время поездки по Европе (1933–1934) Ильф встречался с «Тоней Трепке» в Париже, они предавались воспоминаниям. По словам Г.С. Адлер, последние годы жизни она провела в Америке.

ТОНЯ ТРЕПКЕ — МАРУСЕ ТАРАСЕНКО ИЗ МОСКВЫ В ОДЕССУ, 1921

...[Я] совершенно серьезно предлагаю тебе приехать в Москву. За три пуда белой муки моя тетушка согласилась тебя кормить. Жить и кушать будешь с нами. Дядя и тетя очень славные, в доме у нас спокойно и хорошо. Эти $1^1/_2$ месяца, что ты здесь будешь, будем ходить в музеи. Я тебе покажу хорошую архитектуру. Москву надо видеть только зимой, когда она лежит под снегом. Приезжай, Маруська. Москва — это старая русская сказка. <...> Весь вопрос в том, достанешь ли ты 3 пуда белой муки и пропуск. Я слыхала, что теперь легко выехать из Одессы.

Слушай. С собой ты берешь: две сорочки, теплые штаны, теплую нижнюю юбку, 1 платье похуже и потеплее. Теплое пальто, длинное, чтобы не дуло в ноги. Теплую шляпу и сверху платок шерстяной. Пальто должно иметь воротник, который, если подымешь, закроет уши и нос. Теплую муфту, перчатки. На ноги валенки. Шерстяные чулки, намотай на ноги теплых тряпок и бумагу, надень еще гетры. Дорогая Маруся, если одеться тепло, чтобы всё было предусмотрено, чтобы колени не остались голыми или только в одних чулках, то тебе при самом сильном морозе будет тепло. Если валенок нет, то намотай теплое одеяло на ноги и сшей себе теплые сапожки, можешь сверху надеть старые папины галоши. Вид у тебя должен быть такой, чтобы знакомые стыдились с тобой раскланиваться на улице. Всё это надень на себя. В одном мешке — мука, в другом — провизия на 6 дней. Покупать по дороге из провизии тебе ничего не надо, разве только хлеб, если дешев, на станциях между Киевом и Одессой. Хлеб черный в Москве стоит 10, 12 тысяч фунт, а белый 22 т. Если ты возьмешь четыре пуда муки и пуд продашь здесь за 800 т., то ты вернешь деньги на расходы на носильщиков и извозчиков (извозчик берет в Москве с вокзала 50 т.), и у тебя останутся деньги на мелкие расходы для

Москвы. Если мука в Одессе значительно дешевле, чем в Москве, то ты вернешь еще деньги за муку родным. Итак, ты должна быть тепло одета и иметь мешок с 4 или 3 пудами муки, небольшой мешочек с провизией на руке и больше ни-че-го. Одну пару ботинок захвати с собою, и не надо ничего лишнего.

Из письма от 20 декабря 1921

Но вернемся к «Коллективу художниц»:

БОНДАРИН: ...В доме над самым обрывом, в нетопленой квартире, брошенной прежними хозяевами, несколько девушек, под самоотверженным руководством художников-энтузиастов, образовали студию. <...>

Зимой двадцать первого года там протекло немало чудесных долгих вечеров у раскаленной докрасна печурки, среди подрамников и мольбертов, в запахе красок, жареной кукурузы, морковного чая, в беседах, шутках, импровизациях, в подражании монмартрским нравам. Не только юноши, но и пожилые люди любили бывать там. Душою общества был ласковый и остроумный Михаил Александрович Медведев, седовласый художник, знававший Париж, Мюнхен, Вену. Разве может это не понравиться?

Чуть ли не ежедневно бывал здесь Багрицкий, появились Ильф и Славин, зачастил брат Ильфа, художник Маф — Михаил Арнольдович, за глаза больше известный под именем Миша Рыжий... Зашел как-то задумчивый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, попахивающей свинцом. Бегал сюда Сёма Кирсанов, удивляя девушек зычными будетлянскими стихами, голосом слишком громким для подростка. Багрицкий, может быть, сам под впечатлением новой своей поэмы «Сказание о Летучем голландце», бросил словцо, и за тремя девушками из «Коллектива художников», статными и длинноногими, закрепилась романтическая кличка — валькирии.

Милые давние годы

По воспоминаниям М.К. Костанди, сына известнейшего одесского живописца-грека Кириака Костанди, Михаил Александрович Медведев (кажется, ученик Репина), приехавший тогда в Одессу

из Петрограда, был известным московским мастером церковных росписей (сведения любезно предоставлены С.З. Лущиком).

Необходимо хоть немного рассказать о втором по старшинству брате Ильфа — Михаиле Файнзильберге (1896–1942). В Одессе его псевдоним был «музыкальным»: Mi-fa (с ударением на последний слог), в Москве — аббревиатурой: Маф. В родном городе его чаще звали «Миша Рыжий». Бондарин пишет, что он «зачастил» в «Коллектив художниц». Нет, совсем не «зачастил»: вместе с Соколиком он преподавал начала живописи девушкам на Преображенской.

ОКС: Второй брат был Миша. Михаил Файнзильберг, тоже художник — его кличка была Мифа. Еще его звали близкие друзья «рыжий Миша». Он презирал младших. Он носил ирландскую бородку, то же пенсне. Носил кепку так же, как Иля. Это был человек необычайный...

Он буквально оглушал собеседника оригинальностью, парадоксами, знаниями. <...> Он говорил: «После кубизма художники получили опыт, но многие... остались на всю жизнь идиотами». Он мечтал о библиотеке из 100 мировых шедевров.

Одесса, 1919

Молодой художник, в отличие от старшего брата Сандро, практически не публикуется в одесской периодике. Есть легенда, что именно он оформлял затеянный Ильфом журнал «Синдетикон». Журнал вроде бы вышел, некоторые старожилы клянутся, что держали его в руках, — но ни одного экземпляра по сей день обнаружить не удалось. Жизнь Михаила во многом похожа на судьбу журнала. Человек безусловно талантливый, но катастрофически неустроенный.

Алена Яворская. *Братья*
Мигдалъ (Одесса), № 3, 2000 г.

Юные «валькирии» по-ученически обожают своих преподавателей и страшно горюют, когда те покидают Одессу. Осенью 1921 года уезжают и Соколик (в Проскуров!), и Мифа (в Петроград). Оба переписываются с девушками. Маруся отчитывается:

Тоня с третьего дня Рождества в Одессе. Пишем друг друга. Еще по целым дням она занимается по архитектуре. Это очень хорошо, но — э, что писать! Живопись или архитектура, архитектура или... Прежде мучилась над этим, а теперь... Хотя я ничего не знаю. Ну да, больше ничего. Господи, как по-идиотски пишу. Ну, Вы не обращайте внимания. Благодарю, что не забыли девочек. Наша школа существует. Работаем теперь дома, а станет тепло — опять будем все вместе. Если писать о себе, то работаю по возможности побольше. Работать и работать. Мне трудно Вам писать, а еще труднее — о живописи. Спрашивать? У меня есть много, очень много вопросов... Ну, что мне делать? Господи, я ведь совсем маленький ребенок в живописи.

Из письма М. Файнзильбергу от 16 февраля 1922

Мифа советует «грустной Мэри» ехать в Петроград («А лучше всего попросите маму, чтобы она вас отпустила учиться в Петроград. Только здесь зимой чертовски холодно, и лучше всего заручиться тетей с печкой и дровами») и делится с ней своими житейскими и творческими сложностями:

...Я знал в Петербурге дни громоздкой и великолепной радости, радости делать новое. Это радость суровая и жестокая, и к тому же еще, быть может, призрачная. Написал только одну вещь и продал ее месяц назад за 15 миллионов. Остальное время делал халтурные акварели и подобную чепуху и пачкал свое имя. <...>

Вот каково оно — самое главное. Если бы еще были бы вещи, то были бы деньги. Мне даже предложили деньги за ненаписанные вещи. Но деньги эти не устраивают, и живописью жить, в особенности мне, невозможно. Слишком я к себе требователен и долго работаю.

Из письма к М. Тарасенко от 17 мая 1922

Девушки искренне преданы Искусству, ставят его превыше всего. Они в полном отчаянии из-за отъезда своих наставников. Тоня Трепке, которая в это время уже учится в Москве, пишет фантастически наивное письмо Марусе Тарасенко:

...Как я мечтала вернуться к весне домой и дружно работать с Наумом и тобою. <...> Неужели когда-нибудь в жизни мы встре-

тимся — ты, Наум, Миша и я, все вместе. Это было бы слишком большое счастье, чего на земле не бывает. Подумай, как мы все разъехались в разные концы. Миша из Питера тоже едет туда же, куда поехал Наум. И мы останемся сами, постепенно годы возьмут свое, ты приобретешь новых знакомых, выйдешь замуж. Боже, какой ужас!

Когда я говорила Мише: «Mifa, разве возможно, чтобы Наум уехал и оставил Марусю и меня?», Миша с горестью ответил, что это возможно, и я почувствовала в его голосе, что он Науму никогда не верил. Миша и не подозревал, как поступил он неосторожно и как эти слова подействовали на меня. Марусинька, Mifa очень несчастен, и как было бы хорошо связать наши жизни вместе — твою, Мишину и мою. И вместе, Маруся, при желании, возможно, уехать к Науму. Я не боюсь ничего — ни голода, ни работы. Только первый раз трудно вырваться из дому. Маруся, Миша тебе будет писать. Маруся, если мы не свяжем нашу жизнь с жизнью Наума или Миши, то кончим тем, что выйдем замуж за так называемых хороших деловых мужчин. Напиши, дорогая, Мише письмо, и я тоже предложу ему жить вместе втроем, а потом соединимся с Наумом.

Из письма от 20 ноября 1921

И Марусе живопись кажется важнее всего, она буквально преклоняется перед своим вторым учителем — Mifa. Она пишет ему в Петроград лирические письма, ревнует к Тоне Трепке. Сначала Ильф был для нее только братом Мифа. (В письме Миши Рыжего Марусе от 17 мая 1922 есть такая рекомендация: «...Если встречаете Ильфа, выругайте его тщательно».) Но она чувствует, что он ее любит, и душа ее полна детскими сомнениями, неуверенностью, даже страхом перед любовью этого особенного человека:

Вот был сегодня Иля.
Знаю только наверное, что не люблю его.
Ничего не понимаю.
Не знаю, любит ли он еще меня.
Кажется, любит.
Теперь ему еще больше скучно, — без службы он остался.
Будет еще, может, даже больше любить Марусю — скучно.
Как мне не стыдно, разве это так?
Но почему-то ни капельки не верю, что любит он меня.

Из неотправленного письма Маруси от 17 ноября 1922

У Ильфа, частого гостя художественной студии, установились теплые дружеские отношения со всеми четырьмя девушками. Но полюбил он одну.

ИЛЬФ: Зимой [1921/22] у меня отваливались пальцы, дул ветер, мне было очень холодно, всегда холодно и никогда тепло. Я перестал говорить и замолчал. Все мне было противно и скучно. Я не искал ничего, я был сам в себе и для себя. Зимой я видел тебя. Но ты была наравне со всеми. Я смотрел в большие глаза и нес чепуху. Было холодно, моя девочка, изумительно и нехорошо холодно. Я не хотел ничего и никого. Поэтому пять минут разговора с тобой, пять минут тяжелого веселья, когда вовсе не хочется смеяться, и опять дальше под ветром, по твердому снегу и стеклянным камням. Один, как всегда.

Сентиментальность была заколочена. Но летом — ты.

Из письма от 30 мая 1923

Летом, как видно, и началась кристаллизация чувств, превратившихся к осени в «сумасшедшую любовь». Самые первые, одесские, письма Ильфа уже переполнены этой любовью. Замаскированная стилистическими красотами, она упрямо рвется наружу.

ИЛЬФ — МАРУСЕ ТАРАСЕНКО ИЗ ОДЕССЫ В ОДЕССУ, 1922

[Осень]

Мне нет спасения от шумящего твоего дыхания. Всё одно. Вечером в воротах гремит замок, я вхожу. Утром со звоном летит гидроплан, я просыпаюсь. Это ты и это любовь к тебе. Вначале тайная и неразличимая, теперь она стоит поперек моего дня. Нет пощады, в снах, что мне видны, она шумит твоим дыханием. Мне нечего писать, кроме как об этом. Это был ветреный апрель, в соседнем квартале кричали, потом выстрелили, и все побежали, я вздрогнул и

вспомнил тебя. Звезды несло ветром, я вспомнил о тебе и засмеялся.

Я не помню, сколько, может быть, месяц или больше прошло. Я пришел, чтобы посмотреть на тебя. Глупость и выдумка. Ничего ты меня не любила. И еще сколько дней я приходил, чтобы сидеть на колючей траве. Мой Бог, подойти и тронуть рукой, это было так трудно, и я того не сделал. В то время было очень жарко, теперь ветер и погибающие деревья, но всё одно, я люблю тебя не иначе, как любил раньше. Ты та же, и я тот же. Я получил твое письмо только сегодня. Я не могу быть у тебя раньше, как вечером. Ты ничего мне не скажешь. И вот уйти, чтобы не видеть, сделать больно, как мне болит. Маруся, глупая девочка, я люблю тебя, и когда ты меня ни позовешь, я приду. Это всё. Я целую Ваши руки.

Иля

<1922, 1 декабря> Пятница

Дорогая девочка, я дарю тебе изображения японских дам, черные лакированные волосы которых скреплены знаками войны и знаками музыки. Маленький, поющий и воинственный народ, живущий на островах Японии, с грубой простотой украшает волосы своих дам флейтами и деревянными ножнами мечей. Мне мила простота этих нравов, поэтому я дарю их тебе. Еще больше, чем портреты, мне нравятся помещенные под ними сцены из японской жизни и более других та, которая называется «Благородные дела». Короткий, широконосый японец мощно потрясает оружием, гром и широкое дыхание подымается над островами, и это дыхание Востока, страшное и пленительное. В этих сценах ты увидишь многое — трех японцев, поющих и играющих на виду низко опущенного месяца, битву, похожую на фейерверк, ветер на улице и бегущих от него японцев, старуху, торгующую коржиками, и синюю рубаху носильщика.

Сегодня первый день декабря. Зима приблизилась к своему началу, но черное кебо Японии покрыто квадратными темно-золотыми звездами — твое дыхание, как шумящий ветер в японской ночи. В нежной горечи моих воспоминаний я скажу — В этот день я подарил моей девочке японские рисунки.

Иля

Я помню эти японские гравюры. Их было несколько — четыре или шесть. В детстве я прикалывала их кнопками к стенам. Сохранилась только одна. Если бы я знала, что это отцовский подарок, я бы хранила их как зеницу ока. На фотографии 1933 года гравюра с изображением «японской дамы» висит над маминым туалетным столом.

Среда, 20-й день [*20 декабря 1922*]

Моя девочка с большим сердцем, мне незачем писать тебе, раз мы можем видаться каждый день, но до утра далеко, и вот я пишу. Мне кажется, что любил тебя еще тогда, когда зимой, под ветер, разлетевшийся по скользкому снегу, случайно встречался с тобой. Мой мальчик, если с головой завернуться в одеяло и прижаться в угол, можно ощутить твое дуновение, теплое и легкое. Я прочел то, что ты мне дала. Ты моя милая и нежная девочка. Завтра утром я приду к тебе, чтобы отдать письма и взглянуть на тебя. Но одно письмо я оставлю при себе. Если кричат пароходы ночью и если ночью кричат журавли, это то, чего еще не было, и как больно я тебя люблю. Сердце медленно поворачивается, многое было, еще больше казалось. Я уже получил твое прощение, но прошу его еще раз. И если ничто о марте не напоминает, то и не надо. Нам будет весел летящий снег, и будет много снегу и много любви. Я жду тебя завтра.

Твой Иля

Только по беглым упоминаниям в московско-одесской переписке можно представить, как все это было. В октябре 1922 года Ильф впервые дотронулся до ее руки и понял, что любит. День своего двадцатипятилетия, 16 октября, он провел с ней. Она первая призналась ему в любви. Они встречались в комнате при художественной студии на Преображенской. Он ей позировал. Ночью они любили сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Он читал ей стихи. А потом он уехал. Она была на вокзале.

Поздняя запись на отдельном листке рукой Маруси:

Иля уехал из Одессы 6-го января 1923 г. День крещения. У нас дома был ужин. Я немного поела, потом надела берет и ушла. Родные ничего не сказали мне, только удивленно посмотрели вслед. На улице было совсем темно и холодно. Помады у меня не было, и я красила губы масляной краской — краплак.

Последнее кажется экстравагантным, но это так. Из воспоминаний художника Евгения Окса: «Были знакомые девушки. < ...> Девушек отличал по родинке на щеке, одну по косоглазию, другую по челке на лбу. Они красили губы краплаком с наших палитр».

Последним вечером, проведенным вместе, завершается одесский период жизни Ильфа. Он прибывает в Москву, имея «в ранце капрала» только любовь к своей «дорогой девочке» и безусловную склонность к литературному труду. «Маршальский жезл» достался ему позже.

МОСКВА
1923–1927

Мечта Ильфа о «той благословенной поре, когда и ему будет надлежать Москва», сбывается. 7 января 1923 года он уезжает в Москву, потом — в Петроград, повидаться с братом, затем окончательно возвращается в Москву. «Разница между Одессой и Москвой разительна», — пишет он. «Феерический город» ошеломляет его.

КАТАЕВ: Эпоха Великого Поиска.

Всё несло на себе печать новизны.

Новый кинематограф. Новый театр. Новая поэзия. Новая проза. Новая живопись.

Новые имена гремели вокруг нас. Новые поэмы. Новые фильмы. Новая техника. <...>

Мы были неизвестны среди громких имен молодого искусства. Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений.

Алмазный мой венец

ПЕТРОВ: В Москву понаехало множество провинциальных людей, чтобы завоевать великий город.

«ОБЩЕЖИТИЕ ИМЕНИ МОНАХА БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА»

ПЕТРОВ: Ильфу повезло. Он поступил на службу в газету «Гудок» и получил комнату в общежитии типографии в Чернышевском переулке. Но нужно было иметь большое воображение и большой опыт по части ночевок в коридоре у знако-

мых, чтобы назвать комнатой это ничтожное количество квадратных сантиметров, ограниченное половиной окна и тремя перегородками из чистейшей фанеры. <...> Четырьмя годами позже мы описали это жилье в романе *12 стульев*, в главе *Общежитие имени монаха Бертольда Шварца.*

Да, Ильфу повезло, но не сразу. Он не сразу получил работу в «Гудке» и комнату в общежитии. В первый месяц пребывания в Москве Ильф снимал «кубрик» у некой Власовой (см. письмо от 26 июня 1923), а в конце февраля его приютил, по традиции, Валентин Катаев в Мыльниковом переулке на Чистых прудах.

Из письма Ильфа от 28 февраля 1923: «Пишите мне на новый адрес — Чистые пруды — Мыльников пер., № 4, кв. 2б».

Следующий этап: Москва, ул. Станкевича (бывш. Б. Чернышевский), д. 7. Однако Ильф еще долго получает почту на адрес Катаева.

ЭРЛИХ: При типографии «Гудка» в Чернышевском переулке безнадежно бездомным сотрудникам отведено было пространство, разгороженное фанерными приспособлениями на крошечные пенальчики.

В распоряжении Ильфа была половина окна (другая половина отходила к соседу за перегородкой), он был здесь обладателем матраца на четырех кирпичах, табурета и самодельно сколоченного столика. Когда Ильф женился, ко всему перечисленному пришлось добавить примус и немного посуды.

Нас учила жизнь

Очень выразительно о жилищных передрягах Ильфа написал Михаил Булгаков в 1924 году. Под его пером возникает подлинное Общежитие имени монаха Бертольда Шварца, комнатушки которого Олеша сравнивал со спичечными коробками, а Булгаков — с шляпными картонками.

БУЛГАКОВ: Условимся раз и навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так и живут.

Без квартир.

...Последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были розлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает! Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие фанерные картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене рисовал портрет жены. <...>.

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если бы вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

Михаил Булгаков.
Трактат о жилище. — «Я хотел служить народу...». Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя. М., 1991, с. 75.

Из письма Ильфа от 23 января 1924: «Моя комната маленькая и дрянная...»

Следующий этап: Б. Лубянка, Сретенский пер. 1, кв. 24 (впервые этот адрес появляется на конверте письма Ильфа от 17.07.24)

ПЕТРОВ: Страшная квартира у Сретенских ворот. По ночам в коридорчике, превращенном в кухню, ходили крысы.

Мой друг Ильф

Подробное описание жилища в Сретенском переулке дает свояченица Ильфа:

НАДЕЖДА РОГИНСКАЯ: В квартире жили: в 2-х комнатах Олеша с Ольгой Густавовной, в одной узенькой (называлась она «пенал») Илья Арнольдович с Марией Николаевной и в четвертой — инженер Колодин, который вошел в роман *Двенадцать стульев* под именем инженера Щукина, с женой Анной Васильевной. Премилая русская женщина. Кухни там не было. Готовили на керосинках и примусах в коридоре, а в случае больших обедов — на третьем этаже в кухне «тети Маши». Она охотно пускала хороших людей.

Рядом, в наружном коридоре, ближе к входу, жила многочисленная семья татар. Однажды они привели на второй этаж лошадь — как они ее втащили по крутой лестнице! — решили откормить к своему какому-то празднику. Она тяжело топала копытами, беспокоила всех жильцов. Пришел управдом. Элегантный скульптор. Он очень долго и, казалось, напрасно убеждал эту упрямую семью, что в одной комнате (правда, довольно большой) с людьми нельзя держать и откармливать лошадь! Татары не соглашались. Но все-таки лошадь, в конце концов, увели куда-то.

Часто девушки из этой семьи (а их было как-то очень много) оказывали всякие мелкие услуги соседям. Мария Николаевна тогда очень успешно занималась живописью, писала портреты. Молодые татарки (конечно, за известную мзду) соглашались позировать даже «ню». На стене в комнате Иль-

фов висел очень удачный портрет молодой, обнаженной по пояс татарки, и маленький пасынок Олеши — Игорь, сын Ольги Густавовны, — привел к портрету своего кузена, Севу Багрицкого, и в восхищении воскликнул: «Смотри, Сева, какие со́ски!» По-видимому, он имел в виду груди. Тот тоже одобрил.

Вспомним журнальное и первое издания *Двенадцати стульев*: эпизод с соседями-татарами, купившими лошадь («Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?»), и запись «Татары привели в свою квартиру лошадь с живодерни» (*Записные книжки* Ильфа).

«Гудковцы» Ильф и Олеша жили небогато, чтобы не сказать — бедно. Мама рассказывала, что они с Ольгой Густавовной обычно замазывали тушью кожу под дырками на чулках (тогда носили черные), но, когда чулки перекручивались, предательски обнажалась белая кожа. Другой рассказ: у Ильфа и Олеши на двоих была одна пара приличных брюк. Несмотря на разные конфигурации (длинный, тонкий Ильф и невысокий, коренастый Олеша), они как-то ухитрялись надевать их. Однажды молодые жены решили навести в «страшной квартире» порядок и даже натереть пол (!). Выяснилось, что нет суконки. Мама сказала: «Оля, там за дверью висят какие-то тряпки, возьмем их!» И пол был натерт. Нужно ли говорить, что он был натерт пресловутыми «пасхальными» брюками.

«ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГУДОК»

«ГУДОК»
ГАЗЕТА Ц.К. СОЮЗОВ РАБОЧИХ ЖЕЛ.-ДОР.
И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Редакция и главная контора: Москва, ул. Станкевича
(бывш. Б. Чернышевский), д. 7
Телефоны: 42-20 и 2-53-43

КАТАЕВ: В числе молодых, приехавших с юга в Москву за славой, оказался наш общий друг, человек во многих отношениях замечательный. Он был до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее

новейшего искусства — живописи, скульптуры, поэзии. Каким-то образом ему уже был известен Аполлинер, о котором мы... еще не имели понятия. <...>

Можете себе представить, каких трудов стоило устроить его на работу в Москве. О печатании его произведений, конечно, не могло быть и речи. Пришлось порядочно повозиться, прежде чем мне пришла на первый взгляд безумная идея повести его наниматься в «Гудок».

— А что он умеет? — спросил ответственный секретарь.

— Всё и ничего, — сказал я.

— Для железнодорожной газеты это маловато, — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий... в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. — Вы меня великодушно извините, — обратился он к другу, которого я привел к нему, — но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?

Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:

— В принципе пишу без грамматических ошибок.

— Тогда мы берем вас правщиком, — сказал Август.

Быть правщиком значило приводить в годный для печати вид поступающие в редакцию малограмотные и страшно длинные письма рабочих-железнодорожников. Правщики стояли на самой низшей ступени редакционной иерархии. Их материалы печатались петитом на последней странице, на так называемой четвертой полосе; дальше уже, кажется, шли расписания поездов и похоронные объявления. <...>

Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.

Друг же поступил иначе. Вылущив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти—пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую

до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной.

Другие правщики сразу же в меру своих дарований восприняли блестящий стиль друга и стали ему подражать. Таким образом, возникла совершенно новая школа обработчиков, перешедшая на более высокую ступень газетной иерархии.

Это была маленькая газетная революция.

Старые газетчики долго вспоминали невозвратимо далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка».

Создатель же этого новаторского газетного стиля так и остался в этой области неизвестным...

Алмазный мой венец

Правда, сначала Ильфа взяли библиотекарем.

ЭРЛИХ: Новый библиотекарь с первых же дней взялся за пересмотр книжного фонда и каталогизирование. Он был высок, худ, на лице его остро выступали скулы. Некоторые книги возбуждали в нем особенный интерес. Прислонившись к полкам, он надолго застывал, листая страницы.

В большинстве случае это оказывался какой-нибудь сборник правил для железнодорожников разных специальностей — путейцев, тяговиков, связистов, эксплуатационников. Когда один из нас, недоумевая, спросил, что интересного можно найти в сухом перечне профессиональных правил, библиотекарь простодушно ответил, что ему никогда не приходилось еще видеть эти книги; новый интересный мир; склад драгоценных сведений.

Редакция газеты «Гудок» задумала в ту далекую пору выпускать еженедельный литературно-художественный журнал. Для первого номера уже подобраны были рассказы, стихи, очерк. Не хватало фельетона. Несколько авторов написали по фельетону, но пришлось забраковать их все без исключения. В. Катаев объяснил тогда:

— У меня есть автор. Ручаюсь!

Через два дня он принес рукопись.

— Отличная вещь! Я говорил!

Фельетон в самом деле оказался очень остроумным и значительным. Фамилия автора — короткая и странная — ничего нам не говорила.

— Кто это Ильф?

— Библиотекарь. Наш. Из Одессы, — не без гордости пояснил Валентин Катаев.

Мы настояли, чтобы редактор подобрал другого работника для библиотеки и перевел Ильфа в газету, в «обработчики» четвертой полосы. <...>

Полоса держала в страхе всех работников транспорта. Тот, кто, провинившись, попадал на четвертую страницу, приобретал печальную и обидную известность на долгие времена. Фельетоны запоминались. Они больно кусались и крепко жгли.

Начало пути

ОЛЕША: Работа наша состояла в том, что мы правили рабкоровские письма. Ильф был «правщиком». Так называлась его должность по штату. Письму рабкора нужно было придать литературную форму. Ильф проявлял свое оригинальное и блестящее дарование. Заметки, выходившие из-под его пера, оказывались маленькими шедеврами. В них сверкал юмор, своеобразие стиля. Это было в полной мере художественно. Делалось это легко, изящно. Создание каждой такой заметки было веселым и захватывающим событием для всего коллектива редакции. Меньше всего можно было назвать эту работу бездушной, будничной, газетной работой — это было творчество, мастерство, полная жизнерадостности деятельность художника, пробующего свои силы. <...> Ильф как бы делал подмалевки для будущей большой картины.

Об Ильфе

Спасибо, Юрий Карлович, Вы сказали именно то, что нужно. Именно — «подмалевки».

ОЛЕША: Я писал роман. Всё я прочитывал Ильфу — он говорил правду, что хорошо, что плохо. Прослушав одно место, он сказал «сладко», и теперь я тоже знаю, что значит

сладко. Он посмеивался надо мной, но мне было приятно ощущать, что он ко мне относится серьезно и, кажется, уважает меня. Ильф сам не писал ничего. Дома для себя — насколько помню — ничего. Иногда это удивляло меня: почему он не пишет? Он лежал на тахте и думал о чем-то, вертя жесткий завиток волос на лбу. Он много думал. Что-то от обращения старшего брата с младшим было в его отношении ко мне. И, как в отношениях со старшим братом, я кое-чем делился с ним, а кое-что скрывал. Не всё говорил — выбирал. Что можно сказать ему, что нельзя. Что покажется ему глупым, или неинтересным, или слишком личным. Было, значит, важно, как этот человек отнесется к тебе. Пожалуй, он всегда подтрунивал, но, когда он улыбался, его губы складывались в такую одобряющую улыбку, что было видно, что это очень добрый, очень снисходительно и доверчиво относящийся к людям человек. Ему очень нравилось вообще, что я пишу роман.

Мы были одесситы. Почти одновременно приехали в Москву, и он чрезвычайно серьезно относился к тому обстоятельству, что я вообще пишу, что пишет Катаев, Багрицкий, что он покамест не пишет и т.д. Повторяю, сам он много лежал и думал. Читал. Что? Очень много книг. Запомнилось, что он особенно хвалил ряд книг, описывающих сражения империалистической войны, сухопутные и морские. Очень много знал он в этой области: романтику, географию, приключения, войны. <...>

Он очень любил прогулки и всегда после этих прогулок приносил домой необычайные рассказы о том, что видел, с кем разговаривал, о чем думал. Эти рассказы были поразительны. Иногда настолько полны воображения, яркости и мастерства, что, слушая, я даже кое-чего не слышал, так как начинал думать о самом авторе и восхищаться им. Ни разу этот человек не сказал пошлости или общей мысли. Кое-чего он не договаривал, еще чего-то самого замечательного. И, видя Ильфа, я думал, что гораздо важнее того, о чем человек может говорить, — это то, о чем человек молчит. В нем [молчании. — *А.И.*] он очень широко обнимал мир.

Памяти Ильфа

ПЕТРОВ: Я отчетливо вижу комнату, где делалась четвертая страница газеты «Гудок», так называемая четвертая полоса. Здесь в самом злющем роде обрабатывались рабкоровские заметки. У стола стояли два стола, соединенные вместе. Тут работали четыре сотрудника. Ильф сидел слева. Это был чрезвычайно насмешливый двадцатишестилетний человек в пенсне с маленькими голыми и толстыми стеклами. У него было немного асимметричное, твердое лицо с румянцем на скулах. Он сидел, вытянув перед собой ноги в остроносых красных башмаках, и быстро писал. Окончив очередную заметку, он минуту думал, потом вписывал заголовок и довольно небрежно бросал листок заведующему отделом, который сидел напротив. Ильф делал смешные и совершенно неожиданные заголовки. Запомнился мне такой: «И осел ушами шевелит». Заметка кончалась довольно мрачно: «Под суд!»

Из воспоминаний об Ильфе

Известен и сюжет этой заметки:

ЭРЛИХ: [Инженер-железнодорожник], удрученно покачав головой, сказал:

— И осел ушами шевелит!

Замечание это, при всей своей загадочности, напомнило мне нечто знакомое... Как будто я уже слышал вот эти самые слова... Но где? При каких обстоятельствах?

— И осел ушами шевелит! — грустно, с укором повторил инженер. — Это про меня у вас... На четвертой полосе! И вот уже два месяца с тех пор места себе на земле не нахожу... Кажется, за спиной у меня смеются исподтишка, тихонько шепчут друг другу: «Это он... тот самый... ушами шевелит!»

Теперь я вспомнил: была такая заметка на «Четвертой полосе». Крепко влетело там одному путевому начальнику за то, что израсходовал на хозяйственные нужды весь очередной фонд зарплаты, оставив на десять дней без денег всех рабочих участка с семьями, чадами и домочадцами.

— Ах, черти же вы полосатые, как отделали меня! — жаловался теперь этот самый Пч [начальник 4 участка пути Средне-Азиатской железной дороги]. — Лучше бы под суд!

Нас учила жизнь

Если в описываемый Петровым момент Ильфу было 26 лет, значит, они встретились в 1923 году, хотя Петров пишет: «Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти». В набросках книги *Мой друг Ильф* Петров делает его старше на четыре года (перепутал? забыл?): «...чрезвычайно насмешливый *30-летний человек* в пенсне с голыми маленькими и очень толстыми стеклами...» Не в 1927 же году они встретились впервые?! Тем более что Петров пишет: «...Ильф прислал мне письмо в армию. Я не помню содержания этого письма. Помню только, что написано оно было чрезвычайно элегантно и легко» (*Мой друг Ильф*). А это было в 1926 году. Аберрация памяти.

ПЕТРОВ: В комнате четвертой полосы создалась очень приятная атмосфера остроумия. Острили здесь беспрерывно. Человек, попадавший в эту атмосферу, сам начинал острить, но главным образом был жертвой насмешек. Сотрудники остальных отделов газеты побаивались этих отчаянных остряков.

Для боязни было много оснований. В комнате четвертой полосы на стене висел большой лист бумаги, куда наклеивались всяческие газетные ляпсусы: бездарные заголовки, малограмотные фразы, неудачные фотографии и рисунки. Этот страшный лист назывался так: «Сопли и вопли».

Из воспоминаний об Ильфе

МИХАИЛ ШТИХ: Нельзя сказать, что гудковские сатирики были недостаточно загружены редакционной работой. Но она шла у них так весело и легко, что, казалось, емкость времени вырастала вдвое. Времени хватало на всё. Успевали к сроку сдать материал, успевали и посмеяться так называемым здоровым смехом. Рассказывались всякие забавные истории, сочинялись юмористические импровизации... Иногда по молодости лет и от избытка энергии «разыгрывали» какого-нибудь редакционного простака.

В старом «Гудке»

Розыгрыш редакционного фотографа, которого отправляют запечатлеть Исаака Ньютона к его двухсотлетнему юбилею, полностью вошел в первый вариант *Двенадцати стульев.*

ШТИХ: Из шести «здоровых мужиков» трое — так называемые литобработчики. Илья Ильф, Борис Перелёшин* и я. Мы делаем из рабкоровских писем злые фельетонные заметки о бюрократах, пьяницах и прочих лиходеях транспорта. Остальные делают свое. Овчинников** руководит, художник Фридберг*** тут же рисует к нашим заметкам устрашающие карикатуры. Олеша пишет в номер очередной стихотворный фельетон. ...Ильфа еще мало знают. Под своими блестящими фельетонными миниатюрами он скромно ставит подписи рабкоров, и только гудковцы угадывают за этими пестрыми подписями подлинного автора.

В старом «Гудке»

*Борис Михайлович Перелёшин — журналист, гудковец, друг Ильфов.

**Иван Семенович Овчинников — заведующий «культурно-бытовым» отделом «Гудка», получившим название «Четвертая полоса». Прототип Портищева из повести *1001 день, или Новая Шахерезада* и Корейко (*Золотой теленок*).

***Константин Наумович Фридберг — оформитель «Четвертой полосы».

ПЕТРОВ: Я был моложе его на пять лет, и, хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим мэтром. Его литературный вкус казался мне в то время безупречным, а смелость его мнений приводила меня в восторг.

Он был застенчив и ужасно не любил выставлять себя напоказ.

Из воспоминаний об Ильфе

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ: Ильф был человеком неожиданным. Иной раз его высказывания казались чрезмерно резкими, но почти всегда они были верными. <...>

Ильф был застенчив, но прям, меток, порой беспощадно насмешлив. Он ненавидел пренебрежительных людей и защищал от них людей робких — тех, кого легко обидеть. <...>

При нем нельзя было лгать, ерничать, легко осуждать людей, и, кроме того, нельзя было быть невоспитанным и невежливым. При Ильфе невежи сразу приходили в себя. Простое благородство его взглядов и поступков требовало от людей того же.

Четвертая полоса

ОЛЕША: О ряде молодых писателей, писавших неплохо, но слишком изысканно, почти брезгливо к слову <...> — Ильф сказал, что это «хедер имени Марселя Пруста».

Книга прощания

А вот незатейливые домашние развлечения:

РОГИНСКАЯ: Как-то решили устроить маленький праздник у Юрия Карловича Олеши. Тогда это называлось «междусобойчик». Была сделана соответствующая перестановка в комнатах, чтобы можно было сидеть за столом, танцевать под патефон (тогда это было очень модно), в общем — веселиться. Патефон был маленький, чуть побольше консервной коробки. Помню, какие смешные надписи сделал И.А. в столовой: «Пищеприемник». В комнате, где танцевали: «Здесь танцуют, станцуй и ты!» И еще я помню, что И.А., когда выпивал немного вина или водки, делался необыкновенно добрым и страшно смешливым. Олеша же, наоборот, страшно во хмелю мрачнел и сквернословил. Он сидел на верху матраца, поставленного у стены, как демон на скале, и презирал и ругал весь мир. Это было уже, конечно, после ужина. И.А. (тоже подвыпивший) смотрел на него и повторял одно и то же: «Юра, станцюемо хфокстрот!», и заливался счастливым детским смехом. Кажется, вечеринка закончилась тем, что хозяин-демон разогнал всех гостей, сопровождая их соответствующими напутствиями.

КАТАЕВ: Но не думайте, что я описываю <...> бездельников, оторванных от жизни... Это совсем не так. Мы много и усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих-железнодорожников.

По странному стечению обстоятельств в «Гудке» собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями, авторами таких произведений, как *Белая гвардия*, *Дни Турбиных*, *Три толстяка*, *Зависть*, *Двенадцать стульев*, *Роковые яйца*, *Дьяволиада*, *Растратчики*, *Мастер и Маргарита* и много, много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета на проделанную работу.

Алмазный мой венец

ШТИХ: ...В комнате четвертой полосы собирался весь литературный цвет старого «Гудка». Кроме Ильфа, Петрова и Олеши, здесь были завсегдатаями Катаев, Булгаков, Эрлих, Славин, Козачинский. И — боже ты мой! — как распалялись страсти и с каким «охватом» — от Марселя Пруста до Зощенко и еще дальше — дебатировались самые пестрые явления литературы!

В старом «Гудке»

Подводя итоги: Ильф начал свой путь в «Гудке», где вместе с ним работали журналисты, ставшие впоследствии известными писателями. Ошеломляющий список имен прославил эту совершенно «нелитературную» газету. Однако дело в том, что почти все «гудковцы» прибыли в Москву из провинции, главным образом — из Одессы. Один за другим приезжали они в столицу, потому что в когда-то роскошной Одессе, городе европейского (не то французского, не то итальянского толка), им не было применения. О цели этой широкой «интервенции» открыто говорит Евгений Петров: «Я представлял себе богатство, славу и всё прочее. Во мне проснулся бальзаковский молодой человек — завоеватель» (*Мой друг Ильф*).

Воспоминания о гудковском периоде, как правило, представляют газетную работу неким искрометным праздником. Разумеется, сорок лет, отделивших мемуаристов от тех дней, сделали прошлое ностальгически-прекрасным. Однако в дневнике Булгакова написано: «Я каждый день ухожу на службу в этот свой "Гудок" и убиваю в нем безнадежно свой день» (3 сентября 1923). И в его автобиографии: «В Москве долго мучился, чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания... Одно могу сказать, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой» (М.А. Булгаков. *Автобиография.* В кн.: *Советские писатели. Автобиографии,* т. 3. М., 1966, с. 85). И в письме Ильфа: «У меня теперь очень много в редакции работы... Ночью я буду работать. Работать надо очень много, мне очень печально, когда надо начинать. <...> Но работать все-таки надо. И я встаю с постели, <...> и исписываю кучу бумаги всякими словами о транспорте на федерации, о злых инженерах и несчастных рабочих» (4 июля 1923). Они работали бок о бок.

Но ничего не поделаешь... Работа — она и есть работа. Кто не работает, тот... известно что. Иногда нет денег даже на марку для спешного письма, штаны «распались», покупка башмаков — проблема.

ПРОБА ПЕРА

Теперь более или менее ясно, где, как и с кем работал Ильф после переезда в Москву. Но я намеренно говорю «работал» — не в смысле «писал», а в смысле «служил». Как же протекал его личный творческий процесс? Поскольку эта сторона его жизни достаточно подробно освещена литературоведами, я ограничусь общим обзором.

ОЛЕША: Представлял ли он свое будущее как будущее писателя? Уже в те [одесские] годы он обнаружил уже острую наблюдательность. Обо всем он говорил метко. Порой нежнейшая лирика и грусть звучали в его словах. Он писал мало. Он как бы и не стремился к большой писательской работе. О том или ином явлении, обстоятельстве, об отдельных

личностях он высказывался с бесподобным остроумием, и получалось впечатление, что большого ума уже и не нужно, что этой игрой вполне удовлетворяется его потребность в художественной деятельности. Он чрезмерно строго судил о себе. Произведения искусства, которые он уже успел оценить и полюбить, были так высоки, что собственные возможности представлялись ему шуточными.

Об Ильфе

Из московских писем Ильфа к Марусе Тарасенко:

Литературная работа в газете «Гудок» дает мне столько денег, что их достаточно для хорошей жизни в лучшем из городов. Это не важно. Я начал работать. Это тоже не важно. Нет, это важно. Когда я окончу тот рассказ, что пишу сейчас, то позволю себе послать его Вам...

Там написано о многом:

О коте, которого звали Франклин и глаза которого были набиты зелеными камнями, о комнате, которая ночью кажется полем сражения, о весне, об облавах, но больше всего о любви и больше всего о смерти.

До этого я написал их три.

Они называются

— *Мак-Донах* — приключения шотландца в Москве.

— *Гранитная станция* — это жизнь мальчика, который решил стрелять из драгоценнейшего в мире пулемета.

— *18-100* — это о моем бегстве из Одессы.

Я работаю и знаю, что буду работать. Это важно.

29 марта 1923

У меня все, как прежде. Работаю в газете. Для себя еще ничего не делаю. Это разгильдяйство, и я очень собой недоволен и потому мрачен до безобразия. Надо это прекратить.

30 мая 1923

Я написал рассказ *Повелитель евреев.* <...> Вот рассказ, который вышел рассказом о нас. О тебе и обо мне.

4 июня 1923

Об этом японце я написал для тебя рассказ.

8 июня 1923

Речь идет о «колониальном рассказе» *Лакированный бездельник.*

Жаль, что обещанное не сохранилось. Гранитная станция и «накрытый гимнастеркой пулемет» упоминаются в рассказе *Рыболов стеклянного батальона*, но это совсем не тот рассказ. Без ильфовских писем никто не узнал бы, что *Повелитель евреев* и *Лакированный бездельник* были написаны специально для любимой девушки. Ранее существовало спорное предположение об одесском происхождении первого из них (напечатанного в 1992 году), а о втором рассказе не знал никто до 1997 года (оба рукописных оригинала хранятся в семейном архиве).

Но что же все-таки он писал, помимо ежедневных заметок для четвертой полосы? С чем он выступал в «Гудке» и его «дочерних изданиях» — «Железнодорожнике», «Смехаче» и других журналах и газетах? Начиная с 1923 года один за другим открываются сатирические журналы, где публикуются Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Михаил Кольцов, печатают сатирические стихи Олеша и Катаев, появляются рассказы Михаила Зощенко. Ильф начинает давать материалы и этим журналам.

Конечно, он не мог удовлетвориться воспоминаниями о своих «демонстративных выступлениях». Его ранние рассказы (1923–1924) говорят о том, что, выныривая из газетной спешки, он предается экспериментам: обращается к героическим, драматическим и даже мелодраматическим темам, придерживаясь стилистики некоего «словесного экспрессионизма» («Солнце в беспамятстве катилось к закату», «Дома шарахнулись, речка бросилась под ноги, поезд застонал и удалился», «Поезд валился к югу. От паровоза звездным пламенем летел дым» и т. д.). Он еще не знает, что это не его жанр.

В основу ранних рассказов и очерков (*Куча «локшей»*, *Каска и сковорода*, *Рыболов стеклянного батальона*, *Стеклянная*

рота, Страна, в которой не было Октября, «Маленький негодяй», Октябрь платит) легли одесские реминисценции — автобиографические воспоминания о бурном трехлетии 1917–1920 годов. Одесса навсегда оставила след в творчестве Ильфа: революция, интервенция, оккупация, «14 смен властей», голод, блокада. Он и в Москве остается верным родной стихии. Многие особенности его ранней писательской манеры, не говоря о самой структуре речи, подсказаны жизнью южнорусского портового города.

Трудно сказать, для «Гудка» ли предназначались такие рассказы, как *Галифе Фени-Локш, Антон-Половина-на Половину, Железная дорога, Зубной гармидер* и другие. Эти миниатюры оказались настолько «одесскими» (или имитирующими одесский «лексический ряд»), что о публикации не могло быть и речи. «То, что он писал, было так нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей», — вспоминает Лев Славин. Не исключено, что Ильф все-таки надеялся опубликовать их: рассказ *Антон Половина-на-Половину* существует в трех очень близких вариантах. Фельетоны написаны, как мог бы сказать Бабель, «на живописном одесском языке»: «Наконец, приходит еще один зубной жлоб, и тут начинается настоящий гармидер. Вам держуть, вам светють, вам дерють, — вам дерють, и вы кричите, и врач мучается, а парень с пломбой пыхтит и держится за стул, как утопленник». Согласитесь, это нисколько не напоминает изыски человека, который, по словам Катаева, был «до кончиков ногтей продуктом западной, главным образом французской культуры, ее новейшего искусства...». Аполлинером и «красными кентаврами, как бы написанными Матиссом», здесь и не пахнет.

Чуть позже Ильф использует сюжеты своих первых рассказов, заменив одесские реалии московскими с «железнодорожным» оттенком (*Антон Половина-на-Половину* и — *Многие частные люди и пассажиры...*; *Зубной гармидер* — и *Снег на голову*).

Псевдоним Ильф, изобретенный в Одессе, в ранние годы появляется редко: под рассказами и фельетонами стоят подписи: И.А. Пселдонимов, И. Фальберг, И.Ф., Антон Немаловажный, А. Туземцов и просто И.

Как «литправщик» и журналист Ильф трудолюбив и исполнителен. В 1924 году разъездного корреспондента Ильфа отправляют в Нижний Новогород, и в «Гудке» печатается цикл его очерков под названием *Ярмарка в Нижнем*. В 1925 году «ре-

дакция послала Ильфа в Среднюю Азию, — писал Петров. — Это было его первое большое путешествие. Он потом часто и с удовольствием о нем вспоминал». Из Средней Азии он привозит серию репортажей: *Перегон Москва—Азия, Глиняный рай, Азия без покрывала* и *Энвер-басмач* («Ветхий завет плюс советская власть и минус электрификация»). По словам Петрова, «Ильф был очень строг и даже беспощаден в своих литературных вкусах. От писателя он требовал точности, умения собрать и заготовить впрок наблюдения, неожиданные словесные обороты, термины». Вот почему впечатления от его поездки по Волге на пароходе с тиражной комиссией (1925) находят место в романе *Двенадцать стульев* (1928).

Еще раз процитирую Катаева: «Мы еще не созрели для славы. Мы еще были бутоны. Аполлон еще не требовал нас к священной жертве. Мы только еще разминали пластический материал своих будущих сочинений».

Поначалу газетные очерки-задания Ильфа были чисто репортерскими, мало выражающими его индивидуальность (*Механический конторщик, Пальмы в Донбассе, Дело профессора Мошина, Политграмота плюс корова, Хлебный бес*). Однако беглые зарисовки московской жизни 1923–1925 годов, разбросанные по страницам газет и журналов и построенные на конкретном материале (*Иверские мальчики, Москва, Страстной бульвар, 7 ноября, Беспризорные, Ферт с товарищами, На Ходынке стало тесно* и др.), говорят о его наблюдательности. Перед читателем Москва 1923–1925 годов: дети-беспризорники, старорежимные дамы, биржевые дельцы, нэпманы, торговцы-частники, громко призывающие купить «вечную иглу для примуса». «Зачем мне вечная игла? — недоумевает Ильф. — Я не собираюсь жить вечно. А если бы даже и собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса? Какая безрадостная перспектива». Отлично, со вкусом написан фельетон *Принцметалл*.

По сравнению с Евгением Петровым, уже выпустившим в двадцатые годы несколько юмористических сборников, Ильф писал мало. Он любил ходить, смотреть. Да, он был «зевакой», наблюдателем, но наблюдателем не простым. «Он делал выводы из того, что видел, — утверждал Олеша, — он формулировал, объяснял. Каждая формулировка была пронизана чувством».

Заказные фельетоны, с которыми он выступал в периодике, часто не выходят за границы традиционных тем мелкой юмо-

ристики (*Катя-Китти-Кет, А все-таки он для граждан, Вечер в милиции, Крахмальный гений, Странствующий приказчик* и др.), однако им нельзя отказать в простоте и живости. Изящно, иронично построен очерк *Дружба с автомобилем*. Ильфу не чужды политические темы (*Происшествие в «Драной собаке», Германская дрейфусиада, Белые комики, Муссолини — герой?*). Он становится подлинным мастером в трудном жанре короткого газетного фельетона. Его сила — в зоркости наблюдений, остроте оценок.

Порой его стилистика напоминает манеру Зощенко («Боюсь, что вы, моя симпатичная, влопались», «Я, — говорит туловище, — не допущаю, чтоб крали примуса́») или Булгакова («...Блондин адски захохотал, подпрыгнул, ударился об пол и превратился в дым» и проч.). Эта стилистика «носилась в воздухе» начала двадцатых годов.

Постепенно исчезает прямая связь между литературными достоинствами произведений Ильфа и его работой в органе ЦК Союза рабочих железнодорожного транспорта.

В 1925–1926 годах особым его вниманием пользуется кино. Около полутора десятков его кинофельетонов напечатано в «Гудке» и журналах «Советский экран» и «Кино». «Кинематограф Ильф любил не меньше, чем книгу, радио или разговоры по телефону, за то что экран сообщал много такого, что не всегда могла рассказать книга», — вспоминал Сергей Бондарин. «Целый мир открывало нам кино», — подтверждал Олеша.

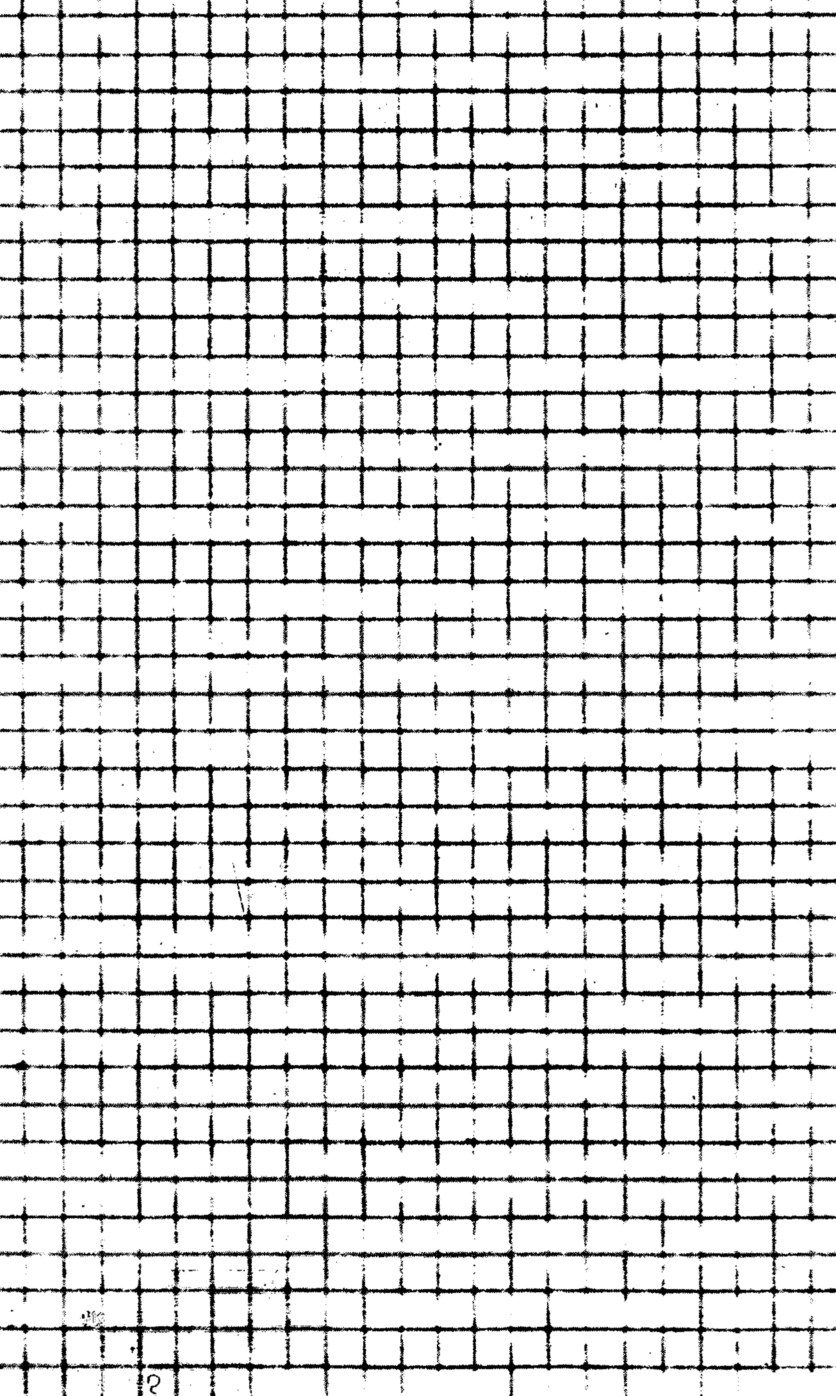
В разгар всеобщего увлечения кинематографом весело и добродушно описывал Ильф повседневную работу московских киностудий, курьезы съемок, пробы актеров (*Драма в нагретой воде, Тигрицы и вампиры, Улица на просмотре, Альбомная красавица*), но, когда доходило до разбора слезливой заграничной «фильмы» или советской кинокартины «неизмеримо-идеологической глубины», поставленной с «балкано-румынским шиком», он не мог удержаться от язвительной иронии (*Компот из Мери, Мадридский уезд* и др.).

Сатирические фельетоны Ильфа высмеивают конъюнктурные приемы того времени: превращение шекспировских героев в «красных Ромео и Джульетту» (*Ромео-Иваны*), внедрение игры «Мировая революция», сочинение «красных романсов» (*Красные романсы*), издание «красных святцев» с «созвучными эпохе» именами (*Бебелина с Лассалиной*) и пр.

Гудковский период заложил основу ильфовского мастерства (здесь место для цитаты: «Браво, Киса, вот что значит шко-

ла!»). Это была проба сил. Коллекционирование мыслей, наблюдений, сюжетов, эпитетов. Способность увидеть мир с необычной стороны. Непримиримость к пошлости. Талант добиваться эффекта смешного.

Литературный стиль Ильфа (я назвала бы его элегантным) полностью складывается к 1928 году, когда московский говор его коротких произведений, сменивший «вольный и богатый язык темпераментного юга», становится прославленным языком *Двенадцати стульев* и *Золотого теленка*.



ПИСЬМА О ЛЮБВИ

1923–1927

Письма. Пачки писем. Листки, листочки, исписанные обороты бланков, квитанций. Это письма Ильфа к Марусе Тарасенко, будущей жене. Это ее письма к нему. В них, как пишет Ильф, «очень много любви и очень много нежности».

Предвижу вопросы. Откуда взялись эти письма? Почему о них никто не знал? Почему они являются на свет Божий только сейчас, через восемьдесят лет?

Отвечаю. Я тоже не знала, что они существуют. Да, я знала отцовские письма 1930-х годов — из Европы, из Америки, они неоднократно публиковались, неоднократно цитировались. Да, я видела аккуратно перевязанные ленточками одесские письма мамы. На почтовых штемпелях стояли даты 1923, 1924. Но, поверьте, мне было неловко читать их. О ранних письмах отца я не имела представления. Мама никогда не говорила мне о них. Они принадлежали ей и только ей. Никто не читал их, кроме нее. Если бы ей предложили публикацию, она бы ужаснулась. Я нашла его письма недавно, почти через четверть века после ее кончины; не стану описывать, как именно. Скажу только, что случайно.

Мне кажется, что, после первого полного издания *Записных книжек* Ильфа, после публикации книги *Евгений Петров. Мой друг Ильф*, настал логически оправданный момент подойти к нему ближе, понять, что он был за человек, этот «ранний Ильф». Не блестящий стилист, не отчаянный остряк, не смертоносный сатирик, а просто — *человек.*

Какое счастье, что переписка моих будущих родителей пролежала в полной безвестности многие десятки лет! Страшно подумать, во что ее могли бы превратить холодные руки литературоведов и архивистов! Они вырвали бы из нее факты, сделали справочным материалом, прострелили бы отточиями, отсекли нежные слова.

Как известно, письма — дело чрезвычайно интимное, личное. Но постепенно, увлекаемые потоком времени, они становятся литературой. Наверное, восьмидесяти лет достаточно?

А письма эти — живые. Они хранят свежесть и непосредственность, которые даются только любовью. Поэтому я не собираюсь задерживаться на их литературных достоинствах, выискивать юмористические штрихи, меткие сравнения и метафоры с гиперболами. Они там есть, но не в них суть. Письма наполнены любовью.

Возможно, высокие чувства наших лирических героев могла взрастить только провинция. На фоне бурной жизни начала двадцатых годов их переписка поразительно целомудренна. «Я поцелую тебя тихо и скромно, и мы будем вместе», — надеется он.

Их письма неразрывно связаны: встречаются, сталкиваются, переплетаются, спрашивают, отвечают. Он пишет: «Если не сказать — дорогая, то что же мне сказать? Я скажу, как всегда — дорогая, милая, нежная», и она откликается в унисон: «Меня попросят рассказать о Вас. Я скажу — нежный, милый, дорогой...» Наши герои — один на один в шумном мире, которого не хотят замечать. Они действительно были созданы друг для друга.

ОНА живет в Одессе, словно на необитаемом острове. Ее письма — настоящие белые стихи. Поток сознания. Невозможно понять, чем она занята, где бывает, с кем видится. Она может лишь любить, страдать, тревожиться, ревновать. Выдумывать всякие сложности. То ей кажется, что он ее не любит, то ей кажется, что она его не любит. То она рада и счастлива, то в безмерном отчаянии. В ней нет женского кокетства: «Когда я сажусь писать Вам, я крашу губы, чтобы стать красивее, как будто бы Вы увидите». И она пишет, пишет, ночи напролет.

Меня поразили не ее письма, а его.

(Не знаю, как его называть. Отец? Но тогда он не был моим отцом. Ильф? Нет, пусть будет просто ОН.)

ОН старше ее на семь лет — ему двадцать пять, двадцать шесть. Если припомнить его письма одесским приятельницам, он способен выражать мысли изысканно и оригинально. Любовь лишает его письма литературной экстравагантности, превращает в подростка, который думает лишь о предмете своего обожания: «Есть желание чем-нибудь для тебя пожертвовать, чтобы ты знала, что мне нужна только ты. Это детское желание, и это мое желание». Он не следит за стилем, может написать: «Мне болит голова», или «Две недели обратно...» (это, конечно, «одессизмы», которых в ином случае он не допустил бы). Почти не упоминает о делах, о работе, о людях. Лишь в единственном письме он касается своей прошлой жиз-

ни. (Это письмо много даст его биографам!) Ему не хочется работать, ему хочется валяться на кровати и перечитывать письма, написанные «высоким нежным почерком» на узких длинных листках. Вот почему, к удивлению Олеши, он «не писал ничего», а «лежал на тахте и думал о чем-то, вертя жесткий завиток волос на лбу». Честолюбивый Олеша не мог представить, что сосед по комнате думает о своей «нежной девочке», не знает, как ее успокоить, какие слова сказать, чтобы она перестала терзаться. Его письма могут быть увенчаны девизом: «Только ты».

Всё, что он делает, — ради нее. «Что мне Москва? — пишет он. — Это ничего, это только чтобы заслужить тебя. Только». Задумывает рассказ — ради того, чтобы послать ей. Идет в кинематограф, потому что эту «фильму» он видел в Одессе в тот вечер, когда понял, что любит ее. Чтобы развлечь ее, он пишет рассказы *Повелитель евреев* и *Лакированный бездельник*. А что сказать о такой приписке: «Кланяйся Генриетте, она мне очень нравится, потому что ты ее любишь. Но если ты ее уже не любишь, не кланяйся»? Он шлет ей подарки — фигурку восточного божка, серебряный филигранный крест, книги, кусок зеленой ленты. Спешные письма уходят из Москвы в Одессу почти ежедневно. Он посылает телеграммы. Носит в кармане ее фотографию. Словом, ведет себя, как классический влюбленный.

Сомнения в ответном чувстве причиняют обоим огорчения и боль. Но юное создание ранит больнее. Когда я представляю, как он, начитавшись ужасных, несправедливых упреков, не сомкнув ночью глаз, утром торопится в редакцию править рабкоровские письма, мне бесконечно жаль его. Нежная красавица с каким-то даже наслаждением уничтожает то его, то себя. Он называет ее: «Достоевчик ты мой». Взрослый человек, он пытается объяснить ей: «Ты была горда, и я был горд, всё это встречается в большом количестве у Гамсуна и нисколько не нужно в жизни, не нужно тебе и не нужно мне». Он добр и терпелив с ней, как с ребенком: «...Вся жизнь для тебя — таинственное пастбище с рогатыми коровами, которые могут забодать рогами. А коровы очень мирные и вовсе не бодаются. По зеленой траве можно идти совершенно спокойно. Маруся, по зеленой траве можно ходить спокойно. Ты меня поняла? Не усложнять, ничего не надо усложнять». Но она усложняет.

Девять месяцев беспрерывного напряжения вконец измучили обоих. Конечно, он мечтает, чтобы она приехала к нему в Москву, но жить им негде. «Надо ждать, — увещевает он ее. — Мы никогда не хотели ждать. Хотели всего сразу. И любви, и ссор, и примирений, и встречи, и разлуки. А всего сразу нельзя». Его письма бес-

предельно трогательны: «Маруся, милая, нежная Маруся, мы увидимся и всё вспомним. Мы будем сидеть вместе, и я в темноте услышу, как ты дышишь», или «Подумать только, что было время, когда я слышал, как билось твое маленькое дорогое сердце».

Наконец, буквально силой он вырывает ее из Одессы, отправляет в Петроград — учиться живописи, и в сентябре 1923 года она оказывается в квартире на Васильевском острове, под присмотром давно знакомого ей брата Ильфа — Миши Рыжего. Она в полном восторге от города и своей новой жизни. Затем происходит нелепейшая ссора с Мишей. Нужно сказать, что, подобно остальным братьям, он был весьма ядовитым субъектом. Не зря же в ильфовской записной книжке сказано: «Человек хороший и приятный, но так похож лицом на брата, что поминутно ждешь от него какой-то гадости».

«Семейная драма» заканчивается благополучно: в начале января 1924 года она едет к родным в Одессу на Рождество (по старому стилю), а в феврале, на обратном пути, высаживается в Москве и поселяется в ильфовском «пенале» (с матрацем и примусом!) в Чернышевском переулке на Сретенке. 21 апреля 1924 года они сочетаются браком, но жить им по-прежнему негде, и через несколько дней она возвращается в родной город. Переписка продолжается.

Она продолжалась всю жизнь.

М.Н. ИЛЬФ

НЕЖНАЯ ГОРЕЧЬ ВОСПОМИНАНИЙ...

И мы курили в темноте. Указательным пальцем он трогал папиросу — много ли еще осталось. Пепел и огонь в темноте были серыми. И хорошая литература это тоже, как музыка, под нее, как под музыку, вспоминаешь радостное и печальное. И опять то же чувство радости, какое оно было — оно будет.

Значит, это еще будет. Мы будем ночью сидеть в темной комнате, на диване в нише от дверей. На море на пароходе будут отбивать склянки, и в тишине ночи звук будет близко. Под окном большое дерево, освещенное электрическим фонарем, как гигантский коралл на морском дне. Я буду очень молодая, очень худая, и мы будем вместе курить одну папиросу, и он будет трогать пальцем горящий табак — не пришел ли огонь к картонному мундштуку.

Сколько лет? 1923 — значит, почти как египетская пирамида, так далеко. Одна слеза выкатилась, жалкая, горячая, потому что от хорошей литературы плачешь, как от музыки.

Сколько папирос мы выкурили вместе. Он говорил, как хорошо, если б папиросу можно было курить час, одну — час. Мы очень любили курить вместе, ночью, целоваться и курить. Когда мы встретились на улице, он, разговаривая, вдруг взял меня за мизинец. Я была молодая девочка — мне было семнадцать лет.

Горечь. Слезы. Никогда ни с кем так не было, а другое ничто не похоже.

[1960-е]

ОЧЕНЬ МНОГО ЛЮБВИ И ОЧЕНЬ МНОГО НЕЖНОСТИ...

7 января 1923 года Ильф уехал из Одессы. Переписка немедленно приняла грандиозные размеры. Приятно знать, что даже в то суровое время спешное письмо из Москвы в Одессу шло всего трое суток, а обычное — пять.

Эпиграфом к переписке может стать «Второе посвящение» из «иронической поэмы» Ильфа, будто специально для нее предназначенное:

В ночь которая предшествовала
В день который
пришел позже
Во все дни и во все ночи
Я пребываю
с тобой
и обращен к тебе
Что я могу сказать больше?
Знайте все
Шатаясь и дрожа
Я иду
дорогой очумелых и
путем потрясенных

1923

Петербург, января 18-ый день

Мой друг, от Казатина и до Твери страна наша лежит в снегу. И от Вапнярки и до Калуги штрафы сыплются и брызгают. Поля поворачиваются, тяжелой рукой показана дорога, и поезд взлетает к мосту. Электрические лампы летят к черту — это день. Деревня мчится рядом — это день. Даешь границу — Даешь Москву. Три дня я рыскал по Москве вроде очумелой и потерянной колесницы. Мой друг, этот феерический город гудит и бушует. Всё здесь преувеличено — слишком много всего. Но Кремль я поставлю вровне с катком для конькобежцев на Патриарших прудах, и трамвай, что сыплет с проводов зеленый свет, делает лучше Китайскую стену. Людские толпы и Кремль, дымящий утром изо всех труб и похожий на гигантский завод, — вот Москва.

Теперь я в Петербурге, который оказался лучше того, что я нем воображал и который вообще находится за пределами всякого воображения. Я шатаюсь по нем с Мишей, который тоже за пределом воображения. Посреди Адмиралтейства и Правительствующего Сената — Исаакий извергает тьму, а ширина Невы — необычайна. Мосты по вечерам сверкают, как пучок бриллиантов. Снег лежит тонкий, небо серое и голубое. Что мне сказать больше?

Конечно, вспоминаю о Вас и Вашей манере говорить, о быстрой обиде и доброте, которая всегда мне неожиданна. Вы знаете меня и всё у меня. Через некоторое время мы с Мишей едем в Одессу на

недолгий срок. Это значит, что я увижу Вас, и это значит более всего.

Иля

Москва, февраль 28-ой день [1923]

Милая моя девочка, разве Вы не знаете, что вся огромная Москва и вся ее тысяча площадей и башен — меньше Вас. Всё это и всё остальное — меньше Вас. Я выражаюсь неверно, по отношению к Вам, как я ни выражаюсь, мне всё кажется неверным. Лучшее — это приехать, придти к Вам, ничего не говорить, а долго поцеловать в губы, Ваши милые, прохладные и теплые губы.

Моя девочка, я не устану повторять и не устаю это делать — всё об Вас, о горькой страсти, с какой я Вас люблю. Мне сейчас нельзя писать много. Против меня сидит какое-то барахло, которое много говорит и много мешает. Почему Вы сидите дома и потом сидите ли Вы или лежите? Там, в Вашем письме, есть слово, которого я не понял. Эльхау. Что это значит? Я напишу Вам другое письмо, когда в моей комнате никого не будет. Это я пишу потому, что только что прочел Ваше. Дорогой мой друг, у меня уже три Ваших письма, одно, которое я увез из Одессы, и два, полученных в Москве*.

Мне очень мешают. Эти свиньи нисколько обо мне не думают.

Пишите мне на новый адрес — Чистые пруды — Мыльников пер., № 4, кв. 2б**.

Ваш Иля

Поклонитесь от меня Тоне***. Пусть меня Тоня не ругает. Пишите, моя девочка.

Иля

*Эти письма не сохранились.

**Адрес Катаева, который пишет: «В Харитоньевский переулок выходило еще несколько других переулков, в одном из которых — Мыльниковом — поселился я, приехав

в Москву, а следом за мною через мою комнату прошли почти все мои друзья, ринувшиеся с юга, едва только кончилась гражданская война, на завоевание Москвы: ключик [Олеша], брат [Евгений Петров] и друг [Ильф], птицелов [Багрицкий], наследник [Славин] и прочие» (*Алмазный мой венец*).

Ильф ошибся: квартира не 2б, а 2а.

***Тоня Трепке.

Это письмо, как и некоторые другие, адресовано «Марусе гражданке Тарасенко». Обращение «гражданка», как писал Катаев, «вполне соответствовало духу времени, так как напоминало *Боги жаждут* Анатоля Франса, книгу, которая вместе с *Девяносто третьим годом* Гюго — за неимением советских революционных романов — была нашей настольной книгой, откуда мы черпали всю революционную романтику, эстетику и терминологию» (*Алмазный мой венец*).

Москва, март 29-ый день [1923]

Маруся, я ждал ответа на мое письмо, но не получил его. Здесь весна в расцвете. Темно-серая, влажная и прочая. Это не важно. Почему Вы мне не пишете. Или Вы забыли мой адрес. Он прежний. Я всегда с упорством пишу его на конверте. Я не помню, писал ли Вам что-либо о судьбе, которая меня постигла. На тот случай, если не писал, — делаю это.

Литературная работа в газете «Гудок» дает мне столько денег, что их достаточно для хорошей жизни в лучшем из городов. Это не важно. Я начал работать. Это тоже не важно. Нет, это важно. Когда я окончу тот рассказ, что пишу сейчас, то позволю себе послать его Вам, если получу от Вас разрешение.

Там написано о многом:

О коте, которого звали Франклин и глаза которого были набиты зелеными камнями, о комнате, которая ночью кажется полем сражения, о весне, об облавах, но больше всего о любви и больше всего о смерти.

До этого я написал их три.

8 – 4720

Они называются

— *Мак-Донах* — приключения шотландца в Москве.

— *Гранитная станция* — это жизнь мальчика, который решил стрелять из драгоценнейшего в мире пулемета.

— *18-100* — это о моем бегстве из Одессы.

Я работаю и знаю, что буду работать. Это важно. Еще важно то, что Вы не пишете. Что же мне сказать, чтобы Вас разжалобить. Сказать Вам — Маруся, мальчик. Но я не знаю, как Вы это поймете.

Разница между Москвой и Одессой разительна. Я знаю, что Вам скучно. Я не скрою от Вас того, что много думаю о Вас.

Значит, Вы идете по Ришельевской, потом по Дерибасовской, потом по Преображенской, мимо лавчонки на углу. А папиросы какие — всё те же? Как всё это странно. Так трудно было в Одессе. Разве не погибал я каждый раз и семь раз на неделю. А Вы остались? А я здесь, в изумительной Москве? Разве это было, чтобы я трогал Вашу большую милую голову? Зачем Вы мне не пишете?

Только раз, Вы пишете, Вам захотелось меня увидеть? Почему же мне хотелось этого больше?

Я долго ждал Вашего письма, но не получил его. Я не знаю, почему не получил. Должен был получить, но не получил. Может быть, оно пропало в дороге. Но вероятней, что Вы не писали.

Если это для Вас только любезность, которой нельзя не сделать, то не пишите мне больше.

А если бы это было иначе, то чем же я могу объяснить Ваше молчание.

Я говорю себе — Не может быть. А другим разом — Возможно и это. В Одессе тоже весна, в это время года, как и во все другие, люди забывчивы.

Если только из любезности — не пишите.

Если только из жалости — не пишите.

Вы не можете этого делать.

Я вчера видел картину «Интолеранс»*. Эту фильму я видел в Одессе в тот вечер, когда узнал, что люблю Вас. В ней 13 частей. Когда персидский царь мчался на колеснице, я вспоминал Вас. Когда резались, осаждали города, разрушали башни, любили и ненавидели, я вспоминал Вас. Потому что я думал только о Вас там, в Одессе, когда глядел на эту же картину.

На углу Дерибасовской и Преображенской я расстался с Вами, чтобы идти на эту картину. Это был тот тревожный вечер, когда я первый раз дотронулся до Вашей руки. Можно ли так любить вообще, как я это делаю? Зачем я это делаю, если в Одессе весна, а мне не пишут?

Я не написал бы, если бы не был в кинематографе. Я не хотел писать. Но вот я пишу.

Ответьте только по одной причине — если любите меня.

Из-за других причин — не надо.

Иля

*Американский фильм «Нетерпимость» (*Intolerance*), поставленный Дэвидом Гриффитом (1916) на богатом историко-мифологическом материале: события разворачиваются в древнем Вавилоне, Иудее, средневековой Франции и Америке 1910-х годов.

Ответ на это письмо:

Одесса. 11-го апреля [1923]

Видите, у него золотые серьги блестят на бронзовой шее и черная борода ужасна — это моя любовь к вам.

Видите, я сижу на каменной глыбе, позади ржавая, рыжая решетка — это буду любить вас, много.

Слышите, как каркают вороны, — это буду любить вас долго.

Чувствуете, как тихо греет милое, теплое солнце, — это буду любить вас нежно.

Мне хочется каменно и сурово говорить о моей любви. К вам.

Ну да, и мне совсем не стыдно.

Мне хочется вас ненавидеть, так это всё.

Вы заставили писать о моей любви — я буду помнить.

Мне нельзя писать о ней.

Но вот я пишу.

Отгоняю птиц больших и черных, что прилетают выклевать мой мозг.

И вот я пишу о своей любви.

Разве можно писать об этом.

Я не должна делать этого, когда вы в большом, шумном городе, где столько новых людей и где можно так быстро забыть.

Но я знаю и делаю так.

У меня нет жалости, у меня нет любезности — у меня есть ненависть.

Вы должны это понять.

Мне хочется сделать вам больно, больно, и тогда я буду плакать кривыми серебряными слезами и любить еще больше.

Бог мой, разве можно мне так писать.

Разве я пишу.

Мне совсем нет радости.

Мой нежный, большой мальчик Иля.

Вы напишете мне много хороших слов, и они будут у меня и во мне.

Бог мой, просить разрешения.

Вы пришлете его, свой рассказ.

Вы, Иля, работаете.

Мне очень хорошо, и я рада.

Ведь я так хочу, чтоб вы были хорошим.

Только не делайте мне плохо и не заставляйте писать глупых и диких слов.

Но, Иля, слушайте, что я сейчас буду говорить: когда вас совсем поглотит этот прекрасный город и совсем забудете (а это так не трудно, когда столько нового и столь-

ко других людей) большеголовую Марусю в маленьком и противном городе — вы напишете сейчас же.

Нет, забыть так сразу нельзя, а постепенно — так вот, когда начнете, то напишите. Если это так, то как мне стыдно, что я пишу.

Так бояться, что всё это не так, и так бояться вашей и моей любви. И главное — не верить. Вы должны понять, как я вам пишу. А если я боюсь, что не поймете, значит, не совсем с вами я.

Я знаю одно, что нельзя так писать, — но мне уж все равно.

Пишу тревожно и задыхаясь, останавливаясь после каждого слова, как делаю вдох.

Иля, вы будете мне писать.

Иля, вы должны мне писать.

Иначе нельзя, чтоб было.

Но если не хотите, то, что ж, не надо.

Я хочу одного — чтоб вы не отнеслись плохо к тому, что здесь написано.

Понимаете, родной?

Ведь нельзя же писать таких глупых и диких слов.

Нет, не поймите, а иначе, как — я не знаю.

Вот я посылаю вам письмо, что получила сегодня, и вот посылаю его.

Оно должно быть у вас, потому что я писала его вам.

А я одна, совсем одна.

Вы один, и всё.

Что еще больше?

Мне хочется писать много и долго.

Мне хочется говорить вам хорошие, хорошие слова.

Бог мой, что еще.

Я ничего не знаю, ничего не понимаю.

И главное — не верю вам, когда вы так далеко.

Вы не хотели мне писать, когда у меня ничего нет, кроме них, писем.

Вы вспомнили меня, пойдя в кинематограф!

Ну, конечно!

Господи, зачем я об этом пишу.

Писать просто так, так тяжело и больно, что не должен писать, про что хочешь.

Потому я не должна писать того, что хочу.

И глав...

Нет, ничего нет.

Есть весна, и если б вы знали, Иля, как я ее люблю и вас тоже, больше.

Бог мой, как тяжело.

Иля, напишите мне много, много, только если хотите.

Иначе не надо.

Много о вашей работе и обо всем.

Господи, уже довольно писать.

Мне так не хочется, чтоб вы читали это днем, когда вокруг голоса, шум, много людей, если не в комнатах, так там, и главное — много свету.

Но я ничего не могу сделать.

Если хотите, то —

ваша Маруся.

Большего я не могу написать.

Иля мой хороший.

Вы поймете?

Довольно. Зачем только посылаю всё это.

Но вы хорошо отнесетесь? Да?

Из письма Маруси приятельнице, 16 апреля 1923: «Хочу в Москву и прекрасный Петроград. В Москве — Иля, в Петрограде — его брат».

Москва
Апрель 17 [1923]

Думали ли Вы о том, что делали, когда посылали мне то письмо, которое почта вернула Вам обратно? Думали ли Вы хотя бы немного о том, кому это письмо было послано. От начала и до конца это оскорб-

ление. Я не ответил бы на это письмо. Я слишком горд и не скрываю этого, чтобы находить прелесть в дурном юморе. А Вы? Вы не написали бы мне, не получив от меня письма. Что же. Значит, это был бы конец всему? Какое счастье для меня, что я получил это письмо вместе с другим.

Моя маленькая, что Вы делаете. Ну, больно, ну, нехорошо, почему же не сказать этого мне? Разве я понял бы Вас плохо? Вы мне дороже всего, это я знаю на запас. Чего же Вы боитесь? Я вспоминаю, опять и опять, ключи, которые полетели на пол, и темноту того вечера, в который я первый раз был перед Вами виноват. Вы помните? Это было о письмах, которых мне не надо было читать. Звон ключей и Вы, которую я не видел в темноте, и Ваш голос, который сказал — Иля — так, что этого не забыть никогда — всё вот это было. Если можно плакать от любви, то почему мне не сделать это сейчас. Как хорошо, что я не получил этого ужасного письма. Моя девочка, во сне Вы целуете меня в губы, и я просыпаюсь от лихорадочного жара. Когда я увижу Вас? Днем я работаю, надо много делать и многое увидеть, но ночью совершенно ясно, что главное — это не Москва. Главное — это Маруся, моя девочка с большими глазами. Когда я увижу Вас? В Одессу я смогу приехать только в августе. Еще три месяца. 90 дней и 90 ночей. Днем ничего, но ночью? Глаз, стакан воды в темноте, опять Ваш глаз над огнем. Когда же я увижу Вас?

Как долго я ждал Вашего письма. Что мне было думать. Думать было не о чем. Писем нет. Каждый день смотрел в почтовый ящик у двери и ничего не находил от Вас.

Конечно, не могло быть. Это я, дурак, думал, что меня помнят! Не может быть. Ваше письмо мне принес Катаев в редакцию. Я читал его в коридоре, похожем на коридор вагона, и мне захотелось к Вам

немедленно, сию минуту, сейчас. А мне еще ждать три месяца.

Я люблю Вас так, что мне больно. Больно и сейчас. Девочка, голубчик, неужели Вы мне не верите. Как же не верить. Что же мне делать. Маленькая моя. Пишите мне чаще. Я жду каждый день. Больше ничего не могу сейчас написать. Если разрешите — целую Вашу руку.

Иля

На обороте:

Адрес моего брата Миши:
Петроград В.О. 2-ая линия
д. 15 кв. 29
М.И. Гельману для

Нескольких писем не хватает, но можно понять, что Бондарин передал Ильфу какую-то одесскую сплетню.

Москва, апрель 20 [1923]

Сегодня я виделся с Бондариным. Всё в порядке, я возбужден и спокоен вместе. Теперь 2 часа, в половине третьего я окончу письмо и лягу спать. Всё во мне сильно напряжено. Мне придется в немногих словах сказать всё. Не злитесь на Бондарина. Я имел право требовать от него, и он сказал мне всё, что знал. Многое мне неясно. Я знал, что нечто случилось. Ваши письма были мучительно написаны. Мне не было сомнений в том, что произошло то, чего я не знаю. Слова Бондарина объяснили мне очень многое. Еще раз прошу Вас не ругать его. Он тут ни при чем. Мне казалось, что я имею право спрашивать, и он не мог мне отказать.

Я совсем не тот, каким Вы меня знаете. Во мне столько напряжения воли, что я могу сказать всё.

Если мне придется отказаться от Вас — я это сделаю, когда найду нужным. Я не стану говорить о том, как это будет и чего это будет стоить. Я это мо-

гу сделать. Раньше я этого не мог никак. Я был бы унижен, но не мог бы отказаться. Всё — оскорбление, обида, снова унижение — всё это я перенес бы, потому что не мог бы отказаться от Вас. Я теперь я могу. Не потому, что люблю Вас меньше, или потому, что уже не люблю. Об этом я не хочу говорить. Я слишком много говорил о своей любви к Вам и не стану ничего больше повторять. Всё ясно. Я люблю Вас и теперь. Одно нехорошо и нечестно. В Вас нет смелости сказать, что Вы думаете. Я всегда был с Вами искренен. Я всегда говорил Вам то, что думаю. Когда я верил Вам — я говорил. Когда не верил — тоже говорил. Я ничего не скрывал. Ваши письма мне стали неясны. Что случилось? Вы вообще искренни. Я это знаю. Зачем же Вы скрывали? Вы точно не знали, что с Вами? Или Вы жалели меня. Я в сожалении не нуждаюсь. Соперничать ни с кем не хочу. Между нами было немного. Я не хочу, чтобы это немногое обязывало Вас к чему-нибудь. Я хочу, чтобы Вы сделали, как Вам будет лучше. Мне верьте во всем, что я пишу.

Я люблю Вас, Маруся. Но то, что мне сказали, было очень неожиданно. Я знаю себе цену. Меня слишком скоро предали. Меня обманули. Или не обманули. Я точно не знаю. Но я хочу знать. Я спокоен. Спокоен, Вы понимаете. Мне не все равно, как и что Вы ответите. Я могу приехать в Одессу в мае, но приеду не раньше августа. Вы мне дороже всего, но мой ранний приезд не нужен. Моей любви хватит до этого времени. Вашей, кажется, не хватило и на месяц. Я не напишу здесь слов, которые могли бы пробудить в Вас нежность ко мне. Это литература, а не чувство, если писать в расчете на нежность.

Вот что знаю твердо:

Через месяц или даже меньше Вы уже сомневались в том, что любите меня. Почему же я не сомневался? Или это значит, что у меня это настоящее, а у Вас нет? Ответьте мне. Подумайте, когда будете

писать. Еще раз говорю, я мало все-таки знаю о том, что у Вас было. Но что-то было. Если я имею право знать, отвечайте, если нет — я больше писать Вам не буду. Всё, моя девочка.

Иля

Апрель 21 [1923]

Я писал вчера вечером. Это не всё. Сейчас я прочел все Ваши письма ко мне. Мне показалось, что у меня нет оснований сомневаться в Вас. Но вот письмо, в котором говорится о цене на трамвайные билеты. Зачем Вы его написали? Я порвал его. Когда будете мне писать, если только будете, то думайте только о себе. Иначе мне не надо. Не цените наших отношений с моей стороны. Подумайте только о себе — стоит ли? Будет нехорошо, если Вы подумаете, что это мое отступление от того, что я писал Вам раньше. Я верен в своей привязанности к Вам. Можете ли Вы простым языком написать мне о том, что с Вами было и о том, что с Вами сейчас? Мне было бы от этого много легче.

Мне уже всё равно. Так много думать и столько потерять. Никакой жалости, еще раз. Во мне нет жалости к Вам. Боюсь, что Вы не поймете. Во всяком случае, это не ревность. Просто, теряя Вас, я теряю слишком много.

Иля

Одесса, 25-го апреля 1923

Вот сейчас без четверти девять, сестра стащила меня с кровати — я еще спала, когда пришло ваше письмо.

Вчера ночью я вам писала.

Иля, зачем мне лгать? Иля, зачем мне говорить неправду?

Иля, для чего?

Ну, скажите — для чего?

Я должна быть спокойной, и я спокойна, только руки очень холодные.

Иля, я никогда не верила второму Иле.

Иля, вы никогда не должны верить второй Марусе.

Бог мой, мне так трудно писать, очень трудно.

Я не знаю, что вам рассказывал Бондарин. Я не знаю. Но я знаю другое.

Иля, зачем вы об этом написали? Ну, зачем?

Господь мой.

Как мне трудно.

Как страшно, что вы написали Марии, а не Марусе.

Мои письма. Господи, они мучительны, что мне делать?

Ну, за что же? Теперь вы в каждом слове будете находить неправду.

Ну да, они мучительны, но как, как мучительны.

Я ведь совсем не умею писать!

И, Иля, я делала все, чтобы написать моему Иле. А теперь я ничего не понимаю. Ничего.

Ну да, но я всегда верила вам, всегда. А мне столько раз можно было бы не верить, я ведь вам никогда не говори... Господь мой, это дико, что я пишу, и я ничего не понимаю.

Нет, я очень спокойна, очень спокойна, только...

Что?

Бог мой, спрашивать меня, искренна ли я?

Меня, меня. Что я могу ответить, что?

«Вы вообще искренни».

Это пишет Иля, и мне кажется, что это говорится ехидно и насмешливо. И в голове без конца все одна фраза. Она не дает мне думать.

Бог мой, я не искренна. Ну что же мне делать. Ну что я могу сказать.

Я не умею писать.

Проклятье. Месть.

Я жалеть Вас не стану.

Если вы не хотите меня, если вы спокойны, если вам не трудно — уходите. Я не стану просить вашей любви.

Я не должна писать после такого письма. Не должна.

Это значит — оправдываться, а я ни в чем не винована. Вы ничего не знаете, ничего.

Я никогда не стану обманывать. Слышите, вы.

Слышите, зачем мне?

Ну, одно — зачем?

Иля, Иля, Иля.

Я же не могу так.

Спокойствие и мужество, — говорил Иля.

Всё говорил, всё говорил. И я говорила.

Я должна быть спокойна.

Если я думаю, через три месяца, но это будет, будет.

И я жду.

Пускай через три месяца, но я увижу вас.

Пускай через год.

Пускай через год, но я увижу вас.

Иля, вам легко? Легко?

Мне ничего, только очень больно, что вы не верите мне.

Иля, родной, я не хочу вас жалеть, я ведь не могу вас жалеть.

Иля, мне хочется написа... Нет, этого не нужно.

Вы спокойны, у вас много сил, оттого что вы в Москве, и это прекрасно.

Я здесь одна, одна. Поймите.

Я люблю деревья, дождь, грязь и солнце, люблю Илю. Ведь мне ничего нет от вас, ничего.

Я здесь одна, а вы там.

И, Иля, вы думаете, я вам всегда верила?

О, я много раз не верила. Разве я писала просто так, когда не верила? Но я не хотела даже спросить, никогда. Зачем?

Я должна верить, если люблю вас.

И я стараюсь забыть об этом. Может быть, плохо, что я не говорю об этом, но пусть будет так.

А вы знаете твердо — через месяц или даже меньше? Я уже сомневалась.

Даже меньше, даже меньше.

Мне не хочется плакать, мне хочется смеяться.

Даже меньше.

Бог мой, вы подумайте, как смешно.
Иля, даже меньше?
Вы твердо знаете?
Бог мой, как мне тяжело.
Это унижение — писать после такого письма.
Унижение.
И я это делаю?
Я, которую любит Иля?
Это ведь для вас унижение заставлять меня писать так.
Вы понимаете это? Вы понимаете, что вы делаете?
Нет, вы не любите ни себя, ни меня.
Так нельзя.
Слышите, что я говорю вам?
Нельзя так, Иля.
Если вы всегда будете мне так верить, Бог мой, как мне будет тяжело.
О Господи.
Что я пишу.
Я ничего не понимаю.
Потом вы же будете находить мое письмо неясным и мучительным, затем писать мне так?
Думали ли вы обо мне? Думали ли, зачем я все время лгу в письмах?
Что вы думали, Иля? Что. Ну?
Что я могу сделать.
Как я вас ненавижу. Зачем вы такой, зачем?
И вот я говорю, что люблю вас и буду ждать много, очень.
И вот слушайте — если в вас есть силы, если вы спокойны, вам не трудно.
Если вы не хотите меня, то не надо. Я никогда ни о чем не прошу.
И просить вашей любви не стану. А это для меня — всё.

Маруся

Поймите, как я написала.

Вы верите Бондарину, где же я, где?

Мне кажется (Иля, я пишу правду), что вы хотите, чтобы я написала вам, что не люблю вас.

Иля, подумайте, рассмотрите все и напишите мне тогда.

В себе я уверена. Но, родной, простите, если это не так.

Бог мой, только я знаю, как мне больно, когда вы пишете — «даже меньше месяца». Вы ведь меня не любите, говоря так.

Совсем нет.

Господи, писать такие слова — меня предали, обманули. О, как нехорошо.

Ну что, что еще могу я написать.

Иля, родной мой. Господи.

Я не знаю, посылать ли вчерашнее мое письмо к вам. Зачем, если вы так.

Теперь сто лет, сто лет ждать вашего письма. О Боже, как мучительно, как тяжело. Нет, Иля, вы меня любите. Но вы... Нет, я ничего не понимаю. Ничего. Я чувствую, что пишу дикие вещи. Мне все равно, все равно. Иля, когда любишь, есть гордость? Иля, когда любишь, есть размышление? Иля, когда любишь, разве не все равно?

Вы помните тот день, когда я написала вам первое письмо. Мне было все равно. Я хотела, я писала одну правду. А потом вы пришли и сказали: надо быть гордой. А я была очень горда, но когда хотела, чтобы вы были, я забыла обо всем. Я сказала: Иля прав, я буду горда. Я написала тогда дико и непонятно, я просила. Я не умела писать и хотела одного — вас. Вы сказали — я научу тебя писать письма. И я поняла, что надо писать о журавлях, ветре, солнце и еще о многом*. Только самого главного нельзя. И вот, когда у меня всё болело, о Иля, как мне хотелось писать дикие слова. Я написала то письмо, которое Бог вернул мне обратно и которое с упрямством я послала еще раз. Иля, там дурная Маруся, очень плохая, и разве это Маруся? Я понимаю, что оно ужасно. Оно ужасно и

для меня, для вас еще больше, и написала потому, что должна была быть гордой и не выть. А мне хотелось выть. Пускай я пишу ужасно, но я пишу правду, а не о солнце. Зачем мне солнце. Ну, зачем мне всё. Иля, Бога ради, возьмите от меня немно... Нет, ничего не надо. И как будет дальше, я не знаю. Ну, верьте ему, верьте, а мне нет. Мне нет. Мне, Марусе.

Я знаю, что плохо больше писать, у меня не сгибаются пальцы, я устала, очень устала, но я пишу правду, правду, как в первом письме.

Разве я думала когда-нибудь, что я, я, Маруся, буду просить гадкими, противными словами, чтобы вы остались, чтобы вы пришли. Я никогда не поверила бы. Но я так сделала. Мне было все равно. Главное — вы. И теперь, Иля, верьте только мне, Иля, я так хочу этого. Я одна, а вы думаете... Нет, это хорошо. Боже, я не могу писать.

Но, Иля, я повторяю, у меня нет жалости. Я не стану лгать.

Для чего? Боже, проклятье вам, из-за этого письма — вы виноваты, Иля. Я больше не могу. Не могу. Мне очень плохо. Если б я увидела, что я не то чувствую к вам, что надо, разве медлила бы одну минуту? Разве? О, как плохо.

Иля, я написала очень много, ужасно много. Вы скажете — мучительно написано. Да, мучительно, но не вымученно. Иля, если вы меня любите, вы поймете, если нет... Господь мой, слушайте Бондарина.

Если я написала плохо, не сердитесь на меня, Иля. Не надо, Иля, сердиться. Я всегда была сдержанной, я путала сдержанность с гордостью. Но теперь мне все равно.

Иля, не сердитесь, и главное — не надо плохо это читать. Большего я не могу написать.

Всё, Иля, родной мой.

Вы в Москве, где столько людей, вам не трудно забыть меня.

Если вы любите.

Я вам не верю, когда вы так далеко.

Господи, я сама ничего не знаю. Скажите, как мне быть.

Ну, как без вас?

Скажите, если вы уходите.

Скажите.

Сейчас посмотрела на весь этот ворох бумаг и думаю — посылать или не надо.

Написать только бы — если верите — любите, если не верите — не надо. Но я посылаю это.

Бог со мной.

Бог со мной.

Иля, разве можно простить вас за всё это, что вы делаете.

Вот уже одиннадцать часов, вот уже два часа, что вам пишу.

Зачем, для чего.

Уверяю вас?

Нет, я пишу только правду. Вы не должны ничему верить.

Вот я вам говорю это. Что еще можно.

Больше ничего.

Но, Господь мой, как мне будет больно и стыдно, если вы плохо отнесетесь ко всему этому.

Иля, забудьте всё, ведь есть только Маруся, ваша девочка, которая не умеет лгать.

Вы должны мне написать, должны.

Мне очень неспокойно.

Маруся

Вот я прочла еще раз ваше письмо. Вот прочла.

Я не могу писать.

Зачем вы написали мне так?

Зачем?

Я не знаю, что вам говорил Бондарин, но знаю, что я вам бы сказала. Писать об этом я не могу.

Иля, вы, может быть, хот... Нет, я не должна плакать.

Иля, я люблю вас.

Если я еще узнаю такое — не верить мне, я не стану писать.

Я повторяю — это унижение. И потому я никогда не хотела вашего унижения, никогда не говорила о...

Нет, я ужасна, и если хотите, так любите меня со всем плохим и хорошим. А вы так мало знаете дурную Марусю.

*Возможно, она перечитывала одно из его писем, написанное осенью 1922 года.

Москва, апрель 30 [1923]

Я уже совсем большой, многое во мне переменилось. Одно осталось по-прежнему. Я люблю Вас, моя дорогая нежная милая девочка. Ваше письмо заставило меня расплакаться. Я слишком долго напрягался, я ждал его целую неделю. Я не сдержался, не мог этого сделать и плакал. Простите меня за это. В самом начале августа я приеду. Я знаю себя и знаю тебя. Мы оба не умеем любить, если это так больно выходит. Но мы научимся.

Вы мне пишете, будто я хочу от Вас письма, в котором Вы скажете, что не любите меня. Неправда. Я не хочу таких писем. Не хочу и не хочу. Я думаю только о тебе, девочка. Об интонациях твоего голоса, о фиолетовом платье и знаю одно, только одно. Когда я тебя увижу. В последний месяц я уже ничего не делал, только думал о тебе. Так много, с таким волнением, что когда прочел твое нехорошее письмо, то взбесился. Это было открытое издевательство. Я был возмущен. Как смели написать мне такое письмо! Оно меня больно задело. Потом мне сказали о тебе. Очень мало, очень неясно. Даже уверяя меня в том, что ты меня любишь. Кажется — вот что мне сказали.

И я сорвался. Я пишу тебе это не за тем, чтобы повторить упреки. Ведь я уже сказал, что плакал от твоего письма. Просто я хочу тебе объяснить, как

9 – 4720

было. В темноте я шел сначала по Архангельскому, потом по Кривоколенному, я кружился по этим переулкам, шел и поворачивал. Пришел поздно и писал. Если захочу, то могу тебя оставить. Но разве я этого хочу. Что же мне тогда останется. Кто останется для меня. Маруся, если бы я мог тебя увидеть. Но сейчас нельзя, как бы я этого ни хотел. Это первый залог верности, если я приеду только в августе. Не надо истерики. Не надо больше срываться. Нас ничто не разделит. Не надо бояться. Одно я знаю теперь только — Ты моя. Я никому тебя не отдам.

Прости меня за то бешеное письмо. Или нет, не прощай. Я не мог иначе.

Я беспокоюсь о тебе. Это письмо будет идти долго. Всё что я пишу, это не то. Мне надо тебя увидеть. Это будет, и это так много, что временами я этому даже не верю. Значит, я тебя увижу. И комнату, где Генрих VIII и твой портрет с худыми, вызывающими нежность руками. Я войду, и ты будешь сидеть на диване. Да, моя девочка? Маруся, милый, нежный ребенок.

Я читал твое письмо уже три раза. А я получил его только час назад. Там много горьких мне слов. Я заслужил их, наверно. Не может быть иначе, раз ты это пишешь. Я очень взволнован. Я не могу писать длинных писем, и всё равно, сколько бы я ни написал, сейчас я не смогу написать всего, что я о тебе думаю.

Маруся, какая это была неделя. Мне разу стало скучно всё и противно. Я колебался, верил, не верил, опять верил.

Маруся, пойми — я и всё, что во мне, — это твое. Твое, понимаешь, только твое и ничье больше. Я заставил тебя страдать, тебе нехорошо из-за меня. А я так хочу, чтобы тебе было хорошо. Ты права, я сделал много дурного. И, несмотря на всё это, ты меня любишь. Мой мальчик. Я не знаю, что пишу. Я

больше никогда не посмею сомневаться в тебе. Маруся, я никогда не относился к твоим письмам нехорошо. Ты боишься показаться смешной. Этого не может быть. Не может быть, и никогда не было, и никогда не будет. Не думай, что своим письмом ты унизилась. Этого тоже не может быть. Как и перед кем моя Маруся может унизиться? Передо мной? А что я такое на виду тебя? Я тебя еще не заслужил. Неужели ты думаешь, что я тебя не люблю. Не надо так думать. Не надо. Не надо.

Что мне Москва? Это ничего, это только чтобы заслужить тебя. Только.

Три месяца. 90 дней и 90 ночей. А потом я тебя увижу. Тогда всё. Будем ждать, девочка. Надо ждать. Мы никогда не хотели ждать. Хотели всего сразу. И любви, и ссор, и примирений, и встречи, и разлуки. А всего сразу нельзя. Ты неспокойна, и я неспокоен. Я вижу, что сделал. Боже мой, простит ли она мне когда-нибудь? Маруся. Маруся. Мне нехорошо от того, что тебе нехорошо. Как тебе, верно, скучно! Девочка моя, мой ребенок, дорогой детеныш, Маруся. Ну не надо, девочка. Надо быть спокойным, я знаю. Что же мне делать. Что!

Мне мучительно больно за тебя. Что ты сейчас делаешь. Я тебе верю во всем. Во всем. Всегда.

Я никому тебя не отдам. Я никуда от тебя не уйду. Мне трудно писать. Каким именем тебя назвать.

Если бы мог тебя увидеть, чтобы тебе и мне стало легче. Я сильно тебя люблю.

Я волнуюсь и писать не могу.

Я напишу еще завтра и еще.

Я буду писать часто, очень часто.

Целую Вас, моя девочка.

Иля

СЕМЕН ГЕХТ ИЗ МОСКВЫ — МАРУСЕ ТАРАСЕНКО В ОДЕССУ

[30 апреля 1923]

Дорогой друг, Маруся! (Ильф вам пишет в телеграмме *«девочка»).*

Странное чувство руководит мной, когда я пишу к вам эти строки. Для меня, материалиста (по установленной квалификации) всё, казалось бы, должно быть ясно. Но что же поделаешь? Должен ли я писать, имею ли я право перед самим собой. Глупо ли это и пр.? — Не знаю.

О чем я говорю, вы догадаетесь (отчасти) по заключительным строкам этого письма.

Итак — живу на Тверской и в Замоскворечье (как приходится, обедаю с Сережей [Бондариным] на Воздвиженке или на Никитской), как приходится, посещаю кое-какие редакции. Познакомился с Асеевым и Маяковским. Последний отзывался о нас хорошо, хотя я по направлению не подхожу. Он взял у Сережи одну вещицу для Лефа (ежемесячник). Я сдал для журнала (ежемесячник) Ингулову* одну вещь небольшую. Это и очерки в «Огоньке» дают мне возможность держаться здесь. У Сережи дела обстоят хуже. Одними стихами здесь даже Асеев и Пастернак не живут. Нужно быть газетчиком и журналистом. Сереже это не удается. Мне удастся (не сомневаюсь) напечатать в дальнейшем же будущем рассказ (новый) в «Накануне» или в «Красной Ниве» и стихи в еженедельниках. Но особенно рассчитывать на это не приходится. Необходима полухроникерская, полужурналистская работа. Хорошее впечатление произвел на меня Асеев (прекрасный человек). Маяковский менее (фанфарон), хотя разговор у меня был с ним солидный и положительный. Весна здесь чудовищная. Снег и грязь. Солнца почти не видать. Была у меня на днях встреча, от которой у меня волосы встали дыбом (буквально). Вспомнил старое и убоялся до смерти его возобновления (см. на обороте) [на обороте ничего не обнаружено. — *А.И.*].

Удалось кое-что купить здесь. (Белье, брюки, рубашки, носки.) Был в театре Мейерхольда («Великодушный рогоносец»). Был с Сережей в Румянцевском музее. Бегаю целые дни, как затравленный. Расстояния приходится делать колоссальные. От меня до Мыльникова свыше часа ходьбы. Бываю у них редко. Сейчас сижу у них. Иля только что получил от вас письмо (высланное 25-го). Он написал

плотный ответ (двойная оплата) и идет сейчас отправлять вам телеграмму. В телеграмме четыре слова «Девочка я вам верю».

Да, Маруся, странно и непонятно. Иля очень славный человек, и я тоже очень славный человек. Оба мы ютимся (в конце концов) на чужбине (это так и есть), и чувства у нас настоящие. Правды заслуживает каждый из нас. Что еще, дорогой друг? (Иля пишет «Девочка»). О семнадцати башнях писать не буду, о Кремлях и Китай-городах писать не буду, о Мак-Кее** писать не буду и о сутолоке столичной — также. Суета! Иля ушел, оставив меня с больным Олешей, Катаев где-то с Мусей в гостях. Окончу эти строки и пойду повидаться с Медведевым, который видел Сережу и, узнав о моем пребывании в Москве, просил меня весьма зайти к нему. Это письмо Вы получите вместе с письмом Или. Его гораздо увесистей. Взвесьте (буквально и в переносном смысле), как говорил мой учитель, Аркадий Александрович, умерший от чахотки и никогда не любивший женщины. До свидания. Жду ответа.

Гехт.

Мой адрес: г. Москва. Тверская 5, кв. 39 (б. Лоскутная гостиница). Магид — для Гехта.

*Сергей Борисович Ингулов (1898–1931) — одесский журналист, фельетонист. В Москве работал в Главполитпросвете, зам. зав. агитпропом ЦК ВКП(б), начальник Главлита. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

**В сооружении Магнитогорского металлургического комбината принимала участие американская строительная фирма, возглавляемая инженером Мак-Кеем.

«Плотный ответ» Ильфа:

Москва, апрель 30 [1923]

Ваше письмо полно такой тревоги и отчаяния, что я стал несчастен. Девочка моя, будьте спокойны. Не вините меня слишком много. Ведь Вы сами знаете, что я ничего не знаю из того, что с Вами. И как же я мог узнать, если Вы писали мне так мало и так неясно.

С вечера 6-го января я уже не мог увидеть Вас. С этого вечера я мог Вас только вспоминать. Думаете ли Вы, что мне не надо было уезжать? Теперь я знаю, что не надо было. Вы, может быть, знали, но мне не сказали. И ничего не написали. Кто Вам сказал, что надо писать о журавлях? Что Вы со мной делаете? Я говорил, что надо быть гордой. И Вы могли оставаться гордой? Разве я об этом говорил? Как Вы меня плохо поняли! Я не сержусь за это, Маруся. Пусть будет так. Не важно, не важно. Всё это уже не важно. Мой дорогой друг, пусть будет так, как Вы думаете и как Вы хотите.

Я хочу, чтобы Вы были спокойны. И за себя и за меня. Мне очень болит голова, мне надо так много написать, но это придется отложить до другого раза. До того раза, когда я смогу писать без лишнего и не повторять того, что уже было сказано не один раз. Еще нет четырех месяцев, как я видел Вас в последний раз. Но 100 дней уже есть. А я не думал, что смогу столько ждать. И я не могу. Совсем не могу. Ждать надо еще долго, и я должен, должен это сделать. Моя девочка, мне это тяжело. Но нельзя делать, как прежде. Не могу — и вот делаю. Мы много с Мишей в Петрограде говорили об этом. О том, что можно делать и чего делать нельзя. Если бы я остался в Одессе, разве это было бы лучше? Маруся, пишите мне только тогда, когда захотите. Моя девочка.

Ваш Иля

Москва, май 2 [1923]

Моя маленькая, я пишу на длинной полоске бумаги, чтобы она хоть немного стала похожа на Ваши письма. Я читал сегодня то из них, которое Вы писали вечером и красными чернилами. Девочка, мой дорогой друг, я знал, как Вам больно и нехорошо. Я всё знаю, хотя Вы пишете, что я не знаю ничего. Когда Вам больно, это больно мне. Какой Вы, Маруся, чудес-

ный, большой ребенок. Вы боитесь потерять меня? Разве это возможно? Разве я не думаю о Вас всегда. Почему я так мало сплю? Почему я ночью брожу по Москве, прохожу бульвар, где пруд, выхожу к почтамту, который уже вошел в мою жизнь навсегда и навечно? О Вас удобней думать на ходу, ночью, тихо и светло, Театральная площадь пылает огромными фонарями, в полосатой будке продают папиросы, и я беру ночью «Кремль». Днем я курю другие, но ночью всегда эти. Они напоминают мне Вас. Я открываю коробку, на которой нарисованы нелепые угловатые башни, нисколько не похожие на Кремль, и беру одну толстую папиросу. Это воспоминание о Вас. Я обернулся, чтобы взять одну такую же самую папиросу из коробки человека, фамилию которого я забыл, это было у Рубинштейна*, проклятого стихослагателя. И рядом с этим человеком сидела Маруся, моя и чужая Маруся. Она улыбалась мне, и это значило — будьте спокойны. Мой нежный, чудесный ребенок. Удобней думать на ходу. В переулках темно, площади в пожарах, к Кремлю не стоит идти, там ветер, я иду обратно, опять к бульварам через Кривоколенный, в котором лучше всего думать о Вас. Как Вы можете думать, что можете меня потерять? В Одессе уже тепло, здесь еще холодно. Это осень, такая как та, в которую я в первый раз дотронулся до Вашей руки и ничего не мог сказать. Я и теперь не могу сказать много. Очень мало, моя девочка. Только то, что люблю Вас, что это во всю ширину моего сердца, что люблю Вас больно, каждым движением, каждым словом и каждую минуту. Это немного, но больше я не могу. А Вас надо любить больше.

Отчего я так мало сплю? Но я не вижу Вас теперь во сне, и потому спать не стоит. Я просыпаюсь со вздохом, я засыпаю, жалея расстаться с Вами. Я сплю немного и тревожно. Я совершенно спокоен, только не всегда. Мне уже стало не нужно многое. Я

ничего не читаю. Завтра я пошлю Вам 2 книжки. Они, наверное, хороши. Но я не стал их читать. Зачем — я буду думать лучше о Вас. Ваши письма, моя Маруся, Ваши письма — вот всё, что у меня для меня самого. И два последних, таких дорогих. Одно фиолетовое, другое красное.

Девочка, моя девочка, простите мне. Вам очень больно. Я знаю. Это моя боль, это мое мученье. Разве мы знаем что-нибудь в этом. Может быть, так лучше. Нет, не надо так. Это слишком больно. Идти снова в темноту, зажигать свет и перечитывать. Сколько Вы написали. Вы написали так, что мне хочется плакать. Я еще могу это делать. Ну и что же нужно. Я, правда, большой, и это немного смешно потом, но это моя большая любовь к Вам. Просто я очень люблю мою девочку. Я увижу ее только в августе. Я уговариваю себя, что не может быть иначе. Но моей девочке нехорошо. Я приеду, девочка, уже нельзя раньше, чем в августе. Как это будет? На вокзале, или на Преображенской, или на улице? Всё равно где. Но я Вас увижу. Мой друг, я Вас увижу. Это больше того, что я могу себе вообразить. Когда это письмо придет, Вы, верно, уже получите крест, который я Вам подарил уже давно, но всё не собрался послать. Он чудесный, этот крест, и я буду рад увидеть его на Вас. Вам нельзя было ждать моего письма, я отправил телеграмму. Вдруг Вы ее не получили? Тогда, значит, Вы ждали долго письма. Я надеюсь, что телеграмма Вас нашла. Моя добрая большая Маруся, что мне сказать Вам еще? Есть очень много, на год разговоров, но как всё это написать. Невозможно. Целую Вас, моя родная.

Ваш Иля

* Александр Львович Рубинштейн был научным работником и поэтом, автором сборников стихотворений *Майя* (1919), *Сказки о цыганской державе* (1919) и *1918 год (Начало поэмы)* (1922). «В доме этого человека устраивались частые

литературные чтения. Отчеты помещались в газете. Ходили туда охотно, потому что всегда на этих вечерах были чай, бутерброды, а главное — винегрет в неограниченном количестве» (Сергей Бондарин. *Мой старший друг — Багрицкий.* — В его кн.: *Повесть для сына*, с. 221).

Одесса, 3-го мая, 1923

Я могу только сильно сжимать руки и говорить — Господи, как можно быть таким хорошим! Я могу только много, много целовать маленького Бога. И что мне еще? Это можно только один раз обнять за шею? Или нельзя? И это мое, Иля? Да?

И вы держали это, в своих руках, хороших руках? И коробочку?

Иля, мой родной Иля. Ну, что я могу сказать. Я хочу плакать. Много плакать.

Мне много радости, радости до печали. Мне очень, очень тихо. Я не могу смеяться и громко разговаривать. Мне слишком хорошо, и я боюсь.

И еще боюсь, чтобы не казалась вам лучше, оттого что далеко. Иля милый, вы понимаете, что я хочу сказать.

Я не могу совсем писать. У меня всё так, что нет слов. Да этого и не нужно. Вы и так все знаете.

Иля, неужели это так? И это сделали вы.

Мой Иля. Мой маленький, с детским лицом.

Бог.

Мой добрый, хороший Бог.

Что я пишу?

Вот я еще раз его целую. Видите, вот он в левой руке. Хороший, но почему вы не видите? Что мне делать?

Ничего.

Вот вы видите, как много пишу о себе. Это ничего?

Иля, Господи.

Бог мой, как можно быть таким хорошим.

Иля, ну Иля.

Что мне еще.

Больше не могу.

Маруся

Одесса, мая 7-го [1923]

Мой родной Иля, не думайте обо мне много. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы вы делали то, что вам нужно и необходимо. Я не хочу быть причиной этого. Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь пожалели об этом. И если так случится, мне будет очень, очень жаль вас и себя. И вот я прошу вас об этом. Вы понимаете, дорогой? Хотя зачем?

Я знаю, что да.

Иля, мне спокойно, и я хочу, чтобы и вам было спокойно. Я буду ждать, ждать и ждать. Ведь у меня могло этого не быть, но у меня есть, и я счастлива.

Иля, ведь я буду вас видеть, а что мне еще, что мне будет.

Иля, это будет слишком хорошо, и я не верю, боюсь.

Не верю, боюсь всего — вас, себя, августа.

У меня есть одно — Иля — август. Мне будет очень хорошо летом.

У меня будут ваши письма и то, что вы мне прислали. Я ведь всё, всё получила. Вы ведь бу... Господи, зачем? Иля, я так не могу, чтобы его видели люди. Но я не могу быть целый день без этого. Я не знаю, как назвать, и говорю — это. Ну, скажите, как можно назвать. Никак. Крест? Тоже нет. Я не знаю.

И вот если я одеваю, то все видят, а они не должны. Это только мое, мое и мое. Правда, Иля?

Вы подумайте, я ухожу утром и прихожу вечером поздно, и только тогда я могу держать в руках и целовать. Вы понимаете, родной? Это нельзя носить, я знаю, но без этого очень трудно. Очень, Иля.

Я не могу.

Я еще не верю, что это мое и от Или.

Иногда мне делается страшно, когда кажется, что это не мне, а я ношу.

Вдруг покажется. Но потом вспоминаю маленькую бумажку, и мне становится легко, легко и радостно. Я знаю, вы приедете. Пускай вы не приедете, но я так хочу, чтобы мне казалось.

Лучше пускай кажется.

Родной мой, зачем спрашивать и говорить, что лучше было не уезжать. Вы же сами знаете, что было бы очень плохо, если бы вы остались.

Ну что же, я очень хотела, чтобы вы были, но разве я должна была об этом говорить.

Я хочу любить вас из-за вас, а не из-за себя.

Вам надо было уехать. Надо, надо и надо. И я должна понимать это больше, чем кто-либо другой. Пускай я очень хотела с вами, но так должно и так лучше. И напрасно вы пишете мне об этом.

Очень хорошо, что вы уехали, и я рада за вас.

Вам здесь остаться, в этой противной Одессе? Вы ведь и теперь вспоминаете о ней с отвращением.

Вы хорошо сделали. И я говорю не потому, что должна так говорить, а потому, что так действительно думаю.

Я очень хочу написать — мне очень легко без вас, чтобы вам было лучше.

Но я не хочу.

И потом я не так сказала, как хотела сказать. Вы понимаете?

Иля, мой хороший, хороший.

Вот подумайте, я буду целое лето одна, одна с вами без вас.

Вы ведь все равно всегда со мной. Утром я просыпаюсь и, еще не помня что, помню — Иля, Иля и Иля.

Целый день маленький Бог и Иля.

Мне очень, очень хорошо.

Я хочу, чтобы и вам было легко. Иля, что мне сделать? Иля, ведь уже больше прошло времени, как вас нет, и меньше осталось ждать.

Май, июнь, июль, а потом август.

Я всегда буду любить август.

Иля, я вас очень, очень люблю.

Милый, милый Иля.

И Иля любит меня тоже, Господи, мне надо.

У меня нет сил писать, так у меня всего много и так трудно сказать. Вот он на мне — крест.

Крест, что мне прислал Иля.

Господи, как я счастлива.

Иля, понимаете, как я счастлива, счастлива из-за всего.

Я очень люблю ваше дурное письмо и всё, всё.

Всего, всего Илю, самого плохого и самого хорошего.

Родной мой.

Что мне еще писать?

Ведь об этом даже нельзя. Нельзя найти слов.

Родной, я еще раз прошу — думайте меньше обо мне. Всё же я хочу, чтобы вы не забывали меня.

У меня есть два кресла, на которых я лежу против открытого высокого окна.

Много, много звезд.

Я много, много думаю о вас, внизу играют, и, Бог мой, как мне печально и хорошо.

Родной мой, я очень хочу поцеловать вас.

Август.

Больше у меня ничего нет.

Вы будете, теперь вы есть. Тоже.

Маруся

Вот теперь очень поздно, и он, крест, на мне. Иля, если б вы знали, какой он хороший и как я его люблю.

Очень, очень.

Вы знаете его — как же не любить. Очень хороший. И от моего дорогого Или.

Одесса, 8-го мая [1923]

Что мне для вас сделать? Что? Вот вам пусть будет это*. Я боюсь, что вы вдруг можете забыть мое лицо, «рыдван» и еще, еще. И хочу, чтобы у вас было это. Я нарочно в этом «рыдване». Ведь когда вы были, я всегда ходила в нем. Помните? Вы всегда называли так мою кофту.

Мне сегодня очень неспокойно. Очень.

Почему? Я ничего не знаю.

А забыть можно, так вдруг, непроизвольно.

Как ни силишься вспомнить — нет, нет.

Вот так помнишь — спину, затылок и как ходит, а больше никак нельзя.

Я ваше всё, всё помню.

И ногти, и волосы, и кофты разные, и главное — лицо, ваше лицо, Иля дорогой.

Какие хорошие книжки вы мне прислали, Иля. Чудесные.

Очень хорошие. Мне жаль, что вы их не читали. Надо было, Иля. Господи, как можно быть таким хорошим.

Иля вы мой, вы страшно, страшно хороший. Я не знаю, как написать. Так вдруг подымается что-то внутри, ползет к горлу, и не знаешь, что делать.

Вы ведь знаете, родной, как мне трудно писать.

Мне кажется, что я совсем уже не та Маруся, что была прежде. Мой хороший, милый, милый Иля. Об этом даже нельзя писать. Я вас много, много люблю.

Вот я так пишу, и мне совсем не стыдно, а прежде не смогла бы.

Я хочу одного, чтобы вы любили меня. Я вас люблю. Вы даже не знаете как.

Вот я пишу всё об одном, об одном, и всё. Но о чем мне писать?

Вы понимаете, друг?

А это ничего, что я в «этом» с крестом?

Может быть, не надо было?

Все же мне кажется, что ничего.

Дорогой мой Иля, отчего мне сейчас плохо?

Родной мой, я так хочу быть хорошей. Только для вас, и я буду.

Больше ни для кого, ни для кого.

Бог мой.

Иля мой хороший, хороший.

Я очень хочу, чтобы вы спали много.

Маруся

*Фотография, на обороте дата: *8 мая 1923.*

На конверте рукой М.:

Два письма. Иля прислал телеграмму и просил их не читать. Потом приехал в Одессу.

Одесса, мая 9-го [1923]

Иля, что вы делаете? Зачем?

Вот вы написали письмо, которое мне нельзя читать.

Вы только подумайте, что вы делаете.

Вы хотите, чтобы мне было плохо и неспокойно.

Вот я вчера вечером, вернее, ночью писала вам, а утром послала то, что вы уже, наверно, получили.

А теперь вечер, и вот ваша телеграмма. Такая маленькая и так много говорит.

Я уже всё знаю.

Разве нужно мне читать письмо, разве нужно догадываться.

Мне опять сделали больно, меня опять оскорбили.

Да, да, потому что так не верить есть оскорбление. И я чувствую те безумные слова, что опять мне написаны.

У меня уже нет сил, нет слов так дальше.

Я не знаю, как смогу.

Почему мне нельзя читать его?

Почему?

Бог мой, как тяжело. Зачем, зачем все это.

Разве так можно.

Мне очень, очень неспокойно опять.

Что делать?

Что вы писали?

Вы должны мне сказать.

Я хочу знать.

Пускай очень плохое для меня, но вы скажите.

Я так стараюсь спокойно писать, стараюсь удерживать руку, ручку, что сейчас полетит Бог знает куда.

Мне очень, очень лихорадочно.

Я так не знаю, что для вас сделать.

Я ведь маленькая, и у меня все маленькое.

Только боль большая.

Иля, неужели я такая нехорошая и Бог хочет забрать вашу любовь у меня теперь, когда я вас так люблю.

О, хуже он не мог бы сделать.

За что мне всё?

Господи. Иля, Иля. Не надо.

Что мне с вами делать?

Нет.

Что же это, что?

Когда мне будет хорошо?

Нет, лучше плохо, больно с вами, чем хорошо без вас.

Я не хочу без вас хорошо.

Но разве может быть хорошо, когда Иля такой.

Все равно я хочу любить вас, хотя вы и делаете мне больно.

Разве вы знаете, что вы делаете?

Нет. Если б вы знали, так не было бы.

И я люблю вас еще больше.

Вы напишите мне всё, что вы думаете.

Напишите, если вы не хотите меня любить.

Бог мой, что мне будет, если вы не хотите.

Иля мой, отчего вы так делаете.

Зачем?

Я уже не могу писать, я уже не могу уверять вас, я ничего не могу.

У меня становится пусто.

Мне ничего нет. Я застываю. У меня нет сил плакать, нет сил волноваться, но моя любовь еще есть, она во мне.

Это уже мое шестое чувство.

Потерять ее значит...

Может быть, вы не писали так, может быть, это не так, но мне кажется, и мне ужасно.

Лучше волнение, чем так, как мне сейчас.

Это отчаяние, тупое отчаяние, спокойное и невозмутимое, когда уже все становится все равно.

Вы мне скажите, напишите, что вы там писали.

Я должна все знать.

Мне так надо.

Иля, вы мой родной Иля, ведь я люблю, люблю вас.

Зачем заставлять меня так много писать об этом.

Ведь вы должны без всего знать.

Я не знаю уже, что будет дальше.

Еще одна телеграмма, еще одно письмо, которое нельзя читать, и всё.

Конец.

Мне будет конец.

Это сделали вы, Иля.

Потому я не могу без конца, без конца мучиться.

Вы понимаете это. Человек, которого я люблю и который так ничего не чувствует.

Если б вы знали, как я вам пишу.

Но вы ничего не знаете, человек, которого я люблю.

Иля, неужели всегда будет так?

Неужели немного радости на три дня, а потом забирать ее обратно и давать взамен такую боль.

Вы думаете?

Вам легко писать безумные письма, потом посылать телеграммы и всё?

Вы думаете, мне легко.

Иля, ну Господи, мой Иля, что вы делаете.

Родной мой, подумайте немного обо мне.

Так нельзя.

Иля, вы не любите меня.

Вы всё выдумали, вам сильно кажется.

Вы не верите мне и совсем не думаете обо мне.

Вы делаете бесконечно больно.

Я не увижу вас. Вы не позовете.

Ведь еще целое лето впереди. Я не верю вам.

Бог мой, какое безумие.

Я не знаю, что пишу.

Теперь ночь, мне ужасно.

Вы думаете только о себе, хотя и пишете обо мне.

Нет, нет.

Вот я была сегодня в кинематографе.

Я видела «Доктор Мабузо»*. Очень интересно.

Вы чувствуете, как бьется мое сердце?

Вы хотите, чтобы я плакала.

Иля, мой родной Иля.

Иля дорогой.

Господи.

Что я делаю.

Иля, Иля, простите меня, если я вам делаю больно.

Иля милый, я вам верю.

Но поймите, как я не помню, что я пишу, так я не знаю, что вы написали.

Если б вы знали, как я вас люблю.

Я очень вас люблю и всегда.

Может быть, совсем не плохо, а я так пишу.

Просто Иля написал одну фразу, которую не надо читать, и я думаю, что всё.

Нет, вы не могли написать плохо.

Иля должен чувствовать, что у меня к нему. Иля не мог сделать мне больно.

Иля меня любит.

Иначе быть не может.

Бог мой, как я еще могу писать.

Иля, мой Иля, я не стану вам лгать.

Разве можно ему лгать.

Вы очень, очень хороший.

Иля, вы прислали мне крест. Правда?

Одна коралка упала, но я опять надену ее на нитку. Я сразу ее нашла, когда ее уронила.

Зачем я это пишу? У меня так устала рука.

Ведь я говорила это столько раз, но мне все равно не верят, не хотят слушать. Я не стану читать ваши письма — мне уже достаточно плохо.

И главное вы написали — прошу. Значит, нельзя.

Иля, родной, дорогой, милый.

Иля, что вы делаете?

Ведь я.

Иля, милый мой Иля.

Не надо больно так.

Вы не писали плохо? Правда?

И зачем тогда телеграмма и не надо читать?

И вот дальше и больше.

10 – 4720

Да, но выходит, что вы не хотите, чтобы я читала, не хотите, чтобы мне было плохо? Да, Иля?

Вы подумали.

Но, Господи, почему не подумали, почему вы не подумали прежде.

Но, может быть, так надо и вы так хотите.

Хорошо. Я не буду.

Я забуду.

Хорошо, Иля?

Вы больше никогда, никогда не сделаете так.

Да?

Ведь вы меня немного любите. Господи, что же вы мне написали?

Иля, мой хороший, хороший Иля.

Я люблю вас. Иля, мой безумный Иля.

Маруся

Я ни за что не прошу письмо. Даже зачем это писать. Вы мне напишите сами. Или не надо. Не надо.

*«Доктор Мабузе» (1922) — немецкий кинофильм, реж. Фриц Янг.

Май 10-ый [1923]

Вот утро. Я боюсь перечитать то, что писала вчера.

У меня уже есть ваше письмо.

Сейчас его принесли.

Я не знаю, как будет мне сегодня.

Я знаю, что так, как я пишу, нельзя писать.

Сегодня, сегодня и вот утро, у меня всё по-прежнему.

Опять солнце.

Проклятье.

Боже, как много солнца.

Зачем днем так много солнца. Зачем так радостно каркают вороны. Зачем деревья легки, желты и прозрачны.

Зачем мне всё, когда нет вас.

Пусть будет дождь, туман и слякоть, но пусть будет ваше письмо со мной.

Только хорошее письмо.

Вы видите, как много я пишу.

Вы спокойны — я спокойна, у меня радость, и я тихая, тихая и хорошая.

Вы неспокойны, посылаете мне клочок бумаги со своим беспокойствием, и оно уже во мне, и я становлюсь очень нехорошей и пишу плохие слова.

Вы далеко. Почему же всё так передается мне.

И вдруг вы не напишете.

Я не знаю, хотите ли вы хотя бы на каплю понять меня.

Если б я имела ваше письмо.

О, я любила бы грязные серые дома, желтенькие деревья и всё. Самое плохое.

Вы понимаете это?

Хочется целовать трамвай, человека, что сидит рядом — ведь у меня письмо, письмо от Или.

Разве я уже писала вам об этом.

Почему мне вдруг показалось, что когда-то писала вам об этом, точно — и о желтеньких деревьях, и о трамвае. Да?

Я не помню, но так кажется.

Я буду ждать.

Я не могу любить вас больше, как люблю, и вы очень хороший.

Мне очень больно из-за вас. Я знаю, что вы ни в чем не виноваты.

Я знаю, что это из-за любви ко мне.

Как я вас люблю.

Нет, о нет, это не из-за вашей любви ко мне, а потому что я люблю вас.

Боже, как можно так много писать. Но вам я могу, могу без конца.

Теперь очень поздно, но я не могу спать.

Вот пробило четыре.

Разве я могу спать, когда Иле плохо.

Иля, правда, будет всё хорошо?

Вы не будете писать писем не для меня, и я не буду вам так писать.

Да, родной мой?

Может быть, я очень плохо написала, но я не умею иначе.

Мое оправдание одно — я пишу самую правду, какую только могу написать.

Что еще, Иля мой?

Дорогой, родной, милый Иля.

Простите, если я написала вам плохие слова.

Я больше не буду.

Ваша девочка
Маруся

Больше так не будет?

Иля. Иля. Иля.

11–19 МАЯ ИЛЬФ В ОДЕССЕ

Понедельник [Одесса, 14 мая 1923]

Дорогой друг, я вспоминаю твои губы, всегда теплые, как ты вся, огонь от печки и твое лицо, розовое и горячее. На повороте, бегущий и гудящий, звенит вагон, и от звона и от твоего дыхания я задыхаюсь. Ты говоришь, что любишь, почему же каждый раз, что мы не вместе, кажется мне невозвратимым то, что было — озверевшая в жару печка, невидимый, бегущий вагон и более всего — слова, которые ты говоришь и которые я не слышу. Сколько мне еще лежать в ночи с раскрытыми глазами и задыхаться в непереносимой и несправедливой обиде. Ты говоришь, что любишь, почему же третью ночь я вглядываюсь в коричневый блестящий живот глиняного китайца*, не разбирая, что это, и сердце преисполнено отчаяния, что же это такое, мне кажется, ты говоришь неправду, мне нет больше силы терпеть, сколько мне еще так гибельно томиться. Ты говоришь, что любишь, сделай же так, чтобы я этому поверил. Девочка, это почти бред, то, что я пишу, но я не могу иначе. Почему мне кажется, что я потерял

тебя. Это началось давно, может быть, две недели обратно или больше. Я не знал, сколько я тебя люблю, теперь я знаю. И еще знаю, что потерял тебя неожиданно и сразу, как теряют кошелек. Мне страшно думать о том, что это единственное, что я сейчас думаю. И мое сердце полно возмущения, потому что я тебя люблю. Я написал немного и непонятно, а между тем пишу долго. Я думаю, что час. Мне трудно и страшно писать. Девочка, если можешь и хочешь, помоги мне. Я приду к тебе сейчас и дам тебе это письмо. Ты мне скажешь, можно ли еще притти сегодня вечером. Мне это необходимо. Если сегодня это не можно, напиши мне. Мне будет трудно ждать даже до завтра.

Иля

*Глиняный китаец, он же японец в следующих письмах, Чин в рассказе *Лакированный бездельник* — японский бог счастья и благополучия. Он не кричит, не орет, а хохочет.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В МОСКВУ

Москва, май 24 [1923]

Дорогая девочка, в свое время и точно во вторник [22 мая] я оказался в Москве. Как можно писать о множестве тайных и милых мелочей, о воспоминаниях тебя. Колечко волос и карточка. Волосы пахнут, и пахнут лучше, чем крест и японец, потому что запах волос — это ты и твои большие чудесные глаза, все-таки серые и голубые, несмотря ни на что.

Мой мальчик, еще в воскресенье я видел тебя. Видел в комнате, на прохладной Садовой, на скамейке на площади. А потом на вокзале. На вокзале большие странные посеревшие глаза. В дороге я простудился. Теперь у меня в голове треск, и голова поворачивается и потрескивает. Мой милый, мой дорогой мальчик. Целую тебя в губы, в маленький

розовый сухой рот. Я читал два твоих письма. За ними я ехал. Они были в конце дороги — единственное, что меня ждало хорошего. У меня есть твоя карточка и твои волосы. Это очень много. Я часто смотрю и воображаю, как это было. День, вечер, кинематограф. Я хочу тебе верить и верю тебе. Даже когда сидели на Ришельевской ночью и стояли в конце ее.

Милый, трогательный ребенок, дорогая моя, моя, только моя девочка. Напиши мне. Что у тебя делается и что ты теперь делаешь. Я пишу только сейчас, потому что никак не мог раньше. В вечер того дня на Мыльниковом было большое пьянство, и когда все сильно перепились и Алексей Толстой, стоя, рыкал что-то, ко мне приполз Катаев и серьезно и трогательно пил со мной, и неожиданно и мило пил твое здоровье и мою любовь. Мы с ним большие друзья, и это связало меня с ним еще больше. Это было совсем не пьяно. А иначе. Тебя не знают, ничего не знают о тебе. Но любят нежно и трогательно. Пиши мне. Я буду писать, не ожидая ответа.

Мой мальчик, ты еще грызешь японца?

Целую руки дорогие, тонкие, холодные пальцы, худые хорошие Марусины руки.

Иля

Суббота, 26-го мая [1923]

Что надо?

Разве можно сказать — надо, должно?

Я не знаю.

И вот всё же твержу без конца, что пишу совсем не то, что надо.

Да разве я знаю, разве понимаю? Ничего.

У вас всё прямо и ясно. И это, может быть, и лучше.

Вот я опять и опять вспоминаю, как вы ясно и просто рассказали обо мне.

О том, что было.

Я сама не смогла бы лучше. Всё было так.

Но я не могла или не хотела посмотреть просто.

Иля, теперь я смотрю иначе.

Хочу понять и дать отчет и совершенно не понимаю, что надо.

Я знаю, что пишу похоже на собачий лай.

Иля, я выдумщица, большая выдумщица, и это плохо.

Каждый раз выдумывать, и это ужасно.

Но это уходит.

Да, Иля, уходит и скоро совсем не будет.

Тогда казалось, что рассказывают о другой Марусе, очень похожей на меня.

Слушая, я невольно улыбалась, и хотелось смеяться, как вы всё знаете.

Вот чужой человек всё понимает, почему я не так.

Я выдумываю и запутываю.

Зачем и для чего?

Иля, я не знаю, что надо. Что надо и чего не надо, что можно и чего нельзя.

Я совершенно ничего не понимаю, я одна, а вокруг люди, и что делать, как быть.

Все же во многом я не давала себе отчета, я не думала и теперь увидела, что вы правильно.

Вы сказали мало, но это было очень много.

Вы не можете понять, как это сейчас у меня всё.

Вот я сейчас подумала — для кого я пишу — для вас или для себя.

Если для вас, то это мало понятно, так мои слова молчаливы; если для себя, я не знаю.

Так боюсь, что вы сделаетесь чужим, когда будете читать.

Я не могу писать об этом, но я хочу и должна.

Пусть вы будете пожимать плечами.

Иля, может быть, это плохо, что я так?

Но дело в том, что я сама плохо разбираюсь во всем этом, и тем более мне трудно писать.

Но все равно я пишу.

Вы скажете — тогда зачем, для чего пи...

Эх, как я ничего не могу написать.

Боже, какая я маленькая.

Вы не думайте, что (*зачеркнуто*) Нет.

Я знаю, что ничего вы не думаете.

Как я устала.

Но я должна писать.

Иля, не раздражайтесь, что я так пишу, я не могу о другом, не могу иначе.

Похоже было, что у меня в голове много комнат, и вот в одной из них, темной, запертой комнате, куда я не хожу или не хочу входить, вы сидели, и вы вышли, рассказали, как будто всё слышав, понимая и чувствуя, а я прохожу мимо.

Теперь так не будет.

Надо думать над тем, что делаешь, я никогда не думала.

Я никогда не писала вам так.

Мне трудно и тяжело писать.

Вот я еще очень маленькая и ничего не понимаю.

Еще в воскресенье, во вторник я писала вам о вокзале, о вороне, бубликах.

Но разве это надо?

Это хорошо, и ворона, и белое дерево, но это не то.

Что же? Что?

И еще это похоже на то, как смотрю на работу, когда мне нравится вот этот кусок, и я говорю себе — Маруся, посмотри на это глазами, какие у тебя будут через пять лет и теперь, ты довольна?

Я так должна говорить себе.

Нельзя быть довольной.

О, Бог мой, о, я отчаянная, что я пишу.

Разве это я хотела сказать.

Опять не то, опять.

У меня всё смешивается в голове, одна мысль на другой, одна карабкается по другой, когда же выберутся и разделятся?

Вы посмотрите, как я пишу, я не могу выводить буквы. Я никогда так не писала.

Что же это?
Я не хочу писать вам. О своей любви к вам.
Я не могу.
Спокойно, Маруся.
Вы это знаете, и об этом уже не надо говорить.
Я вас люблю, Иля.
Во мне твердая уверенность, и не может быть иначе.
Всё определенно и ясно относительно этого.
Только вы мне еще очень чужой.
Только теперь я это поняла.
Я вас люблю только теперь. Нет, еще до вашего приезда.
Это очень много для меня, потому вы говорите, что я «выдумщица»?
Но теперь я уже не могу выдумывать.
Я не могу вам писать — милый, родной. Нельзя так.
Вы не милый и не родной.
Я не знаю, что вы для меня.
Очень много. Очень. Иля, только вы поймите, что всё это не то, что я пишу.
Совершенно не то, что я думаю.
Я спокойна.
Со вчера. Вернее, с сегодняшнего утра.
Откуда вдруг пришло оно.
Я прежде боялась писать вам обо всем, боялась того, как вы отнесетесь. А теперь вот пишу и не боюсь, и всё равно (то есть не то что всё равно, а так), как будет.
Вы должны всё знать.
Всё.
Я вас люблю, и вы должны знать. Иначе нельзя.
Всё плохое и всё хорошее.
Слышите?
Понимаете?
Но я пойму.
Вы, наверно, не понимаете, что я пишу.
Мне кажется, что я сейчас для вас совсем чужая, вы не понимаете и думаете, что я опять выдумала.
Вы скажете — что же это? Что?

Надо просто и ясно.

Но я еще не могу так.

Но знаю, что будет просто, просто и ясно.

Может быть, я ошибаюсь, но пишу так, потому что сама не знаю, как же вы.

Это ужасно так писать.

И потом я все время пишу, что не поймете, что не умею, а о причине-то и совсем нет слов.

Но, Иля, когда я так пишу, вы совсем мне не чужой, а наоборот, так вот, с этими идиотскими словами я подхожу к вам ближе и ближе.

Так вы сделаете.

Вы забудете вот это.

Вы прочтете это из-за меня, для меня, один раз, только один раз и забудете?

Правда?

Тут ничего нет, но, когда я пишу хоть немного об этом словами к вам, мне кажется, что уже всё написала, так много всего.

Вы путаете эти слова и воспринимаете их так, как есть.

А у меня под этими словами еще миллион слов и фраз, и вот почему мне кажется, что я написала всё.

И вот еще, я очень довольна, что у меня нет отчаянья, этого отчаянья, что было когда-то, когда я писала вам и не могла сказать, что хотела.

Я ненавидела тогда вас, себя, всё.

Теперь всё иначе, и я рада.

Я не знаю, как вы относитесь ко всему этому.

Вот я перечитала, что писала вам вчера.

Нет, говорю я. Этого нельзя.

Только сегодня я увидела, что этого не надо.

Не надо безумных писем, не надо.

Я не забыла, что было, я не вспоминала сегодня эти десять дней.

Это были милые и нехорошие, они не те, что будут.

Скажите да, Иля.

Мне это надо.
Я хочу этого от вас.
Я не хочу таких дней.
Ну да, я пишу ерунду.
Вы знаете, что мне тяжело всё же.

У меня нет девяти дней, у меня нет ничего плохого или хорошего из-за вас. Всё ушло.
Всё отпало.
Теперь совершенно иначе.
Вы думаете о нас?
Я — целый день.
Я думаю очень много о вас и о себе.
Всё было так просто и ясно, долго ходила, и всё же многое еще не ясно.
Потом пошла в концерт и опять много думала о вас и о себе.
Мы. Вот.
Что еще? Еще — много.
А что еще много, никак не могла вспомнить, домыслить.
Все равно не знаю. Но так, как было, больше не будет, будет иначе, как — я тоже не знаю.
Я двадцать раз пишу одно и то же.

Но я вам верю, потому я не могу и не представляю, без этого мне уже нельзя.
Я не могу думать о другом.
Вы далеко, и я верю, понимаете, верю, и мне это очень неожиданно. Ведь все время, даже когда вы приехали, я не верила.
И вы верьте мне.
Иля, больше ни одного выдуманного слова.
Да о вере уже не может быть речи.
Это лишнее писать об этом.
Писать об этом — всё равно что писать о скребущейся крысе.
Ведь всё другое, всё ушло, и это есть.

Только вы мне еще очень чужой человек, Иля.

Но ничего, всё уйдет и всё придет.

Друг Иля. Иля друг.

Маруся

Почему мне спокойно, почему не волнуюсь из-за того, что не могу написать как есть.

Столько лишних слов.

Но я выучусь.

Нет, я спокойна.

Я пишу, как могу.

Как могу, Иля.

Иля, если б вы знали, как мне противно вспоминать о письмах с луной и пейзажами.

Мне противно, просто физически противно, вздрагиваю и кривляюсь.

Что я делала? Разве я это писала?

И если вы хотите вместе со мной, то сделайте так.

Так, чтобы больше их не было. Оставьте только фиолетовое и красное*.

Тут нет выдумщицы.

Всё остальное ужасно.

Там я? Понимаете?

Сделайте так.

Но если не хотите, не надо.

Мне просто стыдно, как я могла писать вам так, вам, Иля, которого я люблю.

Нет, Иля, всё это я уже не выдумываю, уже нельзя выдумывать.

Я уж и сама не помню, что здесь писала.

Но я писала, я говорю о правде, как умею.

Как умею, Иля.

Но все равно я люблю всё и плохое, и хорошее, всё, что было с вами.

Так, всё так.

Вы посмотрите, сколько я вам написала и все равно, что хотела — не смогла.

Вот уже пять с половиной. Я очень устала, но спать не хочу.

Сколько я уже пишу.

Иля, мне спокойно. Вот.

У меня разве слова к вам — так, что-то нежное и трогательное, и это нельзя сказать.

А я говорю — милый, родной.

Иля, мой Иля, мне хорошо-плохо. Только я не безумствую, что вас нет.

Маруся

Иля, это ведь ужасно, так много писать. Вот посмотрела, и мне стыдно — столько написать и совсем ничего не... Бог мой.

*Письма, написанные фиолетовыми и красными чернилами.

Ответ на это письмо:

Москва, май 30 [1923]

Девочка, я получил твое письмо. Я очень рад тому, что ты написала. И в особенности тому, что я тебе еще очень чужой. Это значит, что ты уже не боишься говорить о том, что есть. Хочешь говорить об этом и говоришь. Я не отнесусь плохо к тому, что ты пишешь. Я очень тебя люблю, и если я тебе еще чужой, то ты мне совсем родная, я знаю тебя хорошо, ты мой добрый, хороший ребенок, совсем еще маленький, но очень искренний и очень любимый.

Я, конечно, не забуду девяти дней и семи ночей. О многом, может быть, я не захочу вспоминать, но забыть я не смогу и не желаю. И когда ты говоришь, что забыла, то это неправда. Не забыла, девочка. Просто ты решаешь начать «новую» жизнь и хочешь забыть. Но ничего забыть нельзя. Новое это только продолжение старого. Изменено, но не уничтожено. Ты мне когда-то писала, что вдруг начнешь писать большие, огромные письма. Я так ждал их, но

не получал. А вот теперь получаю, и я очень рад. Говорить надо словами, и вот ты заговорила. Это то, что нужно нам обоим. Пиши, как можешь, как умеешь и столько, на сколько тебя хватит, но пиши только тогда, когда захочешь. Не думай обо мне в этом смысле. Письма, написанные без нужды, я понимаю сразу. Они не нужны ни тебе, ни мне. Ты мой милый, дорогой мальчик.

О тебе я думаю очень много. Когда ты меня не любила и я знал это, я думал о тебе иначе. Теперь, конечно, я вспоминаю тебя не так. Я любил тебя прежде не меньше, чем сейчас. Случилось так, что мое чувство сразу заняло всю ширину сердца, я отдал тебе всё и теперь к этому ничего прибавить не могу. Что бы ни было, моя девочка (ничего, конечно, не будет), но что бы ни было, ты у меня на всю жизнь. Ты делала мне очень нехорошо, но я помню это с горькой нежностью, потому что это делала ты. Я причинял тебе боль, но никогда, так же как и ты, я не делал этого нарочно. Ты была горда, и я был горд, всё это встречается в большом количестве у Гамсуна и нисколько не нужно в жизни, не нужно тебе и не нужно мне. Ты меня любишь, потому что я вызвал тебя на любовь. Обо всем этом мы уже говорили. Раньше это было у тебя не настоящее, теперь это настоящее. Я не могу любить тебя больше, чем любил, когда ты меня не любила. Ты это знаешь. Я приехал к тебе тогда, когда меня разрывало от несправедливой обиды, от страшного удара, когда я стоял коленями в песке. Что же еще я могу тебе дать? Мой милый дорогой мальчик. Когда добиваешься того, чего желал, то всегда есть реакция: стоило ли? У меня это тоже было, но очень недолго, полчаса в субботу вечером. Нет, я люблю тебя на самом деле, я рад за тебя, что начала мне писать. Я всегда хотел говорить с тобой, ты всегда хотела молчать. А самые плохие слова лучше молчания в тех отношениях, какие были у нас. Но ты молчала, а я

говорил, не нарочно, а бессознательно, чтобы сделать тебе больно и этим заставить сказать. Сколько у меня было отчаяния: я вот ее так люблю, а она меня не любит и не хочет этого сказать. Ты бы постаралась забыть такое, а я не хочу и не могу, потому что это ты и я. Такие, какие мы есть, без украшений. Нельзя помнить только хорошее. Надо помнить и плохое. И никогда нельзя молчать. Ты говоришь, и что бы ты ни говорила теперь, я очень рад и счастлив. Да, всё должно быть легко и ясно. Сразу этого не может быть, но придет, и этому нельзя и не надо мешать. Не надо запутывать отношений. Зачем? Вот ты написала, что я тебе еще очень чужой. Ну и что же. Разве я меньше от этого тебя люблю? Люблю — это не может быть ни меньше, ни больше. Это одна величина без переменных. Всё остальное только кажется.

Я пишу быстро, без остановки и совершенно не обдумывая. Это всегда было во мне, о чем же мне еще думать? Напиши мне, как ты живешь. Комната и прочее. У меня всё, как прежде. Работаю в газете. Для себя еще ничего не делаю. Это разгильдяйство, и я очень собой недоволен и потому мрачен до безобразия. Надо это прекратить. Твое письмо очень хорошее для меня. Тебе надо выпутываться из разных фикций, сколько я смогу, я тебе помогу. Пиши, только так, как тебе на самом деле хочется. И не бойся ни длины писем, ни слога. Это совершенно не нужно. Предоставь это прозаикам. Письма надо писать плохо. А ты это делаешь чудесно. Побольше, мой мальчик, уверенности в себе. Будь спокойна только тогда, когда спокойствие есть. Выдумок больше нет и не будет. И не надо. Я очень тебя люблю. Очень, очень, как говорили египтяне. Два и десять раз очень. Я вижу тебя теперь каждый день. Большие глаза. Об этом я, кажется, уже писал. Но все равно, напишу еще раз. Целую тебя, моя родная девочка. Если бы сделать это на самом деле, а не в письме!

До свиданья, Маруся. Ты лежала у окна. Глаза были закрыты, и щеки светлые и розовые. Я притворялся, что читаю книгу об Изольде. Это было днем. Но в самом деле смотрел на тебя. Моя маленькая.

Иля

Среда, мая 30-го [1923]

Я очень боюсь и не знаю, что думать, не получив вашего письма.

По моим расчетам я могла получить его в понедельник, вчера и, наконец, сегодня.

Я жду, но его нет.

Я думаю, что завтра вы получите мое письмо, что послала прежде.

Иля, это очень плохо, что писала вам тогда?

Скажите мне, хороший, правду.

Тогда казалось — хорошо. Теперь я не знаю.

Мне очень плохо, Иля мой.

Вот в воскресенье было хорошо.

Но вот вчера, Бог мой, как невыносимо и тупо.

И еще нет письма.

Почему же? Почему?

Я думала, что так уже никогда не будет.

Но так было.

Из-за чего? Я не знаю.

Как я хотела, чтобы вы были.

Боже мой, как я этого хотела.

Но вас не было, и что мне делать.

Это было ужасно.

Иля, мне не очень плохо.

Это пройдет, мой большой Иля.

Я маленькая и ничего не знаю.

Вы большой, больше меня, скажите.

Я так хочу, чтобы вы всё знали, и так не знаю, что пишу.

Это плохо.

Вот был дождь и, наверное, еще будет. Я не хочу, потому что не смогу пойти на концерт.

Я каждый день хожу. Но это не важно.

Отчего иногда так бывает — промелькнет мысль и даже не мысль, а так, укол, на одно мгновение, и вот кажется, понял, вот то, что надо, вот всё.

Но уже поздно, уже ничего, и конец. И опять всё попрежнему.

Иля, почему мне кажется, что всё не так, что надо что-то, что всё не то, а что надо, я не знаю.

Я опять повторяю, что я маленькая. Может быть, не надо так думать. Но что же надо? Что я могу сделать? Ничего.

Жду всю неделю. Даже больше.

Сегодня вторник, и сегодня десять дней, как вас нет.

Но как давно и как долго. Мне кажется, что десять месяцев. Очень, очень много.

Вот дождь.

Иля, Иля, мой хороший Иля.

Я не знаю, что и как будет, если вас вдруг не станет у меня.

Я боюсь об этом думать.

Хочется зарыться головой, закрыть туго глаза, сжать руки и не думать, не чувствовать, чтоб ушло.

Вы даже не знаете, что вы для меня, мой Иля.

Всё.

Понимаете, всё.

Но у вас не произошло ничего плохого.

Ну, Иля, почему мне кажется, что опять плохо.

Неужели так?

Нет, я говорю нет.

Иля, это неправда, то, что вы говорите, — что я люблю, чтобы меня обижали, а потом ходить с оскорбленным видом и мне так нравится.

Неправда, неправда.

Я не помню точно, как вы тогда сказали, но это неправда. Так нельзя.

Мне очень больно, и я очень удивилась, что вы так.

Да. Мне очень больно, для того чтобы любить это.

Я пишу правду. Думаю, что об этом не надо говорить.

11 – 4720

Но ничего. И я молчу, и вот спокойствие, ужасное спокойствие, но иногда бывает наоборот.

Иля, я уже ничего не выдумываю. Я так боюсь и не хочу этого.

Я хочу как-нибудь рассказать. Но потом в конце вижу, что получилось совершенно не то, что думала, и является мысль. Может быть, лучше молчать.

Я ведь не хочу этого.

Я хочу вам всё рассказать. Ведь так нельзя. Вы должны всё знать.

Я хочу одного — любить вас много, сильно и долго.

Навсегда. И так будет.

Иначе я не могу думать. Немыслимо.

Надо... Боже, что надо. Мой Иля, всё будет хорошо.

Скажите да, мой Иля.

Я не хочу говорить вам вы.

Это не просто.

Но когда говоришь ты, иногда лучше сказать то, что...

Нет, вот совсем не то пишу, что хочу.

Теперь я слежу и думаю над всем, что делаю.

И это очень трудно.

Мне кажется, что выдумала опять, я еще не доверяю, я себя не знаю и ничего.

Как совсем чужая.

Но всё придет.

Всё будет хорошо.

Правда?

Вот я получу ваше письмо.

Иля, если б вы знали, как мне жаль уходить отсюда*. Из-за всего. И потому, сколько мы здесь были. И пришли вы сюда. И позировали здесь, мой Иля. Иля.

Как жаль. Я не знаю, но я больше всех люблю эту грязную, оборванную и, может быть, противную для других комнату. И здесь будут чужие люди, где столько была я. С утра до вечера. Я ухожу.

Я не могу рано придти домой. Спать не могу. Делать нечего. Хотя бы на одну секунду перестать думать. Но нет.

Письмо от Или, моего Или.
Может быть, завтра.
Наверно, очень просто то, что вы еще не написали.
Я получу, я всё выдумываю.
Что может быть?
Ничего, Иля, ведь ничего.
Ну скажите мне, Иля.
Иля, вы очень хороший.
Только я так боюсь плохого.
Нет, ничего.
Вот вечер. Каркает ворона.
Совсем похоже на время, когда вы должны придти.
Но вы не придете.
Зачем я так в этом уверена.
Иля, мне хорошо-плохо.
Я так хочу быть хорошим человеком.
Да, письмо.
Вот еще много есть всего.
Всё за сегодня, мой Иля родной.
Иля мой хороший.
Нет у меня слов совсем.

Маруся

*После того как «Коллектив художниц» лишился руководителей, девушек стали выгонять из квартиры на Преображенской (из беседы Г.С. Адлер с С.З. Лущиком, 21.05.1980).

Иля, я уже и не знаю, что писать. Чем больше есть, тем меньше могу.

Иля, родной мой, только любите меня. Марусю.
Любите меня, мой хороший.
Пускай будет нам хорошо.
Я так хочу этого. Так хочу.
Вы ведь тоже.
Правда?
Это ничего, что вас нет. Это ничего.

Мне плохо, только не очень. Может быть, и очень, но я не хочу писать. Не надо. Да?

Я никак не могу остановиться.

И чем больше пишу, и в конце кажется, что совсем не то написала, что хотелось, что есть.

Но вы понимаете, Иля.

Вы ведь всё понимаете.

Нет, не всё, но...

Иля, ну что еще, что?

Я не знаю.

Родной мой хороший Иля.

Любите меня, Иля.

Довольно.

Маруся

Письмо, ваше письмо мне. Скорей.

Вот я и дома. Уже вечер.

Я пишу опять. Иля. Я вам много пишу. Правда?

Мне хочется.

Вот прошел еще один вечер.

Пришла. Увидела письмо на столе. Мне?

Нет, почерк не ваш.

Кто же? Брат.

Почему не Иля?

Почему же не мне от Или?

Когда же?

Жду. Плохо.

Что делать? Не знаю.

Сегодня была на концерте.

Слушала. Одна. Так лучше.

Некоторые сочувственно поглядывают — бедняжка, одна. Я спокойна.

Мне все равно.

Они для меня скамьи, ступеньки, электрические фонари. Дополнение ко всему. Люди. Приятные люди.

Лучше все же на траве. Нет соседей, нет яркого света.

На мне крест, на шелковой тесьме синей — японец.

Что еще? Всё. Что мне надо? Иля. Вот. Иля.

Бог мой.

Но ничего. Вы и так со мной очень много.

Все время.

Они такие маленькие и смешные, смешные.

Однажды мне было так смешно, глядя на них.

Не могла удержаться. Смеялась.

Идиотка, — думали, наверно. Одна и смеется.

Я не очень громко, Иля.

У меня никого, никого нет, кроме вас, и я рада.

Только, Иля, один. Иля мой. Иля, вы мой хороший, мой один, один. Иля родной.

Бог мой, я никогда вас так не любила, как теперь.

Поздно. Возвращаюсь.

Думаю о вас и улыбаюсь, вспоминая.

И говорю тихонько, тихонько — Иля мой.

А вот однажды я видела девушку, чудесную девушку. Тоненькую, с круглой кудрявой и черной головой.

Милая.

И пальцы у нея тоненькие и совсем хорошие.

Девушка. Совсем девушка.

Их так мало, Иля, настоящих девушек.

И наверно, не курит.

И хорошо очень.

Я была ей совсем чужая и не могла заговорить с ней, и не надо было совсем. И розовое милое платье было на ней, в черных крапинках.

И худенькая. Хорошая она, Иля.

Это ничего, Иля, что я пишу об этом?

Я очень хотела бы быть такой. Для вас.

Да, вот такой милой, с серыми и голубыми глазами.

Я очень была рада, что у нее такие глаза.

А у меня нос большой.

Ну, ничего. Правда?

Я ведь тоже не очень плохая. Я не знаю.

Мне так иногда кажется.

Очень плохо, что я так пишу?

Но, Иля, мне хочется.

И любить ее очень хорошо.

Я ведь ничего не понимаю. Но если б я была мужчиной, никогда не полюбила бы женщину, а вот девушку с серыми и голубыми глазами.

Вы понимаете, что я хочу сказать и как хорошо любить милую девушку?

Но я пишу, как умею.

Мне пора спать.

Опять я засиделась.

Только не надо думать — какую она ерунду написала.

Иля, как я все время думаю о вас.

Невыносимо много.

Пускай вам будет хорошо. Я очень хочу.

Но вы мне напишете? Да?

Я чувствую, что завтра тоже не будет письма.

Ничего, я буду ждать.

Всё, мой Иля.

Иля, мой Иля.

Родной, хороший, милый.

Маруся

Одесса, июня 4-го [1923]

Родной, я получила вашу телеграмму.

Вот.

Значит, вы уже получили мое второе письмо?

Так быстро?

Там я в тревоге, что нет письма.

Какая я глупая девочка, Иля.

Правда?

Только вначале я очень испугалась, когда прочла — писал Иля.

Что писал? Когда писал?

Но, наверно, не поставили двух черточек после писал, и было бы –

Писал = Иля.

Тогда иначе.

Да? Так?

Что же может быть теперь дурного.

Не может, — говорю я.

Вы тоже? Конечно.

Друг, мне очень печально.

Сегодня весь день дождь.

Вчера тоже.

Мне так тяжело не быть там, в зеленой, изгрызанной комнате.

Мне так печально.

И это пройдет. Правда?

Как я привыкла каждый день подыматься по лестнице, нашей лестнице...

Ну да, мне трудно пока.

Я вообще очень легко отвыкаю, а теперь не так, и я удивляюсь.

Конечно, здесь иначе.

Вы понимаете, друг?

Это немножко не легко.

Боже, как иногда мне ужасно, когда вспоминаю, как было.

Но нет. Я крепко сжимаю зубы и заставляю улыбнуться.

Я буду много, очень много работать.

Так надо. Всё к лучшему.

Или нет. Я не знаю.

Только вы один у меня, больше никого, никого, и я не хочу любить людей.

Это неправда, что я не помню.

А как я крикнула в ночи — Иля!

И Иля испугался, дорогой, и я чувствовала и слышала, как сильно билось его сердце.

Теперь нет! Не могу.

Целый день с вами, только с вами. Разве есть минута, когда бы вас не было.

Как я нелепо и неожиданно для себя подняла руку, когда поезд двинулся, и я видела уже только белую рубаху и черный шарф.

Вот! Уже! Всё.

Больше ничего.

Исчезло. Конец.

Всё так, родной.
Всё, мой милый Иля.
Вот я девочка Маруся.
Я получила ваше письмо, Иля*.
Как я его ждала. Боже, как долго.
Почти две недели.
Вчера было две недели, как вас нет.
Оно было в пятницу.
На улице темно, темно.
Иля, мой дорогой Иля.
Вот крест, вот чудесный японец, которого очень теперь люблю.
Знаете, я прежде его так не любила.
Теперь страшно люблю.
А крест еще раз оборвался.
Но теперь он на очень крепкой нитке.
Еще есть у меня ваши письма, дорогие письма, Илины письма.
Что же мне еще?
Всё.
Правда, дорогой.
Нет, сейчас мне не очень печально.
Мне холодно. Окно открыто. Иногда тихо, редко каплет с крыш.
И мне даже хорошо.
За весь день.
А днем, как днем было ужасно.
Но я не плакала.
Хотелось, но я не хочу.
Нельзя, Маруся, плакать.
Нельзя, девочка.
Я называю себя девочкой — вас нет.
Иногда я улыбаюсь тихо, тихо вспоминая всё.
Ведь я вспоминаю.

*Письмо Ильфа от 24 мая.

Москва, май 30 [1923]

Маруся, так уже случилось, что мне сейчас опять писать тебе. Только что я был на почтамте. Письмо к тебе полетело в большой чугунный ящик у входа. Но мне пришлось идти мимо стальной типографии на том конце Мыльникова, который выходит на Лабковский. Как всегда, как зимой, здание гудело, как аэроплан. Сколько раз через московский падающий картофельный снег я шел мимо гудения, мимо звона аэроплана и думал о тебе. Я всегда брел и топал мимо здания ночью и вечером и никогда не видел вывески на здании. Я думал, что это шоколадная фабрика, но потом оказалось, что это типография. Но всегда это связано с тобой. Теперь, когда после долгого периода времени я снова шел мимо нее, меня отбросило к той, какой я любил тебя прежде.

Значит, мне надо писать тебе, потому что хочется. Ты дала мне прочесть те пять писем, которые я писал тебе в Одессе. Они мне очень не понравились. Кажется, их не нужно было писать. Теперь я пишу тебе, только когда сам хочу этого, когда не могу не писать.

Мой друг, мой искренний мальчик, что стало со мной. Я знал многое до тебя, очень многое. Я знал голод. Очень унизительный — мне всегда хотелось есть. Мне всегда очень хотелось кушать. И я ел хлеб, утыканный соломой, и отчаянно хотел еще. Но я притворялся, что мне хорошо, что я сыт. По своей природе я, как видно, замкнут и отчаянно уверял, что я не голоден, в то время когда ясно было заметно противоположное. Я знал страх смерти, но молчал, никому не говорил, боялся молча и не просил помощи. Я помню себя лежащим в пшенице. Солнце палило в затылок, голову нельзя было повернуть, чтобы не увидеть того, чего так боишься. Мне было очень страшно, я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить. Зимой у меня отваливались

пальцы, дул ветер, мне было очень холодно, всегда холодно и никогда тепло. Я перестал говорить и замолчал. Всё мне было противно и скучно. Я не искал ничего, я был сам в себе и для себя. Зимой я видел тебя. Но ты была наравне со всеми. Я смотрел в большие глаза и нес чепуху. Было холодно, моя девочка, изумительно и нехорошо холодно. Я не хотел ничего и никого. Поэтому пять минут разговора с тобой, пять минут тяжелого веселья, когда вовсе не хочется смеяться, и опять дальше под ветром, по твердому снегу и стеклянным камням. Один, как всегда.

Сентиментальность была заколочена. Но летом — ты. Вот, кажется, всё, что я хотел написать. Даже не хотел, так как не знал, о чем я буду писать, когда начинал. Просто — люблю тебя. Всё в тебе люблю. Я вспомнил то, что было, и то, чего ты, быть может, и не знала. О том, как мне было, когда тебя со мной не было.

Всё. Пришли какие-то скотины и мешают мне. Допишу в другой раз. Целую мою милую Марусю. Твои пальцы, худые руки, мой добрый мальчик.

Иля

Июня 5-го [1923]

Вот сейчас я получила ваши книги.

Теперь утро, солнце и хорошо.

Сейчас я пойду куда-нибудь, и будет чудесно.

Правда, Иля.

Вот всё.

Больше не надо писать.

Какие люди нехорошие, Иля.

Ну, зачем забрали комнату?

Ну, за что?

Иногда я становлюсь очень зла из-за этого.

Но всё не важно.

Всё будет прекрасно.

Только если б комнату.

Боже, как много я об этом пишу.

Но вам можно, — говорю я.

Маруся

Иля

Москва, июнь 1 [1923]

Слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. То, что писали два года тому назад на знаменах, теперь сахарной цепью выводят на яблочных пирогах Моссельпрома. Я думаю, что наши отношения уже не пахнут кровью. Это не значит, что хочу сделать их сахарными. Меня немного смешит мое серьезное вступление. Я даже думаю, что оно тут вовсе не у места. Просто это мои слова, которые я сказал, заглядевшись сегодня на башню из теста, на которой были написаны лозунги. Тогда я сказал: Слова, написанные однажды кровью, во второй раз пишутся сахаром.

Но дело вовсе не в крови и не в сахаре, а дело в тебе и во мне, в любви и огорчениях. Моя маленькая, я не говорю — не надо мучиться, — потому что не хочу и не могу указывать, что надо и чего не надо. Я не хочу быть тебе чужим. Кажется, надо писать — быть для тебя чужим. Но мне лень править. Такая досада, что я сейчас не могу написать того, что я думал о тебе и обо мне. О нас, как ты написала. Я не могу вспомнить. А там было что-то такое, что ты сразу поняла бы. Но я напишу еще об этом, когда вспомню. А про девять дней, то, как хочешь, я забывать не хочу. Я не думаю, что они были очень плохи. Это значило бы, что те дни, когда ты была со мной, были плохи. Какие же были хороши? Те, в которые я тебя не видел? Свое предыдущее письмо я не кончил. Не знаю, буду ли продолжать здесь. Не буду. Сейчас не хочется.

Вот это письмо привезет тебе Олеша. Это мой теперешний большой приятель. Его зовут Юрий Кар-

лович. Он очень мил, но не всем его словам можно верить. Попросту он много и хорошо врет. Не продай меня перед ним и не пребудь на виду его в диком молчании, как это было с тобой у Цакни*. Если он будет говорить обо мне хорошо, не верь ему. Меня надо много и долго ругать. Я учил тебя искусству жить, но сам живу немного иначе. Мне стыдно, и я мрачен. Покрыт тучами. Это пройдет. Ничего не делается сразу. Если захочешь и он будет настолько любезен, передай с ним письмо ко мне.

Для меня был бы ослепительный кусок счастья, если бы вместо него в Одессу поехал я. Но есть слово — нельзя, и это нельзя направлено против меня. И ослепительный кусок счастья летит и падает мимо.

Маруся, девочка, время идет быстро. То, что я был в Одессе, уже очень далеко позади. Теперь уже нельзя, отказавшись от обеда у тетки, идти к тебе и, войдя в твою комнату, увидеть тебя и удивиться, как удивлялся каждый раз, когда входил, — это Маруся, моя Маруся. А потом сидеть на мраморе и смотреть на светлое дерево. А рядом Маруся, моя Маруся, которая меня, наконец, любит, как я любил ее всегда.

Если ты уже получила книги, то, читая, достоинства или недостатки выбора не приписывай мне. *Эпилог* я, правда, читал, он хорош. А остальное я не знаю. Целую тебя, мой мальчик, извини за слово целую. Но другого нет. Да, я тебя целую.

Твой Иля

Извини за «твой» тоже. Но я твой.

*Анна Николаевна Цакни, дочь редактора одесской газеты «Южное обозрение» Н.П. Цакни, первая жена И.А. Бунина, вторым браком была замужем за Александром Михайловичем Дерибасом (1856–1937), внучатым племянником основателя Одессы. Всю свою жизнь он занимался историей родного города, его очерки, посвященные старой Одессе, публиковались в одесских газетах и журналах вплоть

до середины 1920-х годов. Он был директором городской публичной научной библиотеки (1922–1924). В доме Цакни–Дерибаса (Херсонская ул., 44; потом ул. Пастера) в 1920-х годах устраивались вечера, на которых бывали известные писатели, журналисты, художники, артисты. И (как видно из письма) молодое поколение.

Москва, июнь 4 [1923]

Моя маленькая, я не знаю, что случилось. Я послал письмо 24, кажется. Потом еще два письма в один день. Потом книги, чтобы ты не скучала. И когда вчера пришла телеграмма без подписи, я не знал, кто ее мне послал — ты или папа. Я отправил две — одну тебе и папе. Одинакового содержания и очень сухие. Если бы я знал, что это ты. Неужели я спутал адрес. Кажется, этого не было. Я думаю, что мое первое письмо еще дойдет. Десять дней ты не получала писем и ждала. Моя девочка, разве я знал. Это письмо, которое сегодня, уже второе от тебя. Я тебе уже писал, как отношусь к ним. Неужели ты думала, что я тебе не писал. Я тебя очень люблю. Я написал рассказ *Повелитель евреев*. Я тебе его завтра пошлю. Я хотел писать вовсе не о том, что написал, но написал о нас — о тебе и обо мне. Иначе у меня не вышло. Я тебя очень люблю и не смог написать ничего другого, как о тебе. Это письмо пойдет простым порядком. Такая досада, что я не могу отправить его спешной почтой. Ты получила бы его на третий день. А так на пятый. Но я стал беден, и марка, наклеенная на конверт, это моя последняя почтовая марка. Но не бойся ничего, 10-го я снова стану богат и буду писать письма, которые будут идти только специальной почтой. Мне кажется, что для рассказа я обокрал все мои письма к тебе и особенно последнее, где я писал о шоколадной фабрике. Но это ничего? Ничего или нельзя так?

Но ты прочтешь этот рассказ и увидишь сама, стоило это делать или не стоило. Вчера пришла твоя

телеграмма. Значит, до вчера ты не получала писем? Ведь я писал три раза.

Моя девочка, ты совсем одна, вот что нехорошо. Моя девочка, я тоже не умею написать то, что думаю. Я стараюсь сделать как лучше, мне почти никогда не удается это сделать. Когда мы вместе, это было лучше. Взять твой палец и этот палец поцеловать. Это больше, чем можно написать на четырех страницах, которые я дописываю, ничего не сказав. Да, девочка, я люблю тебя. Я знаю, что любовь недоверчива и всегда спрашивает, поэтому я не удивляюсь твоим письмам, а только говорю да, да, да. Я всегда сам спрашиваю, и тебе лучше знать, сколько раз я это делал.

Я всегда тороплюсь, когда пишу тебе, и всегда забываю главное. Девочка, моя маленькая Маруся, ты пишешь чудесные письма, а спрашиваешь, не плохие ли они? Я отвечаю — нет, нет, нет. Не пиши иначе, чем ты думаешь, и письма твои всегда останутся для меня тем, что они есть. Самое дорогое от самой дорогой девочки. К концу письма приберегают поцелуи. Мне стыдно писать об этом и немного неловко. Т.е. не стыдно, а я просто плохо напишу. Ну, целую очень, очень, пальцы, губы, сгиб на руке и худое милое колено в синем чулке с дырочками. И синее платье, на котором тоже дырочки. И помню белую рубашку, в которой ты была на вокзале. Моя маленькая, я очень тебя люблю. Пиши мне.

Твой Иля

Москва, июнь 5 [1923]

Моя маленькая и большая

Вот рассказ, который вышел рассказом о нас. О тебе и обо мне. Если он тебе понравится, я буду этому очень рад. Я вчера писал тебе. Не скучай, моя девочка, если можешь. Я жду писем от тебя. Я получил уже их два. Очень, очень целую твои руки.

Иля

ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕВРЕЕВ

Автограф

1

В Брянске шел дождь, за Брянском толпилась весна. Я заметил ее только у Нежина. Причиной этому послужили четыре мебельщика, которые ехали в одном купе со мной.

Толстую даму — моего пятого спутника я тоже не забуду. Я ненавидел ее все время, которое необходимо скорому пассажирскому поезду, чтобы пройти расстояние от Москвы до Казатина. В Казатине она собрала свои вещи и ушла. Только тогда я смог опустить оконную раму.

— У меня тридцать восемь градусов, — сказала толстая мануфактурщица на Брянском вокзале, — я могу простудиться, если этот ветер будет продолжаться.

Раму подняли, и до Казатина воздух, разгорячаясь всё больше, быть может, послужил поводом к тем событиям, о которых мне надо здесь сказать.

Это главная цель моего рассказа. На протяжении полутора тысяч верст я был повелителем четырех мебельщиков. Мне воздавали почести. Я имел подданных, которых держал в страхе. Четыре моих спутника лежали на моей ладони, как воробьи, выпавшие из гнезда.

Сахар стал для них солью, а дни их почернели. Мое маленькое княжество образовалось в одном из купе поезда № 7, который от Москвы валился на юг, продираясь сквозь кустарники со скоростью сорок верст в час, а иногда и меньшей. Мануфактурщицу я мог уничтожить, но не сделал этого.

— Иля, — сказал мне пятнадцать лет назад один мой приятель с расстегнутыми спереди, как и у меня тогда, штанами. — Иля, будем ухаживать за девочками. В «Детях капитана Гранта» я читал, что нет большего счастья, чем это!

Я сентиментален и простодушен. С тех пор разговор с женщиной я считал за счастье. Потом я увидел, что не всегда это так. Маленькие девочки превращались иногда в несносных дам. Но уважение к женщине у меня осталось навсегда, и поэтому я терпел своенравие мануфактурщицы.

Все-таки если мне придется на моей жизни еще раз встретиться с ней, я буду этому рад. Имена, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром. Я понял это, когда увидел башню из сладкого теста в магазине Моссельпрома. Девиз, написанный на знаменах дивизий, был повторен сахарной цепью на сладком тесте.

Нет ненависти, которая не превратилась бы в воспоминание. А воспоминания приятны, и уже теперь мне кажется, что мануфактурщица была прелестной дамой.

Когда я вошел в купе, эта прелесть лежала на нижней полке. Против нее сидело двое мужчин. Моя полка находилась над ними. Еще двое, от которых я видел только спины, перевесились за окно и быстро кричали прощальные слова.

Мне не с кем было прощаться. Серые и голубые глаза и полосатую карамельную юбку я мог увидеть только там, куда ехал. Остальное не было важно для меня.

— Можно мне опустить полку?

Двое сидевших подняли головы. Двое прощавшихся обернулись. Поезд задрожал и сдвинулся.

Я лег, чтобы думать о том, для чего ехал.

2

Он пришел ко мне, когда я спал, и застрелил меня. Когда я умер, он вынул из кармана моей рубашки письма и стал их читать, сев на мои мертвые ноги. Я увидел знакомый, высокий и нежный почерк, и начал осторожно поворачивать голову, чтобы в последний раз прочесть то, что мне писала Валя. Я уже прочел свое имя. Для того чтобы читать дальше, надо было шире раскрыть глаза, и, раскрыв их, я проснулся. В купе было жарко. Я видел плохой сон.

Тело мануфактурщицы было неподвижно. Зато остальные четыре моих спутника говорили о мебели.

Они говорили о ней на русском языке, и когда им казалось, что слова их недостаточно убедительны, то они немедленно переводили их на жаргон. На жаргоне они объяснялись прекрасно. Эпитеты их были энергичны, фразы коротки, и мебель, которой они торговали, описывалась ими с большей силой, чем это удалось сделать Гомеру в описании дворца Приама.

Их было приятно слушать. Стулья из бедного ясеня расцветали, покрывались резьбой и медными гвоздиками. Ножки столов разрастались львиными лапами, под каждым столом сидел добрый библейский лев, и красный лев лежал на стене Валиной комнаты, дрожа и кидаясь каждый раз, когда огонь вылезал из-под кучи спекшегося в печке угля.

Тяжелый, как поезд, на повороте кричал трамвайный вагон, тяжелый вагон бежал по кругу, в центре которого была комната. А в комнате на стене — дрожащий лев. Я молча глядел на него, с плеча катилось дыхание Вали, и в дыхании я разбирал слова, от которых сердце падало и разбивалось с тонким, незабываемым звоном стеклянного бокала.

Когда я во второй раз проснулся, стекла вагона еще звенели от резкого торможения. Разбивая стрелки и меняя пути, поезд подходил к брызгающему огнями Малоярославцу.

Свесив голову, я заглянул вниз. Мануфактурщица, стеная, пила чай, а мебельщики копошились над курицей.

Я был набит добрым чувством к мебельщикам. Они мне нравились. Я еще не знал, что через час смогу распоряжаться ими, как захочу. Я относился к ним как равный, и если не выступал в их беседу, то только потому, что мне нравилось любить их молча.

Мое молчание принесло неожиданный плод. Оно встревожило мебельщиков. Обглаживание курицы и разговор на русском языке прекратились. В действии остался один только жаргон.

Но я уже не слушал. Поезд валился к югу, от паровоза звездным пламенем летел дым, голова поворачивалась вправо и влево, и от жары в купе стоял легкий треск.

Жара делает людей резкими на суждения и опрометчивыми в поступках. Во всем, конечно, была виновата ману-

12 – 4720

фактурщица. Я уверен, что, если бы рама была опущена, не произошло бы того, что случилось и слова, которые так меня изумили, ворвавшись в мой слух, не были бы сказаны.

3

Они ошиблись. Жаргон я понимал, а чекистом никогда не был.

Я испробовал много профессий и узнал стоимость многих вещей на земле. Я узнал страх смерти, и мне стало страшно жить.

Я был солдатом и штурмовал бунтовщицкие деревни. Разве я когда-нибудь забуду блестящий рельс, через который перепрыгнул, и огромного человека, ждавшего меня внизу под откосом? Штык его винтовки провалился, когда я выстрелил, и этого забыть нельзя.

Я узнал любовь, и разве я когда-нибудь забуду картофельный снег, падавший на Архангельский переулок, в котором я топал по ночам, потому что там лучше всего вспоминались худые, вызывающие нежность руки?

Я работал на строгальных станках, лепил глиняные головы в кукольной мастерской и писал письма для кухарок всего дома, в котором жил, но чекистом никогда не был.

Однако мебельщики поселились в воображаемом мире, мир был полон духоты, догадка в нем немедленно становилась уверенностью, и я был для них чекистом, человеком, который может отнять дубовые стулья и комоды из сосны, сделанной под красное дерево.

Поля почернели, тучи были спущены с цепей, и ветер заматывался в спираль. Громкий разговор о моих преступлениях продолжался в горячечной духоте.

Я узнал, что расстрелял тысячу и больше человек. Все эти люди были добрыми семьянинами и имели хороших детей. Но я не щадил даже детей. Я душил их двумя пальцами правой руки. А левой рукой я стрелял из револьвера, и пули, выпущенные мною, попадали в буфеты, сделанные из дорогого лакированного ореха, и вырывали из них щепки.

Мебельщики называли даты и города, где я все это проделывал. Они были возбуждены, и единодушие их раскалывалось только иногда и только в мелочах.

Я насиловал женщин. Это установила мануфактурщица. Да, я погубил не одну девушку. Предварительно я разрывал на них платья из синего шелка, которого теперь нигде нельзя достать. На синем шелку были вышиты желтые пчелы с черными кольцами на животах. Я много порвал такого шелку и многим девушкам показал жизнь той стороной, где были не пчелы, а только боль пчелиных укусов.

На поезд напала гроза, за поездом гналось убийство. Молнии разрывались от злобы и с угла горизонта пакетами выдавали гром. Внизу мне приписывали поджог двухэтажного дома.

Час захвата власти настал. Я сел и спустил ноги вниз.

— Евреи!

Я ликовал и говорил хриплым голосом:

— Евреи, кажется, сейчас пойдет дождь!

Ни одна тронная речь не была так незначительна, как моя. Однако ценность вещи зависит от того, кто ею владеет. Слова приобретают значение в зависимости от места, где их произносят, и языка, на котором говорят.

Я сказал их по-еврейски.

4

Дни мебельщиков почернели, и жизнь их стала им как соль и перец. Я думаю, что они тоже не заметили весны, толпившейся за Брянском.

От Брянска и до низкорослого вокзала в Одессе они лежали передо мной животом на полу. Я обнаружил свое знание жаргона, но не сказал больше ничего. Меня продолжали считать чекистом.

Меня боялись и готовы были дать мне удовлетворение в том виде, в каком я захотел бы его взять.

Я узнал, чем славна каждая станция. Их деньги стали моими деньгами, а мое желание было их действительностью.

Моя полка возвышалась Синайской горой, и так как гроза еще продолжалась, то мои приказы я давал через гром и при свете суетливых молний.

Но если десять скрижальных заповедей тянули первобытный народ к небу, то мои заповеди притягивали его к земле. Путешествие вызывает голод и жажду. В Одессу я приехал набитый пищей.

В Сухиничах я ел кислые яблоки.

— Кушайте, — сказал мне один из мебельщиков, — вам станет прохладно и кисло. — В его словах я услышал иронию. Этот долгоносый старик с длинными глазами был немедленно наказан.

Я приказал ему рассказывать вслух Ветхий Завет, который я плохо знаю. И пока поезд катился мимо облитых белым цветом деревьев и, как искра, проскакивал полустанки, я узнал, в какой день на небе затряслась первая звезда и в какой была сотворена щука.

В Кролевце я пил вино. Когда я пил вино, Сара сидела под зеленым дубом, и мебельщик передавал мне разговор, который она имела с тремя молодыми ангелами.

Я узнал славу каждой станции. Мне приносили кирпичики из масла и белое молоко в шершавых глиняных банках. В Нежине моим трофеем был маленький бочонок и сто едва посоленных огурцов, которые лежали в бочонке.

Я довольствовался немногим, хотя мог получить все. Но в одном я был требователен и беспощаден. Долгоносый мебельщик не имел права прерывать рассказы из Ветхого Завета.

Ко второй ночи его длинные глаза покрылись красной сеткой, и голос его колебался, когда он дошел до описания ямы, в которой лежал Даниил.

Над ямой стояли львы и смотрели на Даниила зелеными глазами. А Даниил валялся с засыпанным землей ртом и жаловался львам на негодяев военачальников Вавилона. Львы слушали и молча уходили, а на их место приходили другие, и на пророка снова глядели зеленые глаза, и Даниил опять кричал и плакал. Во рту его были земля и песок, и песок и земля были во рту мебельщика, когда, крича и плача, он рассказывал мне про несчастья Даниила.

В окне на мгновение останавливалось зеленое цветенье светофоров и молча уносилось назад.

Колеса били по стыкам, и пока поезд падал на юг, пока паровоз кидал белый дым и проводники, размахивая желтыми квадратными фонарями, ходили по темным вагонам, там, куда я ехал, еще ничего не знали.

Там еще ничего не знали, а я уже скатывался к югу, колеса уже били по стыкам, зеленый огонь в светофоре, приближаясь, сделался огромным, и влетевшие в него вагоны запылали.

Зеленый горящий одеколон навалился на меня сразу, и, задыхаясь, я прорвался через сон.

В вагоне уже не было никого. Мои подданные удрали первыми. Я был на вокзале в Одессе. Путешествие мое окончилось.

5

Я увидел серые и голубые глаза и, когда увидел, забыл все, что случилось в поезде № 7, на который в Брянске напала гроза. Я забыл молнии, произведенные этой грозой, и власть, которую имел над четырьмя торговцами мебелью.

Мы сидели на подоконнике, и я говорил:

— Сколько раз ночью я шел под высоко подвязанными фонарями, переходил каток и выходил в Архангельский переулок. На виду золотой завитушки масонской церкви и желтых граненых фонарей было лучше всего вспоминать о тебе.

Я знал голод и страх смерти. Я ел колючий хлеб и никогда не наедался. Разве я когда-нибудь забуду сны, которые я видел в то время. Я видел только муку. Она стояла мешками, и, когда я подходил к ней, сон, треща, разваливался. И я просыпался в невыносимом свете прожектора, который обливал комнату.

В то время была война, и из-за нее я узнал страх смерти. Разве я когда-нибудь забуду битое стекло, сыпавшееся из расстрелянных окон поезда, убегавшего из-под обстрела. От пяти часов вечера и до шести я знал страх смерти. Потом я

узнал его еще много раз и уже не помню, как я могу забыть поле, разорванное кавалерией, и звон сыплющегося стекла.

Я также узнал любовь, которая стала мне тяжелее, чем голод и страх смерти. Это моя любовь к тебе. Я написал ее кровью. Но больше так писать не хочу. Поэтому я бросил астраханские башни Кремля и приехал к тебе, чтобы на этом подоконнике мы сидели вместе.

На пароходах разбивали склянки, и бродившие на окраинах собачьи стада задавленно и хрипло кричали «ура».

Когда зеленый коралл, стоявший против окна, от утреннего света снова стал деревом, Валя сказала:

— В тот день, когда ты приехал, возвратился домой мой папа. Если ты хочешь, мы можем сегодня пойти к нему. Он будет очень рад видеть тебя, хотя очень утомлен дорогой. Всю дорогу он не спал.

— Почему же он не спал? — рассеянно спросил я.

— К нему пристал какой-то чекист и для своей забавы заставил его всю дорогу читать Библию.

— Сегодня? — Я пошел в угол комнаты. — Сегодня? Нет, сегодня я занят и не смогу.

Я так и не пошел к нему. Но мне придется пойти, и я выжидаю своего времени. Я думаю, что меня встретят хорошо, ибо слова, раз написанные кровью, второй раз пишутся сахаром.

Одесса, июня 11-го [1923]

Иля, я получила всё, что вы мне послали. Всё, родной.

Телеграмм я не посылала. Это, наверно, ваш папа. Видите, какая я глупая.

Ведь я знала, что вы напишете, а так писала. Но тогда я не могла иначе. Вы ведь понимаете.

Рассказ я получила.

Конечно, это ничего, что вы пишете о письмах.

Мне нравится рассказ.

Больше я ничего не напишу, но мне нравится.

Вы, мне кажется, знаете, почему не напишу.

Сейчас я... Нет, ничего.

Но всё хорошо, Иля.

Я помню вечер, когда мы сидели на подоконнике.

Вы были без очков.

И вы были маленьким, милым и очень хорошим.

И главное — очень близки мне.

Совсем не чужой.

Ни капельки. Это было мне очень хорошо и странно.

Я не могу сказать, как это было.

Но это было, как никогда.

Я пишу вам, Иля, моему Иле, и это всё. Вы всё понимаете ведь, Иля ты.

Я помню вечер, когда был туман и было сыро. Я вышла. Вот уже желтые фонари.

Пошла дальше.

Дальше, около лавочки, в которую я шла, я встретила Илю с девушкой.

Девушка была маленькая и в ботах.

Мне неприятно, но я буду писать. Я хочу. Пускай.

Да, на Иле был белый шарф, который еще не видела.

Ничего не было.

Я сказала — эта девушка маленькая, и у нее серые и голубые глаза, и зовут эту девушку Валя.

Она очень милая, эта Валя, — сказала я.

Теперь темно, но у нее серые и голубые глаза.

Она приехала? Не знаю. Может быть. Все равно.

Это та Валя?

Хорошо. Очень хорошо.

Вот всё. Иля в белом шарфе, чужой, странно махнул ей рукой и сказал — идем.

Девушка маленькая и в ботах ушла с Илей.

Вот всё.

Потом я забыла, и потом это была не она.

Это была другая девушка.

Конечно.

Но когда я прочла в рассказе — Валя, я сказала — что? Когда? Что я не могу вспомнить?

Потом я вспомнила.

Я видела, как мы стояли, и вот сейчас вижу.

Но всё это не важно.

Но тогда была девушка Валя. Так и осталось — маленькая и боты.

Больше ничего.

У меня есть дни, перечеркнутые красным и синим карандашом.

Есть дни, которых нет.

Есть дни, на которых туман и сырость.

Вот этот один такой передо мной.

Надо слово или движенье, чтобы его вспомнить, так как его нет.

Вспомнила и написала.

Я хотела и написала.

Странно. Всё так.

Зачем, для чего?

Ну, зачем?

Что же еще, Иля?

Маруся

Иля мой, я очень, очень люблю вас.

Мне кажется, что я в первый раз говорю вам об этом.

И вы мне теперь очень близко, как тогда на подоконнике.

Но вот только теперь, да теперь, я вижу, как я люблю вас.

Совсем по-другому, совсем иначе.

Я открываю широко глаза и говорю –

Я люблю Илю. Понимаешь, ты любишь Илю. Любишь, любишь.

И мне очень страшно и хорошо.

Хотя все должно быть просто и ясно.

Но это так, как не всегда, дорогой мой Иля.

Иля. Вы очень хороший.

И вы не знали, что я получила всё, что вы послали.

Я хочу вам об этом написать.

Иля, у меня будет десять чудесных кистей. Понимаешь, десять прекрасных кистей. Я страшно, страшно рада. Очень.

Сегодня у меня хороший день — ваше письмо и кисти.

Мне очень, очень хорошо.

Кисти замечательные. Десять. Большая, меньше, меньше, меньше и совсем маленькая и тоненькая.

Ну как чудесно, Иля.

Правда, мой дорогой, милый, хороший Иля.

Вы мне писали — голубчик.

Иля. Мой родной Иля, как я вас люблю.

Как бы я хотела, чтобы вы знали, как сильно, крепко и много.

Я писала прежде днем, а теперь ночь, очень хорошо, я устала, и мне пора спать.

Иля, милый, милый.

Иля, ей-богу, у меня глаза совсем не серые и голубые. Я знаю, вам так нравится. Мне очень жаль, что не серые и голубые, но что я могу сделать. Может быть, у меня волосы синие и черные? Или нет? Не сердитесь, родной. Мне сделалось вдруг очень весело, Иля.

Июня 12-го [1923]

Иля, сегодня я получила книжки. Спасибо, родной.

Но я больше не хочу этого. Я не хочу больше книжек. Вам нужно там деньги, конечно, а это стоит дорого, и я не хочу, чтобы больше так.

Не надо, мой Иля.

Я очень, очень рада им, но я не хочу.

Ведь вы мой Иля.

Вот всё.

Я писала вчера днем, ночью и вот сегодня опять, утром.

Иля, вы мой хороший, милый и хороший.

Ну что же еще?

Мне хочется писать, но я уже не знаю, как. Не надо, Иля, книжек.

Не надо, родной.

Маруся

Ответ на письмо Маруси от 5 июня:

Москва, июнь 8 [1923]

Моя хорошая и удивительная. Тебе очень нехорошо без комнаты? Да, я знаю это. Значит, ничего этого уже нет и не будет. Шелковых кресел и травяного дивана с пружиной. Моя маленькая, мне очень плохо. Я совсем не понимаю, как это могло случиться, что ты так долго не получала писем. Но ты не думала обо мне плохо? Ты ведь знаешь, девочка, как и сколько тебя любят. Мы обменялись. У меня твоя карточка и кружок волос, а у тебя крест и японец. Об этом японце я написал для тебя рассказ. Он здесь же. Я, кажется, этим не ограничусь.

Я очень рад, что ты полюбила Чина, он так назван в рассказе. У меня о нем хорошие воспоминания. Ты его грызла и кусала. Я, кажется, буду писать о нем долго. Уже теперь мне хочется написать о нем еще один рассказ. Если мне будет очень хотеться, я это сделаю. Моя Маруся. Прочти рассказ.

Мне кажется, что японец вышел похож. Я больше не могу писать. Я сейчас лягу и буду думать о тебе. Я послал тебе две хорошие книги. Не скучай, моя маленькая.

Твой Иля

Я получил, кажется, все твои письма. Почему же мои не дошли. Сейчас я вспомню, сколько их было.

Сначала одно, потом два, потом книги, еще после письмо с Олешей, потом телеграмма, потом письмо с рассказом о нас, потом еще книги.

Получила ли ты всё это. Я, кажется, что-то забыл. Как бы я хотел дотронуться до твоей руки. Взять ладонями за лицо. И сидеть сбоку и смотреть. Девочка, это я, тебя люблю. Мою маленькую, белую и розовую, это ведь я люблю.

ЛАКИРОВАННЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК

Колониальный рассказ

Ганди оказался болтливым.

Он слизывал пену с бокала и говорил:

— Вот я пью ваше пиво. Я знаю, что вы хотите меня напоить. Но вам это не удастся. Человека, пившего горячую китайскую водку, ничего уже больше не берет. А я пил ее четыре года, до того самого дня, когда хотели украсть Чина.

Я перебил его:

— Кто такой Чин?

— Это потом. Мне просто не повезло. Компания «Океанское побережье» дала мне самый плохой участок. Они знали, что я без работы и пойду на все. И я должен был жить среди желтых китайцев. Их было больше, чем желтых шпал под рельсами, которые я прокладывал в этой проклятой стране. Вы все, молодые, думаете, что Китай — изящная и гармоническая империя. Боже мой, если бы вы посмотрели на эту империю небес — одна желтая ночь, разорванная дымом и лихорадочной тряской.

Я снова прервал Ганди:

— Расскажите лучше про Чина! А про Китай я узнаю после!

Ганди толкнул стол и обругался:

— Идите к черту с вашим Чином!

Ганди нельзя было отпускать, он много знал. Я извинился.

Огонь сползал по его папиросе, так быстро он курил.

— Вы меня не купили, и я вам не продался! Я буду говорить только о том, что захочу. И откуда вы знаете, что рассказ о Китае — не рассказ о Чине? Выйдите на Лялин переулок, заверните во вторые ворота слева, толкните дощатую дверь и войдите в прачешную Чи-Ао. Вы увидите диких,

желтых китайцев. Вы смогли бы жить с ними вместе? А я жил четыре года только с такими. Компания «Океанское побережье» давала мне большие деньги, но я не остался. Какие деньги могут удержать человека в Китае, если он хочет жить в Москве? Налейте мне еще пива!

Ганди пил и болтал:

— Благодарите Бога, молодой человек! Если бы вам пришлось четыре раза перезимовать в Китае и иметь своим собеседником только дурака-шведа, вы поняли бы, сколько можно собрать ненависти против желтого народа в синих рубахах.

Дайте сюда бутылку, я расскажу вам, что было. Я бил их короткой, несгибающейся палкой. Они знали, что револьвер лежит в кармане моей куртки, слева, и молчали. Они терпели все. Однажды я пришел к ним в храм. Какая это была гадость! Засаленный зеленый шелк лежал на полу, и по нему ползали жуки. Что это была за гадость! Но я увидел там одну хорошую штуку — китайца, длиной с палец, вырезанного из кости и покрытого красным лаком. Он сидел, поджав ноги, а руки его были сцеплены над головой, и рот открыт. Он кричал без перерыва. Это был их бог. Я взял его и опустил в левый карман, туда же, где лежал револьвер. Китайцы это хорошо знали.

Европейца, особенно служащего в английской компании, опасно трогать. Китайцы только просили и плакали. Они ревели и унижались. Но я не валял с ними дурака. Костяного бога я им не отдал.

Вот он, если вы хотите его видеть. Он орет так же, как орал прежде. Возьмите его и подарите своей невесте, если у вас есть такая. А если нет, оставьте его для себя, на память о великодушном Ганди из Китая.

Ну, что вы думаете, сделали китайцы? Они отобрали этого крикуна силой? Вы плохо знаете этот народ! Когда я уходил, они только выли.

В Китае надо быть осторожным. Своего дурака-шведа я нашел однажды покрытым муравьями. Они спускались на его постель по веревочке, переброшенной от муравейника через крышу. Их была тысяча, и еще сто тысяч шли за ни-

ми. Муравьи не слопали шведа — я заметил проделку китайцев. Но если не злые насекомые, то хороший клубок змей был вам всегда готов.

Нет, спасибо, я пока не хочу пить. Так вот. Револьвер всегда лежал под моей подушкой. Если вы спите на левом боку, то правая рука у вас свободна. Я приучил себя спать только так. Но спал я мало. Китайская ночь — это желтая ночь. Плохо спится, когда живешь за тысячу верст от морского побережья. Мне дали самый дрянной участок. Каждую весну линию заливало водой, и мой дурак-швед носился на лошади, как будто этим можно было чему-нибудь помочь. А Герд, тот никогда ничего не делал. Он всегда вел себя, как мальчик, особенно в истории с костяным крикуном.

Китайцы очень хотели заполучить своего бога обратно. Когда в четвертую весну опять накидало воды и рельсы исчезли под водой, они подняли страшный крик. Они приходили ко мне и говорили, что вода не сойдет, если я не отдам бога. И Герд был вместе с ними. Он тоже хотел, чтобы лакированный бездельник возвратился в глиняный храм и снова сидел там, среди смехотворных рыжих драконов.

Вы думаете, мне нужен был этот бог? Он приносил мне столько же удовольствия, сколько это пиво. Что для меня пиво, если я пил китайскую водку? Она так режет, будто вы вспарываете себе ножом живот. Бога называли Чин. Собственно говоря, это не был даже бог. Так себе, находка! Его нашли, когда прокладывали линию. Три дня его мыли с разными процедурами, а потом построили ему дом, и главным жрецом оказался Жен-Кио. А какой из него жрец? Жен-Кио всегда воровал олово и прятал его в кустарнике.

Не сомневаюсь, что Чина сделали из бивня слона, подохшего от голода, потому что ему было лень добывать себе пищу. Чин просто плодил бездельников, и линия подвигалась вперед очень медленно. С тех пор как он появился, китайцы то и дело бегали на край лагеря молиться. А китайцы должны были много работать. Я не хотел получать из компании писем с разными неприятными вопросами. Я вам уже говорил — я пошел в их гадкую хижину и унес этого красного шарлатана.

Теперь налейте! Вот из-за этого началось все. Они не посмели мне помешать. Но это очень хитрый и упрямый народ. Их было у меня тысяча человек, и все они были, как один, когда в наводнение пытались устроить забастовку. И Герд был вместе с ними. Но со мной трудно сладить. Я не поддался. Я хотел устроить соглашение. Мой дурак-швед привез с собой Венеру Милосскую. Ему больше бы пригодились, в этой жаре, кисейные штаны, но штанов он не привез. Венера была маленькая, запачканная статуэтка. Я позвал Жен-Кио, главного жреца, и сказал ему: «Слушай и передай всем! Ваш Чин — обманщик, и вы все обмануты. Оттого вы плохо работаете. А надо работать много. Так хочет компания. У меня есть бог белого цвета. Это трудолюбивый бог, и ему можно молиться только один раз в неделю. Больше он не любит. Он вас не обманет, и вы не будете чувствовать себя обманутыми. Тогда работа пойдет хорошо. Жен-Кио, пойди и передай это всем!»

Я показал ему Венеру, и он ушел. Сутки китайцы совещались, а потом Жен-Кио, главный жрец бога, который лежал в левом кармане моей куртки, слева, пришел и принес мне решение:

— Нет, им не нужно белого бога! Им нужен только Чин, у которого все время открыт рот, потому что он все время молится за китайцев.

Лейте, лейте! Тогда я сказал:

— Жен-Кио, ты всегда воруешь олово. Я это знаю. Я отрежу тебе косу. И всем, которые завтра не встанут на работу, я тоже отрежу косы. Пойди и передай это всем.

Я поговорил с моим дураком-шведом, и он поскакал на телеграф. Китайцы струсили. Они бросили бастовать, но Герд, мой второй помощник, был с ними, и я это знал.

С этого все и началось. Раньше мы были друзьями, хотя он не пил водки. Водку пил я один, потому что у моего дурака-шведа была какая-то желудочная болезнь. Какой он был дурак, этот швед! С ним нельзя было говорить из-за его глупости. Герд тоже перестал разговаривать со мной после истории с Венерой. И я остался один. А китайская ночь — это нехорошая ночь. Особенно если один помощник у вас идиот,

а другой на стороне китайцев, которые вас ненавидят. И все это за тысячу верст от морского берега. Вы тоже пили бы водку на моем месте.

Да, так Герд был на стороне китайцев. Желтым жуликам не стоило труда убедить его в том, что я не имел права носить их бога в кармане. Герд поверил им и стал меня презирать. Если бы он прокладывал линию четыре года, он понял бы, что самое главное — это заслужить похвалу компании и добиться перевода поближе к берегу, где вечером бывает прохладно, а иногда даже идет холодный снег.

Какая у меня в палатке стояла жара! Даже когда я вспоминаю о ней, мой пульс начинает с размаху бить по руке и все вокруг желтеет. Вот в такие ночи я лежал на постели, а табак и револьвер были под подушкой. И я, господин на двести верст в окружности, лежал один и пил водку. Больше делать было нечего. Вода не спадала, и рельсы под ней ржавели. Китайцам тоже не было работы, и потому все мысли их сосредоточились на Чине. Украсть они его не могли. Днем я носил его с собой, а ночью под моей подушкой лежал револьвер.

Но Герд думал, что я поступил нехорошо, и ходил с китайцами. Я даже не пытался с ним разговаривать. Все равно, отдать Чина я уже не мог. Это значило струсить.

Налейте мне и слушайте, что было дальше. Когда вы станете дарить Чина своей невесте, если у вас есть такая, не вздумайте рассказывать ей того, что сейчас услышите. Это не для женского слуха.

— Жен-Кио, — сказал я главному жрецу, — если ты будешь шататься ночью возле моей палатки, я застрелю тебя, не подымаясь с постели. Запомни — если позади человека луна, то его отлично видно, даже через толстую парусину!

Луна в небе стояла очень редко. Почти всегда шел горячий дождь. И в эти черные ночи китайцы все-таки собирались вокруг палатки. Как видно, они на самом деле верили в этого курносого дурака с лакированным животом. А войти и схватить Чина, который висел на крючке у моей кровати, они не смели. И я лежал на спине, заведя глаз назад, на Чина. Он слегка качался, и мой глаз поворачивался за ним.

Разве вы, молодой человек, можете понять, что значит оловянный, китайский дождь? У меня не было силы взять даже стакан с водкой. Я мог только смотреть на выпуклый живот Чина. А живот этой орущей твари невыносимо сверкал.

Вы никогда не увидите того, что я видел, и благодарите Бога. Все было сразу. Живот Чина потух. Одну секунду я видел сухую, глянцевитую кисть руки. Пять пальцев медленно летели по воздуху к Чину. Чин замер и ждал, чтобы его взяли. А в следующую секунду я уже стрелял.

Дайте сюда бутылку! Я думал, что задохнусь от огня! Потом я выстрелил еще два раза и прыгнул с постели в дым. Чин орал, как еще никогда, и мой дурак-швед ворвался с фонарем. Герд лежал на полу, и его рука была прострелена три раза.

Компания предлагала мне много денег, но я не остался. Разве деньги могут удержать человека в Китае, если он захотел жить в Москве? Это вся история Чина.

— А китайцы? — спросил я.

— Вы еще не знаете этих трусов! Когда Герд стал умнее, а это случилось на третий год его работы, когда он понял, что главное — это похвала компании и перевод поближе к морю, он дал Жен-Кио, главному жрецу, сто палок. И Жен-Кио взял Венеру дурака-шведа и покрыл ее красным лаком. Теперь она стоит на том самом месте, в глиняном доме, где стоял Чин, и китайцы молятся ей раз в неделю, как она любит. И работа идет хорошо!

13 – 4720

Одесса, июня 14-го [1923]

Он очень мил, этот Олеша. И очень просил не писать вам, что только сегодня принес мне письмо. «Но вы так далеко живете. Это было так трудно». Я понимаю и сказала, что всё это не важно, что очень благодарна и что совсем не стану говорить вам об этом. Вы ему, смотрите, не говорите, что я его выдала. Он так просил. Он мне нравится. Рассказывал о вас всякие ужасы. О наложнице, что вы имеете в цирке, о ваших кутежах и еще много вроде этого. Я сказала, что очень верю ему. Он смеялся.

Сегодня я получила рассказ о Чине и письмо. И конечно, письмо с Олешей.

Целых два сегодня. Рассказ мне очень, очень нравится. Книжки тоже.

Вчера я послала вам письмо.

И вот сегодня опять пишу.

Дорогой, ну я всё, всё получила, а вы всё еще не знаете.

Одно письмо, потом телеграмму, потом книги, два письма, опять письмо, рассказ, опять книги, сегодня рассказ, письмо, и еще письмо.

Очень много, мой родной. Очень много для Маруси, для маленькой Маруси.

Ну, конечно, я не забыла этих дней, девять. Как я могла забыть. Еще во втором письма я писала, что это неправда.

Я не так хотела сказать тогда, я иначе чувствовала, а написала так.

Я не знаю, но как-то рассказ, письмо, Олеша, всё вдруг смешалось, запуталось, и я ничего не понимаю.

Вот видите, какую я гадость написала.

Ведь совсем не так хотела сказать.

Всё не важно. Всё.

Вот я окончу писать. Буду обедать.

Потом пойду во 2-ой номер. Это в конце Преображенской.

Буду сидеть там долго, до самого вечера. Читать, грызть семечки, курить, есть черешни и вишни.

Противных конфет я больше не грызу, как вы уехали. Теперь вишни.

Это на меня находит.

Вам не лень читать об этом? Правду только?

Вы, пожалуйста, не вспоминайте мне об этой маленькой и в ботах с серыми и голубыми глазами, что я вам писала.

Зачем я написала?

Такая глупая.

Ничего, хотя...

Ну вот, опять.

Иля дорогой, в белой рубашке, с пальцами, и лак был на них, милый Иля, я больше не буду так. Иля мой, мой Иля, Иля, Иля. Уже.

Маруся

Москва, июнь 15 [1923]

9-го я получил твое письмо, где ты пишешь о моей телеграмме. И с того дня ничего больше от тебя нет. Мне казалось, что на другой же день получу еще письмо. Поэтому я ждал. Но не было ни на другой, ни еще сегодня. А еще вчера должно было быть обязательно. Так я думал. Но в окно сыплются газеты, а писем нет. Я послал тебе много разных предметов. Письма, книги и два моих рассказа. Получила ты их? Мне слегка грустно. Почему нет ничего? Ведь должно было прийти. Мне даже нечего писать. Лента — тебе вроде подарка. Смешно дарить такие вещи, но она мне очень понравилась. Напомнила мне семафоры и зеленый огонь в прохладный вечер, когда поезд стоит где-то, еще далеко от тебя. Я шел по деревянным доскам

перрона и увидел огонь, такого цвета, как эта лента. Вот я дарю тебе эту двухаршинную свидетельницу моего безумия. В ней два аршина. Была на Трубной площади, где я ее нашел, еще другая, гораздо лучше. Она слегка шире и завалена во всю длину мордастыми цветами. Но ее меньше 100 аршин не хотели продавать. А 100 аршин было слишком много. Я с горестью отказался от нее и пошел дальше.

Мне очень хорошо будет думать, что эта лента у тебя. Вещи связывают больше, чем слова или поцелуи. О последнем я даже боюсь думать. Значит, было так, что меня целовали? Было ведь, значит, будет еще? Нет, вещи связывают меньше, чем поцелуи. В ленте два аршина. То, что я держал на своей руке, через несколько дней будет у тебя. Пришли мне обратно кусочек ленты. Небольшой кусок ленты, который был у тебя. Вот, так как ты не догадываешься подарить мне что-нибудь, то я сам дарю себе. Через тебя. Или это не так? Могло бы быть письмо, но его не было.

Твои волосы опять пахнут духами. Одно время запаха духов не было. А теперь есть опять. А глаза у тебя очень большие, и крест колет шею. Моя девочка, я точно вижу тебя вечером в саду среди электрических зеленых деревьев. Или там, на концертах, нет деревьев. Оркестр волнуется, и труба скрипит. Так. Ну, всё, кажется.

Пиши мне, девочка.

Маруся, очень тебе нехорошо? Мой мальчик, до свидания. Целую тебя. Напиши. Не поленись. Я, наверно, завтра получу твое письмо. Завтра, наверно.

Иля

Ответ на письмо Маруси от 11 июня:

Москва, июнь 17 [1923]

Девочка, прислуга должна быть грамотной. Вчера принесли твое письмо и не отдали, потому что прислуга не могла расписаться. Я прочел его только се-

годня и немножко рассержен. Я не скрою этого от тебя. Да, надо писать, не думая о том, понравится ли мне написанное или нет. Я надеюсь, что ко мне относятся так, что не позволят себе писать иначе. Но зачем же спускать с привязи свое воображение? Ну, что ты, в самом деле, написала?

Валя — твое имя в рассказе спутано с настоящей Валей, одной моей хорошей, очень хорошей, приятельницей. Маруся, твоя манера путать там, где спутать невозможно, — пугает меня. Единственное, в чем я виноват, — это в сочинении посредственного рассказа. Но это уже мое личное несовершенство, и Валя тут ни при чем. Это явная передержка. То, что ты сделала, — это нехорошо. Обидно мне? Нет. Но за тебя немножко стыдно. Я не думал, что ты на это способна. Ну, об этом я кончил. Напиши мне, что ты об этом думаешь. Я буду рад признаться в своей ошибке, если сделал ее. Утром я прочел твое письмо и только теперь, а теперь уже большая ночь, я прочел его снова.

Я был сегодня в Сергиевской Лавре. Это 2 часа езды от Москвы по железной дороге. Ты и рельсовый путь уже неотделимы. Лихо марширующие поля и молниеносные схватки с встречными поездами — это ты. Всё было — гул поезда, перроны из досок на станциях, поезд, похожий на полк и всё остальное. Приехал я только теперь. Видел я в Лавре очень много. Она помещается в кремле с бойницами и зубцами. Очень старые и очень красивые соборы. Музей русских молитвенников с миниатюрами. Я напрасно начал писать. Об этом жалко писать так, не обдумав. Я еще напишу об этом много, наверно. Но не в письме. О крепости, о парнях в калошах и с зонтиками и девчонках в цветных платьях. Я обедал в трактире. Русский трактир это то, чего нельзя понять, не увидев. Вошло 6 девчонок лет по 16–17. В розовых, голубых и пестрых платьях. 5 из них деловито поправлялись перед зеркалом. Трогали паль-

цами платочки на головах и прочее. Они были некрасивы. Но 6-ая к зеркалу не подошла. А именно она была очень мила. Чудесна. Она сидела и развязывала узелок, который держала на коленях. Ну, да это всё. О крестьянских девочках поговорим потом. О том, можно ли мне посылать тебе книги или нельзя, — совсем не будем говорить. Не воображай, что я лежу в канаве.

Мой мальчик, если хочешь, пришли мне те письма, о которых писала. Лучше будет мне, если пришлешь — ты ведь знаешь, как я любопытен. Ты добрая и хорошая. Ты мой мальчик, большой и очень любимый. Твои письма очень хороши. Я вчера вспоминал, как я увидел тебя, когда приехал. Было очень больно, хорошо больно.

Получила ты мою ленту? Наверно, уже получила. До свиданья, моя нежная девочка. Пиши мне.

Твой Иля

Сейчас тоже больно и тоже хорошо.

Москва, июнь 18 [1923]

Голубчик, почтальоны устроили возмущение, народный комиссар почти свергнут, и я не получаю писем. Маруся, мне надо работать, и я не могу. Нет, я не желаю. Я хочу писать тебе. Маруся, моя девочка. Я валяюсь в постели и читаю твои письма. Даже прислуга усмехается и говорит: почтальончиха-то уже проходила. Не надо, мой друг, придавать значения этому всему. Это пройдет. Это от смутной боли. Это от любви. Это от желания увидеть Марусю, от жары и от любви. Пойти разве на Чистые пруды. Нет, не стоит. Там летает белый пух, оборванный ветром с тополей. Это напоминает зиму. Ночь и пожар в вагоне. И леса, кварталами сдающиеся в плен. Это не стоит. От этого будет любовь и желание увидеть Марусю в фиолетовом платье с короткими рукавами. Отчего мне так смутно? Разве ты, Маруся, не моя? Разве я не уверен в тебе? Разве мы

не скоро увидимся? А если вижу тебя, то ты во сне. И во сне ты тревожно вздыхаешь. Как я груб, мой мальчик.

Груб — не могу писать нежных писем. А мне так хочется написать. Но я валяюсь. Нет, так нельзя. Я пойду сегодня куда-нибудь. В гости или в театр. Еще рано. Еще нет 8-ми. Отчего ты мне так редко пишешь? Отчего я пишу так часто. Голубчик, Маруся, все почтальоны убиты, наверное, они грудами валяются у почтамта, под английскими часами? Если пушками громят почтамт, это значит, конец всему. Не закричат больше никогда «Катаеву!» и никогда Катаев не закричит из красной квадратной передней «Иля, вам». И никогда, улыбаясь, я не возьму на руку твердого пылающего конверта. Это ничего, моя девочка, это от болезни, это от любви, от того что Маруся мне мало пишет. Сколько у меня связано, и крепко связано, навсегда, с почтамтом, с американской телеграфной комнатой, с электрическим треском большого зала. Всё и всё. Ты и только ты. Ну вот. Я докатился. Просто мне надо написать о почтамте рассказ, и всё пройдет.

Девочка, я очень тебя хочу видеть. Так хочу, что мне делается всё одинаково равно. Он страшно орет, наш японец! В чем дело? Как можно так кричать? Ему надо засыпать рот опилками. Мне нелегко, ты понимаешь? Нелегко. Я хочу тебя видеть. Да. А надо еще ждать. Что ты делаешь, Маруся? Дали тебе комнату? И всё такое? Мне не о чем писать. Это всё выдумки. Почтамт цел, почтальоны живы. Это ты мне редко пишешь. Очень хорошо. Я зол, как горбун.

Девчонка, почему ты мне не пишешь.

Девчонка ты маленькая. Пиши мне.

Иля

18-го июня [1923]

Иля, Олеша приехал сегодня. Значит, письмо у вас.

Почему-то мне кажется, что вам очень неприятно из-за него.

Но мне кажется.

Мне немного лучше, когда я вам пишу, и пишу, только когда хочется.

А хочется, как видите, довольно часто.

И я пишу много.

Кто у меня еще есть? Никого.

Как жаль, что вы не можете увидеть Чина.

Он сегодня прекрасен.

А крест?

Вот я сняла его с шеи, и он лежит на столе.

Каждый шарик — маленькая светящаяся лампадка. Как на кладбище.

Когда-то маленькой мне очень нравились красные лампадки на кладбище.

Фонарь, в фонаре лампадка и горит.

А выше над фонарем портрет умершего.

Я помню, как мне было очень жаль маленького мальчика — такой красивый и умер — думала я, глядя на фотографию.

Но всё это не важно.

А крест чудесный.

И всегда, когда смотрю, то как будто бы в первый раз, и удивляюсь.

Иля мой хороший.

Долго, долго повторять — Иля, Иля мой.

Ничего, всё очень хорошо.

Только сильно боюсь, что вдруг что-нибудь случится и вы не станете любить меня.

Я так этого боюсь.

Боже, как я хочу иногда, чтобы вы были.

Ну, вот тронуть пальцем, одним пальцем рукав, только рукав.

Бог, как это тяжело.

Тронуть только один раз пальцем рукав.

Илин рукав. Родного и милого Или.

Но ничего. Я очень, очень часто говорю: Ничего.

Но что мне делать.

Родной, довольно мне уже писать вам.

Нельзя так много писать и все равно ничего не сказать, как хотела.

Иля мой милый, хороший, ну что же это.

Довольно.

Иля. Иля.

Я опять напишу — ваша.

Мне хочется.

Можно и ничего? Вот –

Ваша Маруся.

Иля мой хороший, только не сердитесь из-за тех писем.

Хорошо?

Ваши волосы одним пальцем, Иля, одним.

Господи.

Довольно.

Москва, июнь 20 [1923]

Дорогой мальчик, ты делаешь глупости. Олеша привез мне твое письмо*. Вот в этом письме много глупостей. Я хочу тебя побранить. Но ты не бойся — у меня сейчас к тебе непростительно доброе и любовное чувство. Но глупостей все-таки делать не надо. Я не обижен, но зачем думать, что я буду говорить о тебе гадости? Я вообще о тебе не говорю. Неужели я, Иля, способен так говорить о тебе? Я рассержусь, Маруся. Зачем, зачем? Девочка, ну не надо.

Там написано что-то о Лене. Я ничего не понимаю. Ничего. А раньше о Вале. Кому ты пишешь? Мне? Если мне, то почему так? Разве ты мне не веришь? Мой мальчик, я говорю серьезно — не де-

лай глупостей. Ну, зачем, чтобы мне было стыдно за тебя?

Олеша привез мне пудру, которую ты оставила, когда была у него. Она пошла в счет твоих подарков. Я очень рад.

Ну, до свидания, девочка.

Мне некогда.

Иля

*Это письмо не сохранилось.

Ответ на письмо Ильфа от 17 июня:

Одесса, июня 21-го [1923]

Я слишком долго их держала, для того чтобы послать. Письма надо посылать сразу. Я этого не сделала и теперь не следует. Да, писать об этом тоже не следует. Сегодня я получила ваше письмо. Иля, больше всего я люблю крест и Чина. А дарить надо то, что любишь. Очень. Так чтобы было хоть капельку жалко. Помните, когда-то я хотела подарить вам Чина? Но вы не хотели. Больше у меня ничего нет, чтобы я любила очень. Значит, нечего дарить вам. Ей-Богу, если б я отдала даже вам Чина или крест, мне было бы очень грустно и жалко. Самую капельку, но было бы. Вот еще я люблю очень цепочку. Она как веревочка, но на ней Чин, ему так хорошо, и я не могу.

Вот всё, что у меня — крест, Чин, цепочка как веревочка, знаешь, так сплетена, и кусок зеленой ленты.

Я посылаю вам половину. Ровно половину — ни больше, ни меньше нельзя — аршин. Это очень смешно? По моему, совсем нет. Лента мне очень нравится. Она стремительно вылетела из конверта, что-то зеленое и блестящее. Я удивилась. Она очень хорошая. И совсем мне не надо с мордастыми цветами. Скажите, меньше ста аршин не продают? И не надо, Бог с нею.

Вы даже вот и не знаете, где я вам пишу.

А пишу я в новой комнате на Конной, 14. Дама очень мила, и зовут ее Александрой Львовной Федельбаум. Ви-

дите, как точно. Есть у нее муж и сестра. Сестра приехала на прошлой неделе из Москвы. Зовут ее Люба. Она тоже очень мила, и глаза у нее тоже серые и голубые. У всех, только не у меня.

Комната очень высоко, на пятом этаже. Окно выходит в сад Публичной библиотеки. Очень тихо и хорошо. Мне нравится. Потом очень чисто. Пол блестит, как живот Чина. Хотя нельзя сравнивать этот плохой пол с чудесным животом Чина. Правда ведь, Иля? Конечно, я знаю.

Есть столы и стулья, также кровать и шкап. И еще много всяких вещей. То есть не так их много. Но я начинаю привыкать и отвыкать от высокого круглого окна и пружин. Я это умею быстро.

Главное — комната и чтобы одна и не дома.

И что самое главное — что я буду работать. Пока еще не всё наладилось. Нет холста. Ах, Иля, я уже вам писала, какие у меня чудесные кисти. Я купила. Очень хорошие. И десять. Очень.

И потом изумительная краска — желтый лак. И еще другие.

Иля, не похоже, что я пишу совсем как маленькая? Как об игрушках?

Теперь мне не будет плохо, тупо и невыносимо. Как было. Вот почему не посылаю, что писала прежде. Теперь иначе. А всё потому было, что ничего не делала. Ничего.

Я думаю — валялась целый день с книгой и грызла семечки. Так нельзя.

Мне приходится писать на этой противной бумаге, но у меня уже нет тех длинных листков из психиатрической больницы. Как сказали: «Почерк всё тот, как у больного». Но ничего не поделаешь. Об этом я тоже вам писала, как что говорили о моем почерке, как у сумасшедшей, и о длинных...

Ну вот, зачем я об этом пишу?

Совсем глупо. Не надо.

Сегодня очень сильный ветер, деревья так и шипят. Ворона здесь тоже есть. И воробьи. Здесь совсем прохладно, даже если на улицах очень жарко.

Вот хочу и пишу. Думайте, что хотите.

Мне вдруг показалось, что вы будете улыбаться.

Сегодня пойду смотреть 2-ую серию «Индийской гробницы»*. Еще не видела. Первую уже. Вы видели, я тоже хочу, что вы.

Теперь вы, я думаю, уже получили два моих письма.

Писали вы в пятницу, Олеша приехал в воскресенье и привез.

Я не виновата. Почти.

А в понедельник вы, наверно, тоже получили второе. Правда?

Я вам очень много пишу.

Мне очень не нравится, что волосы пахнут духами. Я их никогда бы не надушила. Это противно так делать. Просто конверт... Хотя это не важно.

Крест вот пахнет — это хорошо. Это из-за коробки. Вы видите еще ту даму? Мне говорили, что она — кошмарная. Да, она противная, говорила: «Понимаете, что крест золотой на рубиновых кораллах». Ну разве так можно?

Она его видела? Думает, что если он золотой и рубины — так лучше? Совсем вот и нет. Правда, Иля?

Вы ей скажите, и пусть она никому не рассказывает о моем кресте, там всяким чужим. Зачем ей и им это надо? Совсем так и не нужно.

Ну, скажите, разве не правда?

Иля подарил мне крест, был так добр и дал, чтобы он у нее полежал, а она рассказывает.

Совсем она, Иля, нехорошая дама. А вы еще говорили, что она очень милая. Хотя я вам верю. Наверно, милая. Так ведь? Или нет?

Я вам говорю — будьте очень милы с ней.

Я никого не вижу и не хочу видеть. Мне так очень хорошо.

Сегодня я опять мыла Чина.

Он совсем замечательный.

Ничего, мне очень хорошо.

Самое главное — работа.

Что мне еще надо? Больше ничего.

И вообще писать об этом не стоит.

Правда? Не надо. Конечно.

Вот и всё. Уже почти совсем темно. Скоро надо идти. Вот, я хотела бы знать, что вы именно сейчас делаете. Все же я не хотела бы иметь волшебное зеркальце. Скверно и неинтересно. Только в сказках хорошо.

Маруся

Пол так натерт, что сейчас я чуть не упала. Всё, мой Иля.

*«Индийская гробница» (1921),
немецкий кинофильм, реж. Дж. Май.
В главной роли Конрад Вейдт (Фейдт).

Ответ на письмо Маруси от 21 июня:

Москва, июнь 26 [1923]

Маруся, я очень хотел бы тебя видеть. Еще я очень хотел получить от тебя письмо. Сегодня я пришел из редакции, и письма не было. Я не знал, что мне делать. Можно послать телеграмму и можно ничего не посылать. Я лежал, думал об этом вскользь и не думал вовсе. Тогда принесли письмо с лентой. Я прочел их только один раз, поэтому не всё помню. О чем забыл ответить, напишу после. А сейчас о тебе. Что с тобой, моя девочка? Плохо разве очень? Почему ты думаешь, что я мог тебя обмануть. Дама, у которой лежал крест, не кошмарная. За это порукой мой глаз. И она никому ничего не говорила. Она никого не знает из моих знакомых. Что же касается той, которая говорила, то я не сомневаюсь в том, что она говорила. Это Власова, у которой я жил в первый месяц. Кубрик, помнишь? Ну вот, она видела его один раз на своей жизни! И разве я виноват, что она глупа и безобразна? Я ее терпеть не могу. Вот всё. Где же здесь обман?

Мне всё казалось, что от тебя должно быть много писем. Не получая ничего целую неделю, я огор-

чался и досадовал. Но об этом не стоит говорить. Почему ты сердишься и не виноват ли я в чем? Виноватым я себя не чувствую. В чем, когда и за что? Как будто ничего и не было. Мы скоро встретимся. Дело, кажется, идет к этому. Я не хочу говорить ничего прежде времени. Но это будет. Я растрепан в своих чувствах и горожу, как ни попало. Сейчас мне трудно выразиться точно.

Что я сделал? Мне трудно думать об этом. Разве я мог сделать тебе нехорошо? Чем и как? Мне очень больно. Очень. Нет, не очень. Мне нехорошо. Почему ты сердишься. Это... Неважно.

Твой Иля

Ответ на письмо Ильфа от 17 июня:

Июня 22-го [1923]

Вот сейчас я получила ваше письмо.

Мне лень писать что-либо об этом злосчастном имени Валя.

Пусть так и останется.

Лень и немножко смешно.

Понимаете, сколько времени прошло, как послала это письмо? Две недели?

Сейчас я очень спокойна, может быть, даже слишком. Не знаю.

Да, вот поговорим о «приятном».

Хотя не сумею все равно сказать и брошу.

Лучше, может быть, сейчас.

Все же постараюсь.

Вот я знала, что делаю дурно и глупо, когда писала об этой Вале (как она мне надоела. Просто уже противно это имя), знала, что вам будет неприятно.

И все же написала.

Я уже забыла, даже и не помню, что там писала.

Выбросим эти два последние письма через окно и забудем о них.

А вообще я большая идиотка.

И когда вы меня узнали, вот со всякими такими мелочами вроде Вали, то не станете меня любить.

Я в этом уверена.

Я идиотка, вы поним...

Не желаю больше так писать.

Вот я уже совсем спокойна.

А что до мелочей, так мело...

Всё ерунда и всё, Иля, не важно.

Я вот знаю, что вы ничего не поймете из всего этого. Мне очень жаль.

Иногда я чувствую, как вы не понимаете из того, что я говорю.

Вы думаете, что я там выдумала, а мне плохо, что вы так думаете и так относитесь.

Только что я очень смеялась.

Иля, мой чудесный, как это вы хорошо написали — не воображай, что я лежу в канаве.

Дорогой, вы не сердитесь, но мне было очень смешно, и я очень смеялась.

Иля, не надо, дорогой.

Вечно я пишу гадости.

Я очень редко так думаю.

Ну, довольно.

Дорогой, о книгах вы очень хорошо написали.

Мой хороший Иля, вот всё.

Мне очень жаль, что мы не можем посмотреть вместе эту ленту.

Но это не важно.

Я ничего не хочу. Когда-нибудь так случится, что вы там, а я здесь посмотрим разом.

Только вряд ли.

А вдруг, Иля. Правда?

Не сердитесь на меня за всю эту путаницу.

Всё так нехорошо. Очень, Иля, всё нехорошо.

Но ничего.

Я ведь ничего дурного не делаю.

Всё же мне плохо.

Мне всё так надоело. И концерты, и люди, и проклятые разговоры.

Что же дальше.

Мне сегодня был сон очень страшный.

Конечно, если рассказать, получится совсем не страшный.

Я проснулась. Было три часа. Долго сидела у открытого окна. Было прохладно. Совсем чудесное зеленое небо и совсем светло. И тихо. Было еще самую капельку страшно.

Я курила, и вдруг захотелось писать вам. Оттого что утро, оттого что зеленое небо и оттого что где-то колеса скачут по мостовой, колеса телеги. Я не знаю. Но всё это было так хорошо.

Вот уже третью ночь, что я просыпаюсь через час, два как ложусь. Потом иду спать, опять просыпаюсь в $6^{1/2}$, пью холодное молоко, читаю.

И всё. Так со мной никогда еще не было. Иля, дорогой, мне слишком трудно писать вам. Нет, не трудно. Ведь пишу я много и очень легко.

Иля милый. Ну, хороший очень, очень.

Милый Иля, я опять напишу ваша. Да?

Ваша Маруся

Одесса, июня 26-го [1923]

Иля, милый, любимый Иля, отчего мне так печально.

Я никуда не спешу. Но завтра будет иначе, будет другой день.

Иля милый, хороший Иля, мне так не будет?

Нет, ведь это не будет? Конечно, нет, девочка. Я часто называю себя девочка и маленькая.

Или ведь нет. Нет Или, девочка Маруся. И он ругает меня.

Неужели я так плохо сделала, Чин? Мы одни, Чин. Ты знаешь. Чин всё знает. Маленький и мудрый Чин. Не очень мил этот большеголовый Чин. Мы очень много раз-

говариваем. Очень. Нас двое — Чин и Маруся. Когда-нибудь мы увидим Илю.

Мне не может быть печальной? Мне сейчас так, что если бы громко крикнули — Маруся! — я бы заплакала.

Но плакать я не могу и не буду. Мне только немножко печально. Вот очень мало.

И Чин очень ждет, чтобы Иля поцеловал его. Очень ждет. Ему уже надоело, что я...

Москва, июнь 29 [1923]

Мне очень не хотелось писать. Вот что, Маруся, мой милый мальчик, давай условимся. Ты не будешь ничего мне говорить о письмах, которые мне писала, которые очень хочешь послать, но не посылаешь. Если бы мы были вместе, я сказал бы это тебе не таким твердым и неприятным образом. Но письму никак нельзя придать интонаций, которые значат больше, чем слова. Пусть эти слова не кажутся тебе холодными и твердыми. Иначе у меня не выходит. Я не хочу напарываться на пререкания. Ты зла. Я знаю, почему это. Может быть, тебе сказали обо мне что-нибудь плохое или там еще что-нибудь. Я не хочу оправдываться. Не из гордости. Ты ведь знаешь, что я нисколько не горд. Просто считаю, что не нужно. Моя Маруся мне поверит. Моя Маруся. Я не хочу ничему тебя учить. Кто угодно, только не я буду это делать. Но все-таки свое мнение о некоторых вещах у меня есть.

Если бы ты написала, почему тебе нехорошо, почему ты злишься, я, может быть, и мог бы что-нибудь сказать об этом. Но ведь я ничего не знаю. Разве я говорил тебе о том, что тебе надо писать о том, что мне нравится. Нет, я говорил о другом. Пиши, что хочешь. Я тоже пишу, что хочу, а не для того, чтобы тебе нравилось. Поэтому я написал тебе то, что ты уже знаешь. Я позорно запутался в том, что хотел сказать, и это вовсе не смешно. Но столько раз говорил и писал об этом. Мне думается, что ты пой-

14 – 4720

мешь. Я сердиться я не буду. На тебя сердиться я не буду. На письма — может быть, а на тебя — нет. Я думаю, что если ты злишься, то не на меня, а на себя — потому что писала о том, что, тебе теперь кажется, не нужно было писать. Ну, вот.

Мои просьбы не исполняются. Писем тех мне не присылают. Нехорошо. Нехорошо то, о чем я уже столько говорил. Если говорить — то делать. Если не делать — не говорить. Пришли их — это нужно. И то, что писала перед этим письмом, которое я получил сегодня. Это уже нужно.

Мне так неприятно писать тебе обо всем этом. Такая досада — на себя и на тебя. Девочка моя, ты лучше всех, зачем же тебе каяться в чем-то в каждой строчке? Девочка моя. У меня нет сейчас нежных или не нежных, просто хороших слов. Но я тебя сильно люблю. Ничего ведь не изменилось, и если нехорошо выходит сейчас, то ведь того, что было, испортить нельзя. У меня никогда не хватает терпения писать не сейчас после того, как прочитываю твои письма. Потом, когда было бы спокойней, вышло бы лучше, но нет терпения и нельзя ждать. Надо сейчас же ответить. Ну, вот. Ничего хорошего.

Осталось еще два листочка, на которых можно писать. Чувствую, что письмо внесет некоторую холодность между нами. Это потому что я думаю о тебе на Вы.

Вы — вот как у меня выходит. Но я не виноват, мой мальчик, мой дорогой ребенок. Как всё нехорошо. Ну, мне нехорошо. Потому что... Нет, я не знаю, почему, честное слово. Это уже область чепухи. Только чепухи и ничего другого. Ты, девочка, на меня плохо влияешь. Я начинаю путаться. Я не буду больше. Это только было несколько строк на этой странице, и больше не будет.

Я не хочу врать и притворяться. Я не могу врать и притворяться. Если я говорю — значит, я думаю.

Моя Маруся, ты трогательно и очень печально мучишься. Нужно было делать что-то или не нужно было? И вся жизнь для тебя — таинственное пастбище с рогатыми коровами, которые могут забодать рогами. А коровы очень мирные и вовсе не бодаются. По зеленой траве можно идти совершенно спокойно. Маруся, по зеленой траве можно ходить спокойно. Ты меня поняла? Не усложнять, ничего не надо усложнять. Если мы были бы вместе. Но это будет. Я знаю.

Теперь очень жарко. Скажи мне, девочка, что мне делать? Разве есть еще дороже, чем ты? Угольщик нахально хочет продать мне уголь. Он стоит у окна и воет от желания продать свой товар. Но мне не нужен уголь, и мне не нужно ничего. Сейчас, когда пишу тебе, мне нужна только ты. Есть желание чем-нибудь для тебя пожертвовать, чтобы ты знала, что мне нужна только ты. Это детское желание, и это мое желание. Другого сейчас нет.

Я писал очень поучительным тоном. Не сердись. Не сердись, Маруся. Я очень тебя люблю. Если бы мы были вместе, ты знала бы это лучше.

Вот проклятый последний листок. Еще немного. О чем? Всё о том же. О тебе, милый мальчик, голубчик. Что ты делаешь в своей комнате? И почему это на Конной, а не на Коблевской? Я стараюсь вообразить себе эту комнату, но не могу. Ничего не выходит. Но тебя я помню очень хорошо. Что ты сделала с лентой? Сто аршин с мордастыми цветами ты все-таки получишь, когда приедешь в Москву. До свидания, девочка, моя девочка, как ты пишешь.

Твой Иля

Кланяйся Генриетте, она мне очень нравится, потому что ты ее любишь. Но если ты ее уже не любишь, не кланяйся.

Гехт просил тебе передать привет. Делаю это с удовольствием.

Целую мою Марусю.

Июня 27-го [1923]

Не надо, Иля, сердиться, не надо, Иля, стыдиться за меня. Зачем? Мне и так неприятно. Мне это плохо. Иля мой. Зачем? Не надо.

Нам очень плохо — Чину и мне.

Вот уже второй день, что пишу о Чине. Но нас двое — Чин и я. И я испачкала ему нос и кусочек щеки чернилами. Но я немножко. Он рассердился. Иля, как я его ругала, когда он упал в салат. Мне пришлось очень много мыть его. Боже, как я тогда смеялась. Ночь, тихо, а я смеюсь.

Ему тоже хотелось смеяться, но он не хотел показать этого, и потом разве он может, когда обязан бесконечно орать? Надо держать рот круглым, а не растягивать в длину.

От него так пахло уксусом и маслом. И как он только туда попал! Но я его сейчас же вытащила. Как это было смешно. Сейчас же. И должна была взять его в постель таким. Какой он смешной. Как я его тогда любила.

Господи, какой он хороший. Ну, посмотрите, вот я это сняла с шеи. Ну, очень, очень хороший. Разве я могу сказать. Вы даже не знаете, как я его люблю. Я никак не могу поверить, что это мое, мое?

Иля, мой дорогой.

Я очень, очень рада этому.

Иля, что еще?

Я хочу сказать вам хорошее, хорошее.

Но я могу без конца писать только — родной Иля, Иля, Иля.

Всё. Довольно уже.

Маруся

Я совсем не умею писать на бумаге без линеек. Всегда строчки ползут вверх. Это ничего, что я об этом написала?

Иля, я буду вас видеть.

Ну, разве сейчас вы не во мне, совсем со мной? Я очень много буду вас любить.

Но вот сейчас мне печально.
Я ничего не понимаю и не знаю.
Только одно — я люблю вас.

Июня 29-го [1923]

Мне кажется, что это не очень плохо, что я так много пишу. Мне хочется, и я пишу. Пишу Вам, Иля.

Я знаю, что вам нужно писать с большой буквы, но всегда пишу с маленькой. Так хочется. И сейчас написала вдруг, нечаянно.

Да. Так я очень много пишу вам и думаю, что это не очень дурно.

Но иногда мне просто стыдно посылать так много и приходят в голову такие дурные мысли.

Только я иногда очень удивляюсь, почему вы любите меня.

Я ведь очень плохая, змея, недобрая совсем.

Но разве знаешь, почему любишь?

Разве я знаю, почему люблю вас?

Люблю и всё.

Вот я уже начала работать, и это хорошо.

У меня чудесная мужская модель.

Такой мальчик с изумительной шелковой, черной бородой.

Вечером мне было страшно плохо. И я написала вам очень мрачное письмо. Но всё не важно. Главное — работа. Когда работаешь, всё забываешь. И скука, и плохое настроение только потому, что не работаешь.

Но ничего. Всё будет очень хорошо.

Правда, Иля?

Только не думайте, что я хорошая, потому что я очень плохая.

Вот вы увидите, когда-нибудь. И сейчас же за этим появляется — и не станете меня любить.

Нет, я вас люблю и очень хочу, чтобы вы меня любили.

Только еще раз говорю — подумайте, Иля, хорошо. С самого маленького до самого большого и главного. Я не

знаю, может быть, вы думали, но подумайте еще. Это очень надо. Очень, мой родной.

Стоит ли, стоило ли, и еще о многом.

Очень надо подумать.

Может быть, вы дойдете к чему-нибудь другому. Всё пока, мой дорогой Иля. Всё, родной и хороший.

Маруся.

Мне сейчас очень тихо и спокойно.
Чин вас целует, и я тоже. Ничего?
Иля дорогой.

На вложенном листочке:

Иля, напишите мне —
Маруся, я очень хотел бы тебя видеть.
Только именно так.
Это ведь ничего?
Иля мой, Иля мой.
Больше не буду.
Родной, родной Иля.
О Господи.

Москва, июль 2 [1923]

Я читаю отчаянные, безумные письма, которые мне пишет моя девочка, и что я могу сделать? Я не могу уже писать ей, уверять, просить или делать наставления. Письмо приносят, я разрываю конверт и читаю. Как мне дать понять ей, что каждый листок мне дорог и каждая большая, длинная фиолетовая буква мне дорога и дороже всего или не всего, я не знаю, как точнее и сильнее сказать. Ну, очень, очень дорога, только я не способен выразиться так, как надо. Она очень далека, я не могу увидеть ее и сказать так, чтобы меня поняли, чтобы мне поверили, чтобы больше во мне не сомневались. Но мы ведь увидимся, непременно, и не так уж долго надо еще ждать. Письмо приносят, я его читаю. Что мне делать, если вместо того, чтобы сделать хорошо, я

делаю больно моей девочке, моему мальчику, моей Марусе?

Это милый, дорогой ребенок, и сколько раз я уже писал эти слова, чтобы написать их еще раз, теперь. Я не сержусь, и мне за нее не стыдно. Если когда-нибудь было, то только на одну минуту, и разве стоило об этом писать? Ведь ей нехорошо, она одна, и всё, что у нее есть, это крест, лента и Чин. Крест и лента — ничего больше. Еще китаец, но больше уже ничего. Неужели я так недобр, что не могу понять этого? Неужели у меня нет доброты и я не люблю? Нет, нет и нет. Я закрываю глаза, чтобы лучше вспомнить — да, пальцы, да — плечо, да — рот, да, да — это она. Но эту Марусю я ведь люблю. Я много раз говорил это, много раз об этом писал, если она хочет, вот еще раз, сколько угодно раз — очень люблю.

Письма, которые я получаю, — печальны. Они касаются сердца, и оно слегка болит. Снова закрываю глаза и ничего не вижу. Но видеть уже не надо — я видел, когда был в Одессе. Я видел всё и всё узнал — достоинства и недостатки. Разве от этого я меньше люблю? Через два дня в третий приходит письмо. Распишитесь — я расписываюсь, разрываю конверт и читаю. Да, это она, это ее почерк, и ее листочки, и ее конверт с цветным брюхом. Разрываю конверт и читаю. Всё, что она пишет, мне дорого, но как мне ее успокоить, какие слова сказать, я чувствую, что не могу сказать, и от этого сержусь. Снова письма, опять треск конверта, фиолетовые буквы и боль, касающаяся сердца. Почему меня так мало жалеют? Как мне объяснить ей, что нельзя писать о письмах, которые не отправлены. Что от этого тревога, недоумение и легкая досада. Что нехорошо, и сколько раз я говорил, сколько раз мне обещали, что этого уже не будет. Я ведь верю, моя девочка меня любит, почему же она зла? Если бы мы хотя полчаса были вместе. Тогда было бы лучше. Она хорошо и

всё понимает. Я бы сказал ей, и она поняла бы, а написать невозможно. Я так люблю, мне сейчас так хочется ее увидеть. Что бы я ей ни писал, я очень люблю ее, и когда пишу, никогда не злюсь. Никогда с тех пор, как приехал, я не вспоминал о ней плохо. Никогда. Маруся, девочка дорогая, не думай ничего. Я твой Иля.

Без даты

Чудесный мой Чин. И я говорила — Ничего, Чин, всё чудесно, Иля очень хороший. Он хотел улыбнуться, но не мог. Всегда орет. Иногда, я уверена, ему очень хочется сказать лишь хоть одно слово, но он не может.

А мне бывает так плохо. Он сказал бы: Ничего, маленькая, всё не важно. Девочка, не надо.

Ведь мне его дал Иля, мой Иля, хороший и милый Иля. Он всё очень хорошо понимает и очень любит нас — Илю и меня. И совершенно одинаково.

Он всегда со мной и не дает делать ничего плохого.

Я никогда не забываю о нем.

Мой Чин, маленький мой Чин чудесный. Его открытый рот мне так трудно поцеловать.

Но всё так хорошо.

Маленькую круглую голову и милый живот. Чин мой.

Милый Иля, и меня любит.

Любит меня, Марусю.

Такую плохую Марусю.

Я очень люблю, Иля, вас, люблю очень. Мне очень стыдно, что вам стыдно за меня. Очень, родной.

И очень, Иля, зла на себя.

Вот уже мне холодно. Перед вечером комната становится голубой и розовой. Серые и голубые обои и розовое небо. Вот совсем нечаянно написала — серые и голубые. И на стенах расплавленные красные полосы.

Но мы не можем вместе посмотреть. Иногда мне так хочется, чтобы вы посмотрели лишь бы только на эти полосы. Мне нравится. Может быть, вы сказали бы, что плохо. Я не знаю.

Иля, милый Иля.

И милая зеленая лента, такая дорогая.

Милый, чудесный крест, такой.

Мой маленький Чин, такой.

Господи, мне должно быть очень хорошо, ведь это всё мое, ведь это всё от Или, и столько.

Родной Иля, а я такая плохая.

Может быть, не очень ведь.

Не надо больше ругать меня, Иля. Не надо меня, Марусю.

Как у меня вдруг закружилась голова. Вот совсем темно сделалось. Вот уже нет. Одну секунду.

Так всё хорошо лишь сейчас.

Воробьи дорогие чирикают.

Девушка играет. Милая девушка.

Мне будет хорошо. Только сейчас голова так туго стянута.

И там, за дверью, стоял Иля.

Господи, как всё это было.

Как всё было так давно и как сделалось теперь.

И под мышкой была коробка с папиросами. Хорошая коробка.

Мне хорошо уже очень.

Вот так бывает иногда — вначале мне хорошо, когда пишу вам, но потом всё хуже и хуже, и под конец совсем плохо; а иногда вначале плохо, когда начну, и под конец легко и хорошо. Так сейчас, последнее.

Мне сейчас сделалось смешно.

Я вспомнила.

Иногда, когда я еще сплю, почтальон приносит письмо.

Тогда сестра подходит и кладет на постель, говоря — Маруся, тебе письмо.

Я быстро вскакиваю.

Что? Письмо? Иля, милый.

Быстро напяливаю платье и скорее читать.

Так вот сегодня я легла очень поздно, в 5 часов утра, в 6, значит. И утром мне очень хотелось спать. Так вот сестра взяла конверт, принесла, положила и сказала — Маруся, тебе письмо. Конечно, я проснулась, взяла, посмотрела, бросила на пол и, повернувшись, опять уснула. Я даже не смотрела. Я знала, что письма сегодня не будет. Не могло быть.

Вот опять рожок. Каждый день слышно его. Вот она играет из Глинки. Ничего мы не можем слышать вместе. Вы там и сейчас видите и слышите другое, а я здесь и тоже другое. Почему? Почему не вместе и не одно?

Иля. Ну как мне сказать, чтобы вы услышали. Иля. Иля.

Родной Иля. Хороший Иля.

У меня уже нет сил так много говорить. Это ничего, что я пишу так много — милый, хороший? Но у меня совсем нет слов и так много всего.

Иля, что же мне делать?

Ничего. Очень хорошо, я очень люблю вас, моего хорошего Илю. Вот всё. Как и всегда, совсем ничего и очень мало из того, что хотела сказать.

Ваша Маруся

Ведь всё хорошо, Иля? Да? Я так хочу, чтобы вам было хорошо. Я очень люблю вас, Иля.

Маруся и Чин. Правда?

Ответ на письмо Ильфа от 29 июня:

Одесса, июля 3-го [1923]

Нет, я буду писать спокойно и потом не должна много. Так вот, я не зла. Мне ничего не говорили дурного о вас. Ничего. Я не сержусь.

Если я зла, то только на себя, и только. Я очень устала так много писать об этом. Мне противно. Но это расплата за то, что я не думала, как вы это примете и что может выйти. Но разве думала, что вам и мне придется еще столько.

Разве я думала? А вы пишете — обман, и еще. Если б вы только знали, как я это всё писала, совсем просто, ни о чем не думая. Меньше всего о том, что мне опять придется вспоминать о всей этой дряни и еще писать, чт...

Боже, у меня нет просто сил писать об этом. Вы понимаете? И потом нравится — не нравится — писать. Нет, я не хочу больше писать. Разве я думала плохое, когда писала об этой даме? Очень нет. Иля, мне очень неприятно. Очень противно. И так, что написала, противно было, а тут ваши письма, и опять писать, что не думала плохо и писала легко.

Вначале, после первого вашего...

Нет, мне просто нельзя писать. Чем больше всего, тем меньше и непонятнее пишу. Неправда. Но не важно. Я не хочу писать много. Я знаю, что все равно ничего не выйдет.

Как мне это надоело.

Вы что думаете...

Нет, мне нельзя писать.

Иля, родной и хороший, ну, честное слово, я не писала плохо.

Я просто удивляюсь, когда читаю — зла, обман, сердишься.

Господи, да если б я знала, что вы это так примете, разве написала бы.

Больше ни одного слова об этом.

У вас холодность, и вы думаете на вы. У меня же нет.

Я не чувствую холодности после этого письма.

Письмо очень хорошее, Иля.

Родной, совсем не надо дописывать оставшиеся листки. Их можно оторвать.

Может быть, я опять пишу плохо?

Нет, я знаю, когда я пишу плохо.

Не хочу думать, не хочу вспоминать, не хочу, не могу.

Довольно. Больше мне писать нельзя. Я начинаю нести чепуху, а этого нельзя.

Я не зла. Я не сержусь, о вас никто ничего не говорил, дама чудесная, а себя за всё, что писала, ненавижу.

Понимаете, сильно ненавижу и только на себя зла.

Как противно. Буду всегда думать.

Маруся

Даже вот не могу написать о ваших фотографиях, которые мне очень нравятся. Понимаете, не могу. Сколько времени как...

Может быть, вам неприятно, что и как я написала?

Иля же, что мне делать?

Зачем вы это.

Я чувствую, что вы очень устали, и знаю, как вы писали мне это письмо.

Бывает у меня иногда так, что я очень удивляюсь, почему вы любите меня.

Я не знаю. Я уже писала об этом. Я ведь почти всегда пишу об одном.

И как вам не скучно только — читать.

Я очень, очень дурного мнения о себе. Очень не люблю себя. Я нехорошая и очень хочу, чтобы вы любили меня.

Вчера и сегодня вы мне снились.

Мне очень печально, Иля.

Зачем всё так.

Москва, июль 4 [1923]

Если не сказать — дорогая, то что же сказать? Я скажу так, как всегда — дорогая, милая, нежная. Мне очень скучно без тебя и томительно. Я очень хочу тебя видеть. У меня скоро будет своя комната в Чернышевском переулке. Утром там всегда у соседнего дома храпит лакированный автомобиль, и во дворе финляндской миссии кидают теннисный мячик. Вот здесь я буду жить. Сколько мне осталось тебя ждать? Я боюсь определить срок. Может быть, три, а может быть, четыре месяца. Но ты приедешь, и ты всё увидишь. Летающий мяч и Красную цер-

ковь на углу. Маруся, мальчик, я очень хочу тебя видеть. У меня теперь очень много в редакции работы, и мне нет почти времени думать о тебе. Но у меня будет своя комната и будет больше времени, я смогу лучше и больше вспоминать тебя. А сейчас трудно даже писать ввиду того, что Олеша продает свои полосатые штаны татарину. Олеше жалко продавать эти штаны, но ему очень хочется пива. До 10-го еще далеко, а, как водится, уже нет денег. То есть есть, но они будут только завтра, а пива хочется сегодня. И вот он продает свои штаны, и каждую строчку я кидаю письмо, чтобы принять участие в бешеном торге. Штаны такие, какие в Англии носят престарелые мужчины. Моя маленькая, ты не сердишься на меня? Я живу очень развороченной жизнью. Но у меня куча работы, я балдею и вчера даже, в самое пекло, кровно обидел одну из редакционных машинисток. Я похолодел и, не глядя на нее, сказал несколько злых слов. Но не сердись; я сегодня уже просил прощения и получил его немедленно. У меня был очень виноватый вид. Штаны еще не проданы, но будут проданы, несомненно. Кончится это тем, что мы пойдем на Театральную площадь смотреть на американку Тальмидж* [Толмэдж]. А ночью я буду работать. Работать надо очень много, мне очень печально, когда надо начинать. Я всегда решаю подумать раньше немного о тебе. И думаю. Но работать все-таки надо. И я встаю с постели, переступаю через Олешу, который спит на полу, и исписываю кучу бумаги всякими словами о транспорте на федерации, о злых инженерах и несчастных рабочих. Моя нежная девочка, светает в Москве в 2, в два часа мостовая уже светла, и когда в четыре я ложусь — стоит белый и зеленый день. Я решаю думать о тебе, но засыпаю. Сон всегда страшный и сплошной. Добрый мой мальчик. Я очень хотел бы вместе с тобой пойти смотреть Тальмидж. Штаны уже проданы, и татарин ушел. Те-

перь Олеша пляшет и ждет, пока я окончу письмо. На Тальмидж мы пойдем вдвоем. Когда-то зимой я видел эту американку и не забуду этого. Она играла сначала китайского мальчика, а потом взрослую девицу. Она целуется, закрыв глаза, и совсем, как ты, мой мальчик. Потом ночью я шел из кинематографа и думал о тебе. О чем же другом я мог думать? Это было тогда, когда я не получал писем и всё во мне было напряжено и гудело, как машина. Это изумительная, совершенно необыкновенная американка, и ты очень похожа на нее. Ну, довольно, это, кажется, скучно. Девочка, моя маленькая, ведь мы скоро увидимся. Как это будет изумительно. Ну, до свидания, девочка. Чину передай, что он грязное животное и что я всячески его оскорбляю. От любви к нему, конечно. Я называю его разными нехорошими выражениями. Ужасными словами и омерзительным образом. Безусловно, что Чин подлец. До свидания, девочка. Писал я тебе о ленте, которую ты прислала? Не помню.

Подумать только, что было время, когда я слышал, как билось твое маленькое дорогое сердце.

Твой Иля

*Олеша вспоминает: «Я помню, как с Ильфом мы ходили в кино, чтобы смотреть немецкие экспрессионистские фильмы с участием Вернера Крауса и Конрада Вейдта и американские с Мэри Пикфорд или с сестрами Толмэдж» (*Книга прощания*).

На желтом листочке:

Москва, июль 6 [1923]

Это уже четвертая страничка. Остальные я порвал. На них было написано только — Простите меня.

И на этой тоже нечего писать, кроме — простите меня.

Это ничего, что на вы. Пусть на вы, но это хорошо написано.

Всё, моя девочка. Если захочешь, пиши. Твои письма мне сейчас не хочется искать. Я пришлю после.

Твой Иля

На голубой бумаге, в голубом конверте:

Одесса, июля 11го 23 г.

Если я удивляюсь, если я смеюсь и радуюсь, а когда плохо — так хорошо. И не все ли равно, кажется или это действительно так. Ведь, в конце концов, ровно ничего не будет.

Думать. Но зачем так много думать? Нечему удивляться и нечему смеяться. Зачем? Ничего не знаю.

В конце концов, всё очень просто. Конечно, всё удивительно прекрасно. Я радуюсь маленькому дождю, собаке и грязи. Я всё очень люблю. Всё очень прекрасно. Но иногда бывает так все равно и пусто. О чем же думать, так должно быть. Радость и печаль. Вот так всё. Чему-то удивляться и хотеть многого. Всё спокойно и уверенно. Писать таким диким языком совсем не стоит. Очень просто и ясно.

Это мне необходимо. И вот это, мне кажется, важно. Я никогда ни в чем не бываю уверена. Я хочу любить вас, зная и понимая хотя бы немного. Всё, что у вас. Ну, разве непонятно? Очень понятно.

Вы думаете, что я легко пишу? Вот так взять и решить — это так, а это так. Быть твердо уверенным в своем тупом мнении и быть довольным. Я знаю — это так, и попробуйте меня сдвинуть. Конечно, вы думаете, что я идиотка? Может быть. Так много писать могут только ненормальные люди.

Так вот, первые очень хороши, но недовольны собой — мучатся и страдают: вторые хороши и довольны собой, понимая, а третьи... Вы думаете, я пишу чепуху? Вот что очень правильно. Лень писать только об этом.

Так я нежная девочка? Это я, дрянная Маруся! Но я люблю вас. Люблю. Не надо новых слов. Это очень просто.

Маруся

Я вас уверяю, что это большая ерунда, то, что я пишу. Всегда. Неужели вы не замечаете?

Нет, конечно, вы замечаете. Как вы могли найти во мне доброту? Удивительно. И нежность? Нет, я прежде всего люблю вас. Это дико, но я люблю вас. Почему я написала «дико»? Разве я знаю. Нет, как вы не замечаете, что я очень груба. И в особенности, когда хочу быть нежной.

Тогда я говорю тяжелые, топорные слова своим деревянным языком. Говорю очень мило и неуклюже. И вы не замечаете? Нет, этого не может быть. Вы улыбаетесь? Нет, конечно, вы не улыбаетесь. Конечно. Но ведь над тем, что я пишу, можно так много и весело смеяться. Неужели вы не делаете этого? Да, конечно. Вы просто любите меня. Любите? Ну, хорошо. Вы будете опять удивляться и подымать плечо, говорить — как можно так писать? Разве вы не понимаете, что в голове провал, что всё пусто и ноет? Нет, вы не понимаете. Я не хочу, чтобы было иначе. Иногда, всегда мне очень жаль, что вы не можете понять, как это всё у меня. Но я знаю, я хочу, чтобы так было, что вы хотите. И я всегда очень стараюсь понять и подойти поближе к вам, как это только возможно.

Ответ на это письмо:

Москва июль 17 [1923]

Мой мальчик, мой мальчик, что мне делать, если я так люблю Вас. У меня детские привычки, когда мне что-нибудь очень болит, у меня нет тогда другого слова, чем — мама. Я сказал «мама», так мне всё болит. Так я Вас люблю. Конверт толстый и голубой, и бумага толстая и голубая. Вот это всё. Маруся, это всё. Больше у меня ничего ведь нет. Так я Вас люблю. Поймите, родная, хорошая. Я говорю Вашими словами. Лучше, чем Вы, никто не скажет. Моя маленькая, Вы чудесный и нежный ребенок. Нежный. Как бы ни старались говорить грубости. Ну, какие это грубости. Говорите, разве я услышу от кого-нибудь еще так. Только сегодня я получил это голубое

письмо. Так ужасающе долго оно шло. Смешно, я сделал себе любовь, и уже ее нельзя уничтожить. Всегда, никогда без нее. Я очень редко думаю теперь о Вас. Как принято думать — снаружи, если можно так сказать. Когда сознаешь, что думаешь. А я не сознаю, но знаю — это Вы. Это как постоянное дрожание типографских машин. Только звук, которого уже не слышишь, а только знаешь, что если он окончится, то кончится всё. Могу я быть нежным? Не знаю, плохо знаю, могу, но не всегда это видно. Если бы Вы хотя бы раз могли узнать этот звук. Это как внезапный ужас перед смертью, которая придет во что бы то ни стало. Так мне кажется, когда вдруг, на секунду, начинаю понимать. Так я люблю.

Если бы мне не было стыдно, я исписал бы этот листок только словами — мальчик, мальчик, мальчик. Я уже не могу говорить ничего. Я Вас только люблю и не хочу говорить ничего. Всё остальное только обширная ведомость чепухи. Всё остальное не стоит ведь говорить. Моя девочка. Мое сердце, или как это там называется, все равно как, очень болит. Ну, мне просто болит. Вы поймете. Просто болит. Рука, если порезать, ведь болит. Почему, я ведь получил письмо. Письмо изумительное и дорогое. А мне всё очень болит. Я готов топать ногами. Но меня примут за бесноватого. Я люблю Вас, чего Вы от меня хотите. Почему? Я не знаю. Мне все равно. Я вас люблю. Поняли? Мне совершенно все равно. Я скажу это тысячу раз. Я могу сойти с ума от этого гудящего звука. Я могу сойти с ума. Просто стучать ногами. Боже мой, вы меня сделали таким. Только Вы. К черту. Писать я не могу, к черту. Я могу только Вас любить. Это сделали 10 дней. 10 дней я не получал писем и теперь, когда получил, то мне перерезали горло. Мне болит, болит. Вы никогда, никогда Вы этого не поймете. Этого Вы не сможете. Или плакать или кричать. Это сделали Вы.

Иля

15 – 4720

Ильф прислал телеграмму, в которой, как видно, были слова: «Забыли меня» или «Не забыли меня?»

Одесса, 30-го июля 23 г.

Забыли меня. Как можно так писать, Иля. Разве вы знаете, что и как мне было всю эту неделю. Сегодня утром мне было совсем плохо. Я сидела и тупо завтракала, ни с кем не разговаривая, когда принесли эту вашу маленькую фразу. Я так устала, так ждала, что не могла даже обрадоваться. Только мне сделалось гораздо, гораздо легче и спокойно. Если б вы знали, как мне было. Три недели, целых три недели мне ничего не было от вас. Ничего. Чего я только не думала. И я додумалась до самого плохого, и было плохо. Я не могла послать того, что писала. Писала и рвала, писала и рвала. Много, много лишнего, и я не знала, как вы ко мне.

Боже, как мне было плохо. Но ведь всё по-прежнему, Иля, да? Дорогой Иля, я очень вас люблю. Я не могу писать об этом. Вчера я была совсем уверена, что что-то случилось. Да. Конечно. И ужасное. И вы не хотите писать мне. Но что же, что? И я не знала, и было очень, очень плохо. Я так ждала. Боже, как я ждала. Я ухожу утром, почтальон еще не может придти. И вот целый день думать — может быть, сегодня. Но почему? Болен? Нет времени? Но неужели так, чтобы не смочь написать одно слово. И тогда уверенность в том, что случилось очень плохое. Но не случилось? Нет, Иля? Правда, ничего?

Милый, родной, мне очень хорошо сейчас. Ведь ничего плохого уже не может быть. Ведь не может? Иля, дорогой. Ну, что же? Ничего, ничего, всё очень хорошо. Я ведь так. У вас просто не было времени, и вы не писали. Да, Иля? Конечно. Но почему же другому? Я не знаю. Я так ничего не знаю о вас.

Всё чудесно. Только я так расхлябанно и противно живу. Но это не важно. И мне приходят такие нехорошие мысли. Всё не важно. Конечно. Иля, но вы хорошо ко мне? Я еще у вас и не чужая? Господи, как я боялась. Да, боя-

лась. И ваши пальцы, такие пальцы ваших рук, еще мои? Да, Иля? И я могу написать — мой Иля? Да, родной. Господи, мне очень спокойно. Иля, хороший мой.

Маруся

Москва, август 3 [1923]

Маруся, милая нежная Маруся. Мальчик, крепко тебя целую. Разве было другое время? Я всегда тебя любил. Если бы я знал, что тебе не скучно будет читать, я исписал бы эту страничку одним только словом: мальчик, мальчик, мальчик. Мой ребенок, маленький и трогательный, ты знаешь, как я тебя люблю. Если бы ты была здесь, я поцеловал бы тебя. Один только раз, легко, едва дотрагиваясь губами до твоих губ. И взял бы твою руку, чтобы погладить ее и знать, что это Маруся, мой добрый и любимый мальчик. Разве было другое время? Я всегда тебя любил. Я не был болен, у меня было время, но я тебе не писал. Разве оттого, что перестал любить? Нет, я много думал и вспоминал, но написать не мог. Может быть, оттого, что мне уже нечего было писать, кроме: мальчик, мальчик, мальчик. Я знал, что тебе будет больно. Один раз я написал. Письма надо отправлять сейчас же. Но это задержалось на другой день, и я прочел его. Разве можно так писать тебе? Я взял его двумя пальцами и порвал. А лучше я писать не умею. Мой бедный мальчик, дорогой друг, лучше я писать не умею. Ты говоришь, три недели. Это очень, страшно, много времени. Я это знаю. Ведь я столько же времени не получал писем от тебя. Маруся, разве Иля может тебе сделать что-нибудь плохое? Маруся, девочка, я не писал, но разве я любил тебя меньше? Я получил тогда твое письмо, толстое и голубое. Мне всё равно, что там было написано. Письмо было от тебя, значит, ты меня не забыла. Но я не мог ответить. Я не мог. Письмо было драгоценное, я очень радовался, но ответить не мог. Если бы ты была со мной, я рассказал

бы тебе, почему, а написать я не умею. Если бы ты была со мной, ты бы узнала всё. Но как написать? Маруся, я знаю, что сделал нехорошо — я не писал. Нет, я писал, но то письмо порвано. Я писал в нем только о том, как я тебя люблю. Почему столько горечи? Как больно любить. Руку если порезать — ведь болит. Ждать писем очень больно. Маруся, я знаю, я знаю это и крепко тебя целую, потому что очень люблю. Пиши мне, девочка.

Что ты сейчас делаешь? Я послал тебе телеграмму. В ней не было ни одного телеграфного слова, и мне пришлось у окошка телеграфа делать очень серьезное лицо, как будто это для меня и вообще для всех должно быть обычно. Барышня с серыми глазами, здесь они поголовно сероглазые, машинально посчитала слова, поставила цифру 11 и начала писать на бланке. Тут она углом глаза увидела эти нетелеграфные слова, прочла и обалдела. Она улыбнулась и подняла голову к окошечку. Из окошечка на нее смотрела голова деревянного тигра. Это был я. Она сделалась серьезной, но теперь улыбнулся тигр. Я дал ей деньги, и мы расстались.

Это всё для того, чтобы ты дальше ждала. Ты получишь ее утром 4-го. Да? Мой добрый, хороший мальчик. У тебя были длинные, раскрытые глаза на вокзале. Я тебя не сразу увидел, а ты тронула меня за руку. Положила ладонь на мою руку. И я видел серьезные раскрытые глаза. 19-го мая. Маруся, милая, нежная Маруся, мы увидимся и всё вспомним. Мы будем сидеть вместе, и я в темноте услышу, как ты дышишь.

Иля

Москва, август 8 [1923]

Милый, трогательный ребенок. Я получил твое второе письмо только сегодня. Оно шло очень долго. Милый, дорогой мальчик. Я через час уезжаю в Петроград. Сегодня среда, обратно я буду в поне-

дельник. Я напишу тебе еще оттуда. Маленькая, дорогая девочка, целую тебя много раз. И тебе не стыдно было думать, что Иля тебя забыл? Я очень тебя люблю, мальчик. Пиши мне. Мне будет хорошо, если я буду знать, что в Москве ждут меня твои письма.

Дорогая девочка, что-то я хотел тебе сказать, но в суматохе забыл. Мне надо очень спешить. Я не могу вспомнить и написать. Не сердись, что я кончаю письмо. Честное слово, совсем нет сейчас даже минуты. Мне надо еще зайти на Чернышевский пер., а это далеко. Я боюсь опоздать. Целую тебя, милый дорогой мальчик.

Твой Иля

Петроград, август 11 (1923)

Дорогой мальчик, это деловое письмо. Милая, дорогая Маруся, вот что я хочу сделать. Мои неурядицы с комнатой продолжаются и могут затянуться еще надолго — примерно до конца зимы. К тому же на зиму трудно устраиваться. Вот что тебе, мальчик, надо сделать. Немедленно устроить свой отъезд. Ты поедешь в Петроград. Деньги я тебе пришлю. По дороге остановишься у меня на пару дней. В Петрограде будешь жить у Миши. У него чудесная квартира в 5 комнат. Там живет он, Женя Захаренко и одна еще дама. У тебя будет своя комната. Если захочешь, будешь учиться в Академии. Жить будешь хорошо. У меня как-то сухо это выходит то, что я пишу. Это неважно. Тебе в Петрограде будет чудесно. А остаться еще зиму в Одессе тебе нельзя. Я не могу этого допустить. А весной ты приедешь ко мне. За зиму я несколько раз смогу быть в Петрограде, и мы будем видеться. Я думаю, что всё это хорошо. В Москве я тебе всё подробно объясню. Напиши мне немедленно, что едешь. Я сейчас же пошлю тебе деньги и подробные инструкции. Что и как надо делать. Вот всё. Немедленно устраивай дома свои де-

ла и немедленно же пиши мне, что едешь. Это будет изумительно. Тебе Петроград очень понравится. Я буду к тебе приезжать. Мальчик, дорогой, милый, ответь мне как можно скорей. Сейчас же — о том, что ты об этом думаешь. Дома, я думаю, тебя отпустят. Если понадобится, я и Миша напишем твоим письмо. Ответь мне скоро. Целую тебя, мой мальчик.

Иля

Телеграфируй
мне в Москву
одно слово — да.
Адрес старый.
Непременно.

Приписка Миши Рыжего:

Милая Мэри,

Мои комнаты, моя мансарда, мои знания, моя лысина, я весь к Вашим услугам.

Приезжайте. Я и Петербург ждем Вас. Будем искренне рады. Игра стоит свеч.

Ваш Mifa

Васильевск. Остров
2-ая линия, д. № 15, кв. 25.

Заказное
Москва
Чистые пруды
Мыльников пер., 4, кв. 2а
Катаеву
для
Ильфа

Одесса, 12 августа 23 г.

Иля, голубчик, мне ужасно плохо. Боже, как мне плохо.

Иля, простите меня. Я потеряла Чина.

Вы можете понять, что я потеряла Чина. Господи, Господи. Маленького, чудесного, дорогого Чина.

Вчера. Это было вчера.

Иля, мне очень не хотелось ехать в трамвае. Очень не хотела. Но болела нога. Не хотела ехать. И поехала. Не хотела покупать семечки и купила. Я ехала и грызла семечки. Я хотела сесть у открытого окна. Был вечер, и было темно. Я стояла у закрытого окна. Так вышло. Родной Иля, так вышло. Скорлупы нельзя было бросать на пол. Окно было закрыто, и я бросала их на колени. А на коленях лежал единственный Чин. Разве вы знаете, как я его любила. Разве вы знаете, как мне плохо.

Бог мой. Мой маленький Чин. Вы поймите одно — его нет. Чина нет. Господи.

Потом я увидела на передней площадке человека со стригущим лишаем. Проклятый человек. Всё проклято. Зачем я?

Он смотрел на меня. — Едете уже домой? — спросил он меня через открытую дверь.

Была одна остановка, была вторая. Я не хотела вставать, я не хотела вставать. И вот я встала, встала, чтобы потерять Чина. Потерять. Господь мой. Что я наделала.

Я встала и вышла.

Зачем я вышла.

Я должна вам все рассказать. Вы должны знать, как было.

Иля, милый, родной, простите меня.

Руками я поддерживала платье, где лежали скорлупы.

Господи, вот играет музыка. Зачем мне ее? Мне ничего не надо. Вот петух орет. Иля, простите вы меня? Боже мой.

Но я сделаю всё, чтобы его найти. Всё, что возможно.

Да, я вышла на площадку. Я улыбалась и улыбалась, выбрасывая сор, среди которого лежал мой Чин. Наш Чин. Что я сделала.

И я разговаривала с этим человеком. Зачем он сел именно в этот трамвай. Зачем я должна была его встретить.

Иля, вы понимаете, что я сделала. Иля, голубчик. Я Маруся. Большая, бедная Маруся.

И вот он сошел. Я осталась. Мне нужно было ехать дальше. Я должна всё рассказать. Я не могу.

Чин. Где Чин? Кисти, ключ, книга, но Чин, где же Чин?

Боже, что мне сделалось. — Остановите вагон, остановите.

Нет, прежде я вошла и спросила человека: Вы подняли? — Что? Ничего не видел. — Скажите правду. — Вы не понимаете, что вы говорите, — сказал он мне. Человек, сидевший раньше напротив меня.

Иля, что мне было. Иля.

Иля, как я люблю вас. Ведь Чина дали вы мне. Вы, вы, вы один, мой любимый. Господи.

Какая я ужасная. Никогда больше в жизни не дарите мне. Чтобы я не теряла и мне не было бы так больно. Чтобы я так не любила их. Вас люблю. Иля, вас. Господь мой. Никогда. Милый, дорогой, никогда.

Иля, родной, потом я бежала. Бежала. У меня так болела нога, к тому месту, где я выбросила семечки. Я ничего не чувствовала. Как долго. Как ужасно. Как сквозь сон я слышала — орали извощики и мальчишки: Стой, куда она бежит? Стой! — Как это было ужасно. Но мне было все равно.

Иля, что я сделала.

Иля, выбросить Чина, маленького, дорогого Чина.

Неужели вы меня не ненавидите? Иля, голубчик, я бежала. Боже, как долго. Я задыхалась. Я искала.

Но ничего не было. Нет, было всё, кроме дорогого маленького. Арбузные корки, корки от дыни, бумаги, и только его не было.

Как я могу писать об этом.

Как я могу. Нет, я все могу. Иля, я села на тротуар и плакала. Мне было все равно — у меня нет больше Чина. И я плакала. Я слышала, как люди говорили: Она плачет. Посмотри, она плачет.

Тогда я вскочила и побежала обратно, всё ища. Но не было маленьких, дорогих ручек. Наш Чин.

Иля, наш Чин.

Господи, как мне тяжело.

Иля, как мне тяжело.

Зачем вы мне его дали, зачем я так любила его, зачем я его потеряла, чтобы было так больно.

Я всегда умею уговаривать себя, тут я не могу.

Еще раз, еще раз, много раз бежать туда и обратно. И не находить. Боже мой. Не было ног — так много спотыкались о мостовую, не было рук — они так много искали.

И в голове только одно без конца — Чин, мой маленький дорогой Чин — без конца.

Я говорила, много говорила и все одно, одно.

Я сделаю всё, чтобы его найти. Я сделаю всё. Что мне будет?

Нищая кричала: Что вы потеряли, что вы потеряли?

И когда подошла девочка, я закричала: Убью!

Потом я побежала к знакомым. Я знала, что их нет дома.

Люди ходили и улыбались. Им было все равно, что у меня нет больше Чина.

Конечно. Конечно. Конечно.

Их не было дома. Я могла плакать. И я лежала на полу и плакала, много плакала. Мне не было стыдно — у меня не было больше Чина. Уже полчаса нет Чина. У кого мой Чин?

Маленький Чин у чужих. Не у меня. Боже мой. Я не могу больше его поцеловать.

И Иля его целовал.

Я не знаю, но я вам писала. Я не помню, что я писала. Иля, любимый Иля. Уже ночь и день его нет у меня... Я потеряла нашего дорогого Чина.

Я не знаю, как вы его любили, но я знаю, как я его любила.

Иля, Чина нет. Понимаете, Чина нет.

И я писала и плакала.

Я плакала и писала Иле, как мне было плохо.

Разве сейчас мне не плохо?

Разве я не плохая? Иля, скажите, что я плохая.

Что мне теперь делать?

Но я сделаю все, чтоб его найти, и если не найду, я не знаю, что мне будет.

Но я его страшно любила. Иля, вы верите мне, что мне очень больно?

Я маленькая, бедная Маруся, что потеряла Чина.

Иля, мой бедный, любимый. Иля, я очень нехорошая. Я сделаю всё. Иля, что же это? Иля, пойму, вы не со мной? Иля, голубчик, как мне больно. Иля, мой добрый, чудесный Иля. Чина нет, маленького, дорогого, любимого.

Родной, что мне делать? Иля, я хочу с вами. Я не знаю, что мне будет. Дорогой Иля. Иля. Иля мой.

Иля, родной, дорогой милый Иля. Иля, где Чин. У кого сейчас маленький Чин. Я сейчас, сейчас его выбросила. Зачем ты мне дал Чина. Я говорила — на всю жизнь. Я говорила — на всю жизнь. Крест, лента и маленький дорогой Чин. Иля. Иля. Иля. Ты зачем далеко. Ты зачем не со мной. Пойми, что все больно. Я задыхаюсь. У меня нет сил. Что мне сейчас делать. Иля, ну со мной будь. Иля, со мной. Иля, нет бумаги. Я не могу больше писать тебе. Иля, я люблю тебя. Иля милый.

Августа 13-го <1923>

Сегодня 13-ое.

Сегодня ровно четыре месяца, как вы дали мне Чина.

И вот уже его нет.

Вы приехали в пятницу. Это было в воскресенье. Я лежала на бедном рваном диванчике, когда вы принесли его, держа двумя пальцами за маленькие ручки.

Тогда я не любила его. Нет.

И разве знала, что так полюблю.

Чин всё уже видел и слышал. Теперь нет. Он не сидит на столе с поднятыми ручками и не видит, как я пишу Иле.

Как это всё нехорошо.

Всегда, всегда со мной. И ночью в руках. Всегда.

Это было 13-го.

Я помню, я всё помню.

И вы уехали 20-го, Иля. 20-го, а не 19-го.

Это было через неделю после Чина и тоже в воскресенье.

Я все помню. Я все очень хорошо помню.

И вот в это воскресенье будет ровно четыре месяца, как вас нет. Как долго, как страшно долго. Что же это?

20-го августа. Я знаю. Я помню.

Иля, я посылаю все, что писала. Я не прочту. Иначе я не пошлю.

Я не помню, что писала. Не надо.

Сейчас утро, сейчас солнце, и сейчас большой шум из открытого окна.

Мне тяжело спокойно.

Мне больно.

Мне больно, очень больно всё, что с вами. Чина нет.

Вы знаете, как я люблю вас.

Мне ничего нет, кроме вас. Больше ничего.

Вот сколько я вам написала.

Иля, голубчик, ведь это ничего?

Чина нет.

Иля, ведь это не плохо, что так много написала?

Иля, я ведь люблю вас

Мне очень плохо.

Мне очень больно.

Как мне было. Бог мой.

Родной, вы не будете сердиться на меня?

Милый родной, не будете?

Разве я виновата, что все так? Чина нет.

Маруся

Москва, август 18 [1923]

Девочка, девочка, разве можно так огорчаться? Девочка милая, бедная Маруся, как же так? Наверно, руки были холодные. И мокрые глаза. Зачем, девочка? Ну, очень больно. Я знаю, девочка, я сам его очень любил. Но так плакать. Девочка, родная, бед-

ная Маруся. Разве ты виновата. Бедная девочка, столько плакать. Ну, очень хороший, милый японец. Ну, я подарил. И потерян. Очень жалко, очень. Но я его не желаю. Зачем столько плакать. Я его даже уже не люблю — тебе было плохо из-за него. Милая девочка, целую холодные пальцы и мокрые глаза. Милая, маленькая, трогательная девочка. Разве из-за этого перестают любить. Очень люблю мою девочку. Ты ведь знаешь. Очень много любви и очень много нежности. Тебе больше нельзя оставаться в Одессе. Ты приедешь и всё расскажешь. Бедный друг. Я очень жду ответа на письмо, которое послал из Петрограда. Скорей бы это всё сделалось и ты уже приехала бы. Мне очень больно за тебя. Я очень тебя люблю. Разве ты не знаешь, что я ничего тебе не скажу из-за того, что ты потеряла Чина. Бедный, дорогой мальчик. Я люблю тебя за это еще больше. Отпустят тебя дома скоро? Это ведь ужасно, если тебя не захотят отпустить. Как бы скорей узнать. Тебе будет чудесно в Петрограде. И я смогу тебя видеть чаще. А в Одессе оставаться нельзя. Нельзя больше ждать. Голубчик, девочка, приезжай скорей. Напиши скорей, я жду. Когда я получу ответ, я сейчас же сделаю всё, чтобы ты могла выехать. А плакать и огорчаться из-за Чина не надо. Я подарю что-нибудь другое. И ты терять уже не будешь.

Милый мальчик, целую тебя. Мне очень трудно ждать тебя. Очень тяжело. И это письмо. Такое отчаянное. Успокойся, девочка. Много тебя целую.

Твой Иля

Одесса, 18-го августа, 23 г.

Постойте, Иля, да, конечно, это так.

Вы говорите — немедленно.

А это очень трудно, так сразу.

Я очень хочу этого, и мне будет совсем, совсем иначе.

Господи, что я пишу. Совсем не то.

Родной мой, мне очень трудно писать. Так сразу это очень трудно устроить.

Конечно, я поеду. Я страшно хочу. И я буду видеть вас, а это много, слишком много для меня. Маленькой Маруси.

Родной, что я могу думать?

Ну скажите, что я могу думать. Я ничего, ничего не знаю. Только то, что я буду видеть вас, и это самое главное.

И для меня это еще совсем неправдоподобно.

Я. Мария? Я?

Это чудесно. И это будет. Я поеду. Я обязательно поеду. Но надо всё устроить. Что — я не знаю.

Но я знаю, что когда так, то говорят — надо всё устроить. И кто же устраивают, а потом уезжают.

Что мне надо делать?

Я еще ничего не понимаю. То есть я всё понимаю, что очень просто. И это очень страшно для меня, что я всё буду видеть.

И я поеду, обязательно поеду. Правда? Иля?

Родной, милый Иля, я смогу увидеть вас? Это правда? Ведь, Господи, это чудесно. Боже, как мне хорошо. Иля. Иля. Добрый, хороший.

Ну как это будет? Что же это? Господи, как я пишу совсем не то. Совсем не то. Но я просто не знаю, как писать. Иля, милый. Постойте, но вы всё понимаете. Да, Иля. Главное, вы всё понимаете. Да, хорошо. Непременно. Обязательно. Конечно. Иля, голубчик, Иля милый, чудесный и дорогой.

Иля. Да что же я хотела сказать.

Я не знаю, я ничего не знаю и пишу совсем не то.

Но я хочу. Конечно, поеду. И это скоро надо устроить. Да, Иля?

Милый Иля, вы, наверно, знаете.

Родной мой.

Маруся

Иля, я написала совсем не то, что надо.

Но вы все поняли.

Но это можно устроить и это будет удобно?

Я ведь ничего не знаю.

Это можно устроить? Да?

И Миша ничего? Да?

Господи, ведь я ничего не знаю.

Маруся

Иля, вы всё напишите. Да?

Москва, август 20 [1923]

Девочка, я получил телеграмму. Я скоро тебя увижу. Я буду много о тебе думать и ждать. Постарайся приехать как можно скорей. Я очень тебя жду. Теперь, вот что тебе нужно сделать. Я буду точен и постараюсь быть спокойным, чтобы чего-нибудь не наврать.

Деньги я посылаю одновременно с этим письмом. 3 червонца — этого на дорогу хватит.

Вот что тебе надо сделать.

Взять свои вещи — все, что тебе нужно. В вагон взять вещей как можно меньше. Надо непременно: пальто, одеяло и маленькую подушку. Это в вагон. Остальное сдать в багаж до Петрограда через Москву. Плацкарту взять на скорый поезд только до Москвы. Итак — билет до Петрограда, плацкарту до Москвы. Это можно сделать (и нужно) за день до отхода поезда. На городской станции — Скобелевская улица. Попроси кого-нибудь из мальчиков — они это сделают. Когда будешь выезжать, телеграфируй день, когда выехала. До этого пиши мне. Целую тебя, милый дорогой ребенок. Я тебе, думаю, успею еще написать. Пиши.

Твой Иля

Москва, август 24 [1923]

Дорогая девочка, не надо так теряться. Все — спокойствие. Я уже писал тебе, как и что. Не помню

только — достаточно ли внятно. Это ведь просто. И попроси потом кого-нибудь из ездивших — тебе помогут.

Собирают вещи, хорошо их упаковывают, сдают в багаж до Петрограда. До этого же самого места покупают билет. Плацкарту до Москвы. Потом едут, предварительно вежливо попрощавшись со знакомыми. Я тебе уже писал. Думаю, что всё это не опасно и ты легко уедешь.

Признаться, мне тоже трудно писать деловые письма.

Деньги я уже послал. А относительно Миши не тревожься. Там будет очень хорошо. Было бы, конечно, лучше, если бы я смог приехать за тобой. Но я не могу сейчас приехать. Жду от тебя еще писем. Если успеешь, напиши. О выезде телеграфируй. Девочка, мальчик милый, не волнуйся, сделай всё спокойно и не спеша.

Твой Иля

Одесса, сентября 7-го [1923]

Сегодня серо, серо, Иля, и маленький дождик все время. Мне капельку страшно, что уже осень.

Сейчас так, немного нудно. Не знаешь, что делать, где сесть.

Иля, я не сумею выехать в воскресенье [9]. А это будет во вторник [11]. В четверг я приеду [13]. Буду телеграфировать.

Ну, так всё.

Мне сейчас как-то так. И вообще как-то не по себе. Ну, неважно.

Вот, Иля, мой родной, уже в следующую пятницу [14] я буду с вами. Мне страшно, что нет солнца. У вас тоже нет солнца.

Иля, почему-то так. Что ничего — и всё.

Маруся

Иля, когда я буду, я всё, всё расскажу.

Мне писать теперь невозможно. Очень трудно.

Уже нельзя.
Вы уже не успеете написать мне.
Иля, родной, всё очень хорошо. Ведь всё хорошо.

ИЗ ПЕТРОГРАДА, ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ В МОСКВЕ

Петроград, 18-го сентября [1923]

Иля, мне очень хочется, чтобы с вами. Иля, мне очень печально. Родной, это ничего. Может быть, от того, что я устала капельку, хочу спать.

Мне никогда нет большой радости. Почему, Иля? Иля, я знаю, что люблю вас. Это ничего, что я пишу об этом. И всегда, что пишу в другой раз, всегда по-новому, иначе, очень. Иля, вот я что-то потеряла. Я не знаю, как всё это. Но лишь печально и усталость. Другая усталость. Я не знаю, чего я хочу. Ничего, родной, всё будет очень хорошо.

Я вас очень люблю.
Я очень хорошо ехала.
И спала всю ночь.

Маруся

Москва, сентябрь 22 [1923]

Ждал письма и жду до сих пор. Не получил ничего и чувствую легкую тревогу. Может быть, нехорошо вышло с адресом. Тогда пиши на старый, в Мыльников. Там будет, кажется, вернее. Здесь, в редакции, могут еще потерять. Надеюсь, что тебе удобно и хорошо. Приеду в начале октября непременно. Честное слово, я беспокоюсь. Отчего нет писем? Как была дорога? Встречал Миша или нет? Я телеграмму ему отправил. Получил ли он ее вовремя? Страшная чепуха всё то, что я пишу. Мне нужно письмо. Совершенно необходимо. А его нет. Уже суббота. Ты уехала в понедельник [17 сентября. — *А.И.*]. Целую. Пиши, о чем хочешь, девочка.

Твой Иля

Петроград, 24-го сентября 1923 г.

Иля, я вам писала.

Не знаю, почему вы не получили. Наверно, потерялось.

Ну, это не важно. Конечно.

Вам не надо, чтобы тревога.

Всё очень хорошо.

Миша меня встретил, телеграмму получил.

Всё хорошо. И сегодня мне очень хорошо.

Я и Миша были сегодня в «Грузинском Уголке Дарьял».

Мы пили пиво.

Здесь очень чудесно. Если дождь, то только ночью, а днем еще ни разу не было. И Миша очень хороший. Так иногда дразнит меня, но ничего. Он сейчас рассердился на меня. Из-за фотографии одной.

Родной, ведь это совсем не важно, а я пишу.

Я очень много думаю о вас.

Каждый день и очень.

Но вы скоро приедете.

В начале октября.

Ведь это скоро.

Вы обязательно приедете.

И я вас очень, очень буду ждать.

Вы очень хороший, Иля.

Очень, родной Иля.

Мне сегодня хорошо.

Всё не важно.

Я так хотела, чтобы вы были. Иля, я очень хотела.

Но ничего.

Я никогда ни по чему, ни по ком не скучаю.

Только вы. Это правда.

Голубчик Иля, мой хороший. Всё будет очень хорошо.

Я скоро вас увижу.

Это будет очень хорошо.

И мы будем вместе ходить по улицам.

И сидеть будем вместе, и всё видеть будем вместе.

Иля, я очень хочу.

Ничего, родной.

Это ничего, что не было письма.

16 – 4720

Вы... Ничего, не надо.

Иля, ну хороший, всё это очень ничего.

Только я страшно, страшно рада, что вы скоро приедете.

Ведь это скоро?

Я так мало была с вами. Всего полтора дня. Ну, ничего.

Вы скоро приедете.

Хороший мой Иля.

Маруся

Вложенная в письмо записка Миши Рыжего:

Петроград, 25/IX 1923

Дорогой, мне, собственно, не о чем писать. Обо всем лучше и нужнее тебе, наверное, напишет сама Маруся. То, в чем я принимаю посильное участие, — устройство ее обиталища, подвигается медленно, но верно. К сожалению, это вопрос денег, а не доброй воли. Их у меня в настоящее время и нет. Очень жду твоего приезда.

Твой Миша

МАРУСЕ — ОТ ЕЛЕНЫ АНДРЕЕВНЫ ТАРАСЕНКО ИЗ ОДЕССЫ

Петроград. Васильевский остров,
2-ая линия, д. 15, кв. 25

1 октября (ст. ст.) 1923 года. Вечер

Дорогая и милая моя Марусенька!

Только получила за целый месяц первое письмо и сейчас же тебе отвечаю. Получила я только твое второе письмо 31 сент. ст. ст., а первое твое письмо я не получила, оно, наверное, пропало где-то в дороге. Я так беспокоилась и сердилась на тебя, что так долго от тебя нет никаких известий. Я посылала телеграмму в Москву на имя Или, но никакого ответа на нее не получила. Я не знала уже, что думать про тебя, думала, что ты заболела или уехала за границу. Чего только я не передумала о тебе, и сколько я пролила слез, один

только Бог знает, потому что я Ему молилась и просила Его помочь тебе и не оставить Своей милостью. Боже, Боже, что я пережила, как пришла с вокзала, мне казалось, что у меня вырвали кусок моего сердца, до того мне было жаль тебя. На вокзале я не плакала, но когда зашла в комнату, я залилась горькими жгучими слезами, потому что Мурца моя уехала. И так хотелось рыдать без конца, но надо было себя удерживать, потому что надо было идти в пекарню, а перед людьми не хотелось показывать свое горе. А потом каждый день стала ждать от тебя письма, и как проходил одиннадцатый час, так мне становилось грустно, и слезы сами лились из глаз. Я так беспокоилась, чтобы ты доехала благополучно, и чтобы ты ничего не потеряла и не забыла в вагоне, ты же у меня моя, маленькая большая девочка, за которой надо смотреть, чтобы она нигде ничего не забыла и не потеряла. Ну, прости, что я тебе напоминаю твои оплошности. Как я была рада, когда я получила твое письмо и начала читать, но читать я не могла, потому что стала плакать, когда прочла твои слова: дорогая мама! Тогда Надя взяла письмо и стала читать его вслух, а мы с Женей слушали, но когда дочитали до того места, где ты описываешь свой день рождения, то мы с Надей вместе зарыдали, а Женя начала на нас кричать и говорить: «Перестаньте, потому что и я запла́чу вместе с вами, и еще напишу Марусе, чтобы она вам совсем не писала». Я в твой день рождения тебя минуты не забывала целый день и всё думала, как ты там сама одна в чужом городе — вдали от родных, от своей ворчуньи мамы, которая, может быть, в этот день тебя бы за что-нибудь выругала. Но я в тот день подала в церкви просвирочку за твое здоровье и поставила свечу Николаю Чудотворцу, чтобы он тебе во всем помогал. Испекла я два пирога и кой-кого угостила, и они пожелали тебе всего, чего ты пожелаешь. Но раньше утром, когда я встала, то первым делом достала карточку и поцеловала свою дорогую Мурцу и, конечно, не без слез, потому что было так обидно и жалко, что в такой день я даже не знала, где ты, не имея от тебя никаких известий, не зная твоего адреса, куда послать тебе телеграмму и поздравить тебя. Ну, ничего, Бог даст, мы доживем еще до такого дня, и тогда будет иначе.

Я собиралась писать к Иле, чтобы он что-нибудь написал о тебе. Но все-таки я первого письма твоего не получила и не знаю, как ты приехала, где ты живешь, как ты устроилась, имеешь ли ты

свою комнату или с кем-нибудь сообща. Не голодаешь ли ты там, потому что там все дорого и всё иметь очень трудно, у нас хоть хлеба было вдоволь. Кто тебе теперь без мамы стирает и смотрит за твоими вещами, смотри, Музочка, сама теперь и приучай себя быть аккуратной. Как ты свой багаж получила — в целости, ничего не пропало? Но я думаю, что там дожди и холод, ты не имеешь ни ботинок, ни галош, может быть, мы вышлем тебе деньги и ты себе купишь теплые боты, потому что я хотела здесь заказать и выслать, но мне говорили, что в Петрограде вещи гораздо дешевле, чем здесь у нас в Одессе.

Ты просишь выслать тебе твои картины. Я как-нибудь постараюсь это сделать и пришлю тебе их с кем-нибудь из железнодорожников, а если не смогу, то сдам в багаж. Папа твое письмо читал три раза и страшно тебя жалел, и грустит о тебе, и говорит, что ты глупая девочка, захотела ехать сама так далеко в чужой город и теперь так скучаешь сама одна, но тебя никто не запретил, так что пенять не на кого. Он страшно жалеет о том, что он так грубо с тобой поступил перед твоим отъездом, и всё беспокоится о тебе, чтобы ты там не голодала. Дела наши немного поправились, и мы смогли отдать свои долги и не платить проценты. Работаем мы все по-прежнему, с утра до ночи все хлопочем. Сейчас у нас все дорого: хлеб белый 20 м.ф., масло коровье 280 м.ф. Тяжело, Мурца, живется твоей мамке, много забот, много печалей. Но зачем пишу я так, ведь тебе и так невесело и так скучаешь и грустишь, и, может быть, ты жалеешь, что уехала от нас, из наших маленьких комнат, на окнах которых стоят цветы. Что же еще тебе написать, моя милая дочечка? Сейчас сижу и пишу тебе письмо. Надя сидит и вышивает себе шляпу. Женя уже спит, а папа тоже отдыхает на кушетке, а я пишу и пишу и никак не окончу писать. Я каждый день тебя вижу на карточке, целую тебя и говорю: где ты, моя Мурочка, моя дорогая дочка, и когда я смогу тебя увидеть, обнять тебя и прижать к своей груди. Но ты, Мурца, не скучай крепко за нами. Мы тебе ведь надоедали, ругали тебя все, и ты не раз плакала из-за нас. Пиши мне, дорогая, если тебе, может быть, там нехорошо, приезжай домой, и будем опять вместе жить и делиться, что имеем. Папа мне говорит: «Напишу Марусе, что ты не сделала того, что Маруся писала, — чтобы ты меня поцеловала, ты и не думаешь». Ну, кажется, довольно писать, я уже и так много нацарапала куриным почерком

своим. Пишу тебе письмо ровно через месяц, такого числа, как ты уехала, от 1-го сентября до 1-го октября.

Ну, до свиданья, моя дорогая, моя любимая, моя гордость, мое счастье, пусть тебе Господь поможет во всех твоих делах, а я буду молиться и просить. Привет тебе от Папы, Нади и Жени и от твоей дорогой мамочки, которая тебя целует несчетно раз, моя милая дорогая Муза.

Жду ответа с нетерпением. Пиши письма заказные, они не пропадают.

Приблизительно в это же время возникает параллельная эпистолярная линия: общий друг Семен Гехт (он в Москве) переписывается с общей приятельницей Генриеттой Адлер (она в Одессе). Поначалу истории героев и героинь совпадают (любовь в разлуке), однако вторая линия вскоре обрывается.

К сожалению, нет возможности воспроизвести полностью все письма Гехта, связанные с жизнью одесситов в Москве. В отличие от воспоминаний, они отделены от излагаемых событий если не минутами, то всего лишь часами.

СЕМЕН ГЕХТ ИЗ МОСКВЫ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

30 сентября — 23 г.

Милый друг, Генриетта!

Ваше письмо печально.

Вам скучно в сонной Одессе, где справа — Гершуненко, а слева — Кирсанов. Еще бы!

Вообразите — я вчера стоял на Лубянке у городской кассы за билетом в Одессу. Не достал и... передумал. Итак, у вас нет комнаты в Москве. Это во-первых. Далее: комната здесь стоит 500 р. Золотом — денег много.

Если бы вы позволили и мне думать об этом — я бы приложил к этому делу свои старания. Думаю — не без удачи. Есть еще совершенно простой выход из положения. Это — линия наименьшего сопротивления — тихий Петербург.

В Петербурге имеются комнаты. Кстати: я поручил Ильфу, уехавшему туда вчера, узнать все подробности найма, а также район.

Или Москва, и только — Москва? Впрочем — об этом потом. Я ведь не получил еще права подробно говорить об этом, да и не только подробно. А потому жду вашего ответа.

Гехт

Ильф был в Петрограде с 30 сентября по 2 октября 1923 г.

Петроград, 2 октября [1923]

Дождь, Иля. Мы не пойдем в кинематограф. Завтра. Мне всё время кажется, что вот сейчас вы придете. Всё время. Вы сейчас едете. Да.

Я уже пишу вам. Вы всё время перед глазами. Здесь, на вокзале, обед, еще и еще. Нужно иначе писать, не так, как прежде, теперь иначе, и как — не знаю. И вообще совсем не так, как прежде. Я не знаю.

Мне уже лучше. Всё печально, но не так. Очень печально, но хорошо печально. Ну, что, Иля, если я буду писать, как долго не с вами. Это ничего. Совсем ничего. Может быть, даже лучше. Я не знаю. Я буду хорошо жить, Иля. Так, чтобы лежать на кровати оставалось бы очень мало времени. Но я так долго лежала, так отупела, что казалось, не может быть иначе, так уже... [*листок не дописан*]

Москва, 3 октября [1923]

Милый дорогой мальчик, это время прошло страшно быстро и как будто не было. Я опять сижу в редакции. Ты опять очень далеко. Но я знаю, что то время, когда я не знал, через сколько времени увижу тебя, это время прошло. Конечно, печально. Тебя опять нет. Но мы будем видеться. Я знаю, когда, и ты знаешь. Так уже гораздо легче. Но очень печально. Все-таки иначе не может быть. Не надо быть печальной, мальчик, ведь всё хорошо. И ты сказала «постараюсь». Это очень мило. Очень. Ты не сказала да, а сказала «постараюсь». Мальчик, милый ребенок, я очень тебя люблю. Но ты все-таки красивей утром в постели, когда ты не напудрена. Напиши

мне о кинематографе. И напиши, как ты стараешься и что у тебя выходит. Надеюсь на тебя. Будь весела, девочка, и не печалься. Не скучай и пиши мне. Целую много и крепко.

Твой Иля

Мише передай привет.

Октябрь 10 [1923], Москва

Девочка Маруся, ты лучше меня всё помнишь. Отчего я не помню так, как ты. Как мало. Я должен запомнить всё, а помню мало. Сегодня год. Сколько я уже забыл. Как можно было забыть. Этого ведь больше никогда не будет. Черный Вознесенский переулок. Я видел его только раз в жизни. На извозчике ты крепко держала мои пальцы. Это было только раз в жизни, и никогда уже так не будет. В темноте, у вокзала. Мальчик, мальчик, как мне трудно писать. Труднее, чем когда бы то ни было. Мне не хочется писать. Мне хочется лечь и думать только о тебе. Это не трудно, а писать мне очень трудно. Мне нужно вспомнить всё, что было. Столько было. И всё так далеко отодвинулось. Был снег, была печка. Была темная комната, было холодно, было тепло, сколько было. Я лежал дома. Я шел от угла Софиевской и надеялся тебя встретить. Было больно, было хорошо, ты была, и тебя не было. Я не помню, но было письмо, конверт был взорван, и я в первый раз увидел твое письмо. Буквы, которые ты писала. Раньше летом я видел только строчку, написанную в книге стихов, но когда я спросил, ты сказала, что не знаешь, кто писал. Что я узнал о тебе тогда? Разве я знал милую мою большую Марусю. Потом был снег, и была сумасшедшая любовь. Только ты. Боже, какой был холод, как было темно, мучительно. Страшный день, страшная ночь. Нельзя так, я всё забыл, мне нужно вспомнить, я вспоминаю.

Мальчик, я безобразно пишу, мне хочется скорее всё написать. Я никогда не смогу тебе сказать, как я тебя люблю. Мне очень больно сейчас. Это хорошо. Хорошо, что больно. Мне хочется, чтоб так было. В понедельник был день твоего рождения*. Дорогая девочка, что же тебе пожелать? Ты и так всё знаешь. Будь хорошей. Ты всегда хорошая. Ты мне очень много показала не таким, как я раньше думал. Нежная девочка, чем я могу тебе отдать. Что мне для тебя сделать? Я очень много тебя люблю. Это так мало.

Мальчик мой, добрый и нежный. Если я увижу тебя во сне? Я очень хочу.

Иля

*День рождения Маруси — 8 октября, день рождения Ильфа —16 октября.

Петроград, 15-го октября [1923]

Я лежала в постели, когда Миша через занавеску бросил мне письмо на кровать. Прежде был звонок, и я знала, что это мне письмо от вас. Ну да, сразу узнала, когда услышала звонок.

Потом я еще долго лежала.

Теперь светло, ясно и много солнца. Все время я читала. Много-много желтых листьев. Этот город очень хорош со своей осенью.

Сегодня 2-ое октября [по старому стилю]. Завтра 3-е октября.

Я помню. Был вечер. Нет, было еще светло, но скоро должен был быть вечер.

Вы пришли. Вы сидели под портретом Наума [Соколика]*. Я у Генриетты на коленях.

Было холодно. И мне было холодно. Это было год тому назад.

Потом не было папирос.

Не было у вас, не было у Генриетты. У меня были.

Вы не знали. Я вытащила и показала. Вы оба не хотели взять и дразнили меня.

Я была очень зла. Бросила их на столик.

Потом она ушла.

Вы положили мне голову на колени и сказали — я обижен.

Я поняла, мне так казалось, что вы думаете, что я забыла, что сегодня 3-е.

Но я помнила.

Потом спустя время я спросила — Иля, сколько вам сегодня лет?

— Двадцать пять, — сказали вы. Я помнила.

Теперь вам двадцать шесть лет. А мне девятнадцать. Год вам, год мне. Больше. Всё больше. И кажется, что очень давно было то 3-е октября. Ужасно полный год. Очень много было.

Книжка была — стихи Городецкого. Это тоже помню.

И как вы спрашивали — помню.

И сидели мы на дырявом диванчике, и вы вот так держали книжку.

Разве вы должны помнить?

Вы могли бы помнить, но вы не помните. Это ничего. Ведь я помню.

А Софья Осиповна всё поет — «Твоей кожи загар...» Больше она не знает, только эти три слова.

Ну, ничего. Муха все время жужжит. Бьется, но все равно ей некуда.

Разве вы виноваты, что не помните, и я, что помню. Всё это так.

У меня просто всё остается. Всегда. Во всем. Здесь больше. Здесь иначе. Здесь вы.

Так вот так. Вот так сидел, так сказал. Так всё и осталось. Как я помню день, когда вы приехали в Одессу весной, тогда. Всё, всё.

Вы пишете. Что же я могла показать вам? Что — не таким, как вы раньше думали. Что мне надо отдавать.

Я вся такая, как есть. Разве я довол... Ну, об этом не хочу сейчас.

Ну, и я буду хорошей. Я знаю. Хорошей. Да. Обязательно. Я уверена в этом. Иногда не понимают, когда я говорю «хороший!», «он хороший». Если он хороший, я не скажу — «он милый».

Милый. Милый, это легче, а хороший — хороший.

Вот Миша хороший. Швальбе** — он просто славный.

Я не знаю, но слово «хороший» у меня иначе, как его говорят.

Я помню, я вам сказала — я буду хорошей.

Вы не поняли и спросили — как? Для меня хорошей?

Нет, это так. Ну, довольно об этом. Хорошая не значит — не плохая. Я хочу быть плохой. Тоже иначе плохой. Пусть это ерунда. Ведь через полгода, иногда меньше, спустя всегда смеюсь над тем, что писала.

Маруся

*Сохранился портрет Маруси кисти Соколика (частное собрание).
**Сосед по квартире на Васильевском.

Октябрь 17 [1923]

Ты была в моей маленькой комнате и видела ее. Она так мала, что ее можно согреть дыханием. Пойми, что сейчас делается. В смежной комнате живут ученые комсомольцы. Когда они по вечерам сочиняют стихи, я терплю. Стихи у них получаются отвратительные, они сочиняют их вслух и хором в четыре голоса, но я терплю. А теперь терпеть больше невозможно. Они нашли себе другое занятие. Они таскают из штабелей дрова и топят свою печь. Печь у нас общая, а мою маленькую комнату можно согреть даже дыханием. Словом, я дохну от жары, как муха. Кафельные плитки мерцают даже в темноте. Черт бы побрал этот штабель, похожий на канадский блокгауз, и ученых соседей.

Мне жарко. Днем я стараюсь не приходить в свой маленький, радостный ад, днем я болтаюсь, как повешенный, и чувства мои тоже, как у повешенно-

го — черные, серые и синие. А вечером я прихожу, каждая кафельная плитка — это маленькая пылающая площадь. Мне снится электрическая курица и еще много механических нелепостей. Сначала курица. Это сон. А потом разрушение Москвы. Это, к сожалению, уже не сон, а бред. Это в пять утра во двор типографии врываются грузовики, чтобы развозить на вокзалы газеты. Канадский блокгауз отчаянно защищается. Шоферы остервенело кричат. Отчаянная свалка. Это черное, серое и синее утро. Какой сон, почти бред, в криках, в желтой духоте. Мне отчаянно больно, я почти беззащитен, я слышу жалобные, тихие, трогательные стоны. Потом оказывается, что стон — это мой стон, и когда я начинаю это понимать, тогда и начинается новая катастрофа. Петух, настоящий, железный, раскрашенный петух саблей рубит мне голову. Автомобили ползают, как крокодилы. От сильного отвращения я окончательно просыпаюсь.

Это вовсе не то. Настоящая весна, с мокрыми крышами, хорошим полосатым солнцем, с детским синим и красным мячом и влажной, сверкающей, как серебряная бумага, мостовой.

Милый, милый мальчик, и в это время, в такое утро, когда можно только смеяться и радоваться, тебя нет. Выйти из бредовой комнаты, услышать отчаянное клепанье молотков у памятника на Никитских воротах* и тяжело, грустно подозревать, что у тебя, может быть, идет дождь. Милый, дорогой мальчик, я буду очень рад, если узнаю, что над Петроградом на ниточке висит такое же детское солнце, как у меня. И утро не синее, не серое, не черное. А зеленое и розовое, как шелка́. Небо из одеколона, небо из воды, из хрустальной чепухи. Вот уже три дня, как здесь именно такое.

Что ты делаешь, моя девочка? Работаешь уже или еще нет? Целую тебя, дорогой мальчик. Мишу я не целую. Пусть подрастет, а там мы посмотрим.

Скажи ему об этом и издевайся над ним. Это сделает его веселее и понятнее для посторонних. Тебе не скучно? Мне очень скучно. Вечер битком набит весенней темнотой. Вчера я шел по Тверскому бульвару. Бежала девушка в платочке, плакала и спрашивала: скажите, где угрозыск? Я ей показал, и она, плача, пропала в темном дворе. Это была весенняя тревога. Темнота, такая, как только бывает весной, залезала повсюду, и электрические фонари гасли под ее напором.

Я очень тебя люблю, и оттого, что люблю, мне печально, когда что-нибудь хорошо. Отчего ты мне так мало пишешь? Раньше ты мне писала чаще. Скучно тебе? Бедный, хороший мальчик, отчего ты не пишешь? Мне сейчас очень скучно. Я знаю, что будет. Когда ученые комсомольцы кончат петь про семейство «де кошон», они пойдут к штабелю. А потом из печки полезут электрические, горячие оболтусы и будут обжигать мне лицо. А перед утром с треском начнет разваливаться Москва. Конечно, это обман, и утро будет хорошее. Но почему ты не пишешь? Вчера по реке лезло бредовое солнце и доходило до самого края глаза. Оно торчало сбоку, невидимое и ослепляющее. Утром закричат бредящие шоферы и заартачится автомобиль. Мне очень хочется получить письмо. Мальчик, ты мне веришь? Целую твои милые губы.

Иля

*Возведение памятника Тимирязеву.

СЕМЕН ГЕХТ ИЗ МОСКВЫ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

18 октября 23 г.

Милая Генриетта!

Вот уже три дня, как я здесь. В Киеве я стоял всего сутки, и это не сошло даром. Тучные штрафы высосали из меня немало бодрости. Но — побоку. Сегодня холодно. Здесь Бабель. Он читал в Доме пе-

чати — огромный успех. Будет издаваться. Шляемся с ним по Москве. Торный путь: выставка, пивные, пригороды, редакции. Завтра стадом отправляемся в Камерный театр — «Жирофле-Жирофля» (ослепительный спектакль).

К Хасису (хотя он и Генрих) не пойду. Есть почта, а я себя уважаю — да, Генриетта. И еще: хорошо, что вы тогда не пришли на вокзал. Ибо это было тяжело для меня. Я был робок, как нищий, назойлив, как автор, и жалок — жалок — нет сравнения.

Пишите, Генриетта, о планах и делах. Пишите о приезде — думаю, что ничего не изменилось. Кланяется вам Ильф, который рядом — он не заглядывает (100 процентов такта). <...>

Выставка* закрывается. Но я сумею заходить на ее территорию после закрытия. Приезжайте — и я буду добросовестным гидом.

Гехт

*Первая советская сельскохозяйственная выставка, открывшаяся летом 1923 г. на Крымском валу.

Ильф кланяется Генриетте не из вежливости — они дружили. Бондарин рассказывает о «забавном происшествии, случившемся с одной из валькирий, именно Генриетточкой» еще в одесские дни, в 1922 году. Возможно, с него и началась дружба.

БОНДАРИН: ...Илья Арнольдович гулял с нею по известному одесскому бульвару у памятника Пушкину, как вдруг девушка с ужасом почувствовала, что у нее отскочила очень важная пуговица. Разговор шел о новых спектаклях Мейерхольда, но не оставалось ничего другого, как прервать собеседника и извиниться перед ним.

— Да, — важно заметил Илья Арнольдович, — поправьте свой туалет, девушка должна возвращаться домой в аккуратном виде.

Смущенная собеседница скрылась за кустами. Но в этот момент Илья Арнольдович увидел ватагу одесских сорванцов, шумно приближающихся по аллее. Дело происходило поздним вечером, и девушка признавалась потом, какое облегчение почувствовала она, когда навстречу развязной компании твердо шагнул ее спутник и, обмахиваясь широкополой женской шляпой, оставленной на минутку в его ру-

ках, встал у куста на страже. Удалая компания прошла дальше.

Больше всего поразило девушку выражение лица Ильи Арнольдовича, человека, в сущности, мало ей знакомого, недосягаемого в ее глазах. Это было выражение непреклонной решимости...

Милые давние годы

Петербург, 21-го октября

Ну, вы не сердитесь, но мне очень смешно, что у вас такая горячая, невыносимо горячая печка.

Чудесные, ученые комсомольцы. Они мне очень нравятся. И про семейство «де кошон» поют? Это ведь замечательно. Правда, милые, ученые комсомольцы.

То, что они вас поджаривают, конечно, не совсем хорошо. Но если так будет зимой, это будет не очень плохо? Или плохо? Я не знаю.

Солнца нет. Нет, есть, только очень мало.

Есть много, много чудесных желтых, оранжевых, красных листьев. И это очень прекрасно. Поверьте мне. И мне не хочется, чтобы солнце. Всё очень хорошо сейчас.

Писать глупые, дикие письма. Нет, этого я не стану больше делать.

Хорошо. Очень хорошо.

Сегодня мне письмо от мамы и от вас. Я очень, очень рада. Подумайте, она, бедная, не знала, что думать, так долго от меня ничего не было. Целый месяц. А я послала четыре письма. Ну, ничего.

Иля, мне сейчас очень хорошо. Мне так хочется не делать глупостей. Но что я могу сделать, если я глупая.

Так вам, мой бедный, жарко?

Ну, Иля мой, мне очень это весело. Мне тоже сейчас тепло. И вам скучно? Ну, не надо, чтобы скучно. Мне не скучно.

Нет, зачем же комсомольцы, и еще ученые, и еще стихи в четыре голоса. Нет, это очень весело, когда читаешь об этом в Петербурге.

Милый мой Иля. Вы мой и хороший. Хорошо, что вы, а не ты. Ну, нехорошо — ты мой. Нет, вы — лучше. Целую я вас, Иля. Нет, я вас целую. Мой Иля.

Маруся

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

22 октября 1923

Дорогая дочь Маруся!

Здравствуй, здравствуй! Шлю тебе свой родительский привет и благодарю тебя за твою добрую память обо мне, что вспомнила и не заставила меня долго ждать, уведомила письмецом. А я думал, что ты будешь сердиться на меня за мой грубый поступок пред отъездом твоим. Я сознаюсь, что виноват перед тобой. Правда, я поступил очень нехорошо, но дело прошлое, забудем об этом.

Я сам не знаю, что со мной делалось в то время, не мог дать себе отчета, в голове мозг затуманился, и потом подумал хорошенько и каялся за свои ошибки и долго грустил об этом. Но я прежде как отец должен был узнать кое о чем, но, к сожалению моему, для меня было не ясно. Вот почему меня и злило. Короче говоря, я очень беспокоился за тебя тогда, а теперь еще пуще, думаю очень много, а именно за то, чтобы тебе не было худо. Вот что меня беспокоит.

Дорогая дочь Маруся, ты пишешь, что ты по нас скучаешь. Верю, дорогая, но что делать, далеко очень ты от нас улетела, наша дорогая и будущая художница. Ты моя гордость, да ты меня понимаешь, что я очень люблю тебя, дорогая дочурочка. Передумал очень много с тех пор, как ты от нас уехала, припомнил то время, когда ты была еще ученицею во II и III классе. Я, было, зимней порой помогал тебе, книги доносил до трамвая. Всё это мне припоминается. И думаю, что ты всегда будешь с нами.

А теперь скажу за твою дорогую мамочку. О Маруся, не могу тебе всё передать, что с мамой стало, как она по тебе грустит. Дня не проходит, чтобы она не вспомнила, плачет, сердечная, по дням и вечерам. Я, конечно, успокаиваю, но материнское сердце не понимает успокоения. День проходит за работой, а по вечерам сидим за ча-

ем у стола. Возьмет твою карточку, посмотрит да и расплачется снова.

Разбирай мой почерк малограмотный. Будь здорова, дорогая дочь Маруся.

Любящий тебя отец Тарасенко

Пиши, буду очень рад. Жду

Октябрь 23 [1923]

Милая моя, хорошая девочка, я совершенно не подозреваю даже, как ты живешь. Что ты делаешь утром, что вечером, днем, в 10, в 3 и в 12. Если тебе не трудно, напиши. Так как ты все равно этого не сделаешь, то прошу еще раз. Еще два раза, если ты этого хочешь.

Милый мальчик, я не писал так долго, потому что мне было паршиво и нехорошо. Причин, конечно, тысяча, всё пустяки, но так вышло. И потом, это моя такая манера время от времени падать на землю и разбивать колени. Так что об этом не стоит больше говорить. Маленький, дорогой мальчик, не всё есть прошлое. О том, что было, всегда приятно думать, но это не всё. Это, конечно, слабость (если сейчас нехорошо, думать о том, что уже было). Я встал, стоял на коленях, но теперь встал, и всё опять хорошо. От временного уныния никто не избавлен. Милый мальчик, хороший друг, добрая рука, мой трогательный ребенок, я приду в ярость и буду просто страшен, если узнаю, что по утрам ты не пьешь чаю. Я всегда пью чай, будь я проклят, если не делаю этого. И обедай ежедневно. В моем монастыре тишина. Оттого у меня тихие, спасающие душу мысли. Глупости, какие глупости. Просто большая чепуха. Это ужасно, когда пишешь глупости. У меня очень тихо. Как твоя живопись? Я хочу, чтобы ты написала мне о том, как ты живешь. Скучно тебе или не скучно? Маленький, хороший, напиши мне. Я тревожусь и снова тревожусь. Что ты делаешь?

Твой Иля



Дед Беньямин Файнзильберг (1860-е), бабушка (1907). Будущий Ильф с родителями и братьями (крайний справа). Одесса, 1906/1907. Список членов семьи Арье Файнзильберга, выданный Богуславской мещанской управой Каневского уезда Киевской губернии



Свидѣтельство

ОБЪ УСПѢХАХЪ и ПОВЕДЕНІИ

ученика II класса

Одесской Школы Ремесленныхъ Учениковъ

учр. Е. М. МЕНДЕЛЕВИЧЪ

За 19.. уч. г.

Бланкоиздательство М. Шпенцера, Одесса.

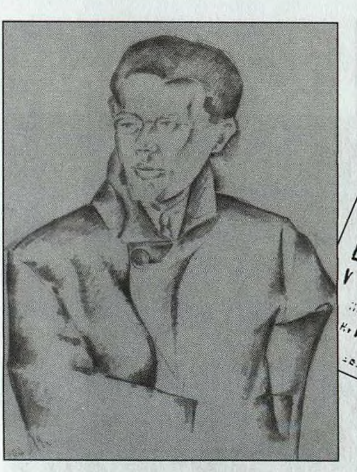
Закон Божий | Русский язык | Арифметика | География | История

3-я | 4-я | Годовой балл | Устн. | Письм. | Общий вывод | Прилежание | Отметк.

Замѣчанія | Подпись родителей

5 — отлично; 4 — хорошо; 3 — удовлетворительно; 2 — слабо; 1 — очень слабо.

Одесса, Старопортофранковская улица, 137.
Здесь родился Ильф. Сейчас на этом доме мемориальная доска.
Мальчик в ремесленном училище. Видно, что «медные деньги»
не зря потрачены. Почти отличник. Есть и похвальные листы







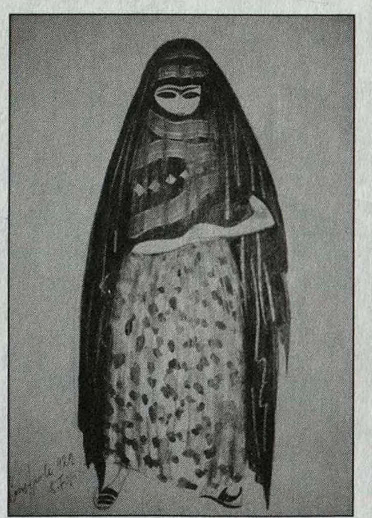


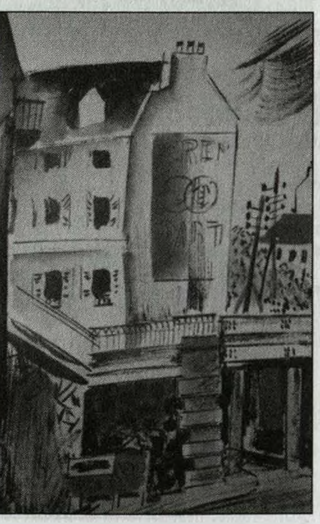


Илья Ильф. Рисунок А.Глускина. Одесса, октябрь 1919. Одесская реклама 1910-х годов. Гостиница «Большая Московская» на Дерибасовской, она же — Опродкомгуб, она же — «Геркулес» в романе *Золотой теленок*







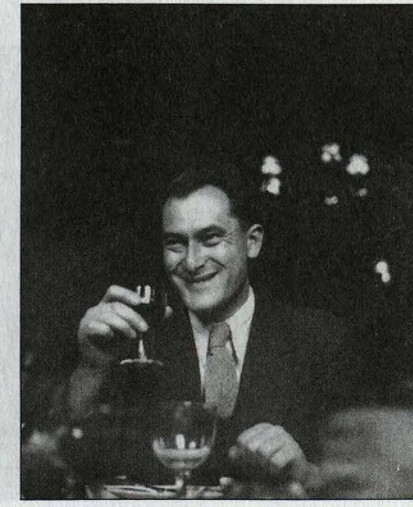


Фазини. Фотопортрет (1917). Графика: *Поэтесса Иза Кремер*, рисунок из одесского альманаха *Авто в облаках* (1915). Живопись: *Турчанка* (Константинополь, 1922), *Парижский вид* (нач. 1930-х). Собрание Рут Файнсилвер-Кон, Хартфорд, США









Парижские фотографии Фазини:

Композиция с африканской статуэткой. Вывески.

Первая половина 1930-х.

Ильф и Петров в кафе. Декабрь 1933





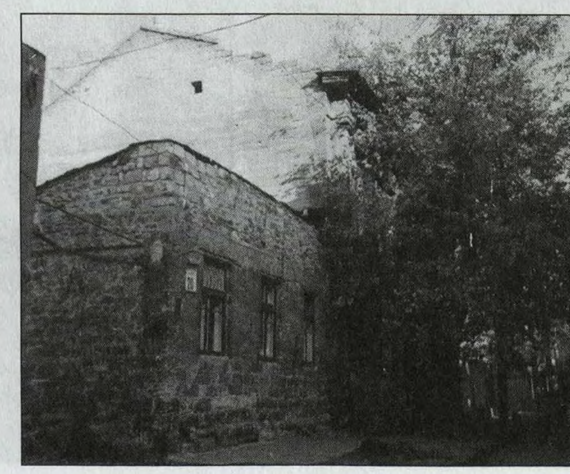




Маруся Тарасенко. Здесь она и маленькая, и постарше, и ученица гимназии Александровой вместе с классом под традиционным портретом императрицы Александры Федоровны в кокошнике

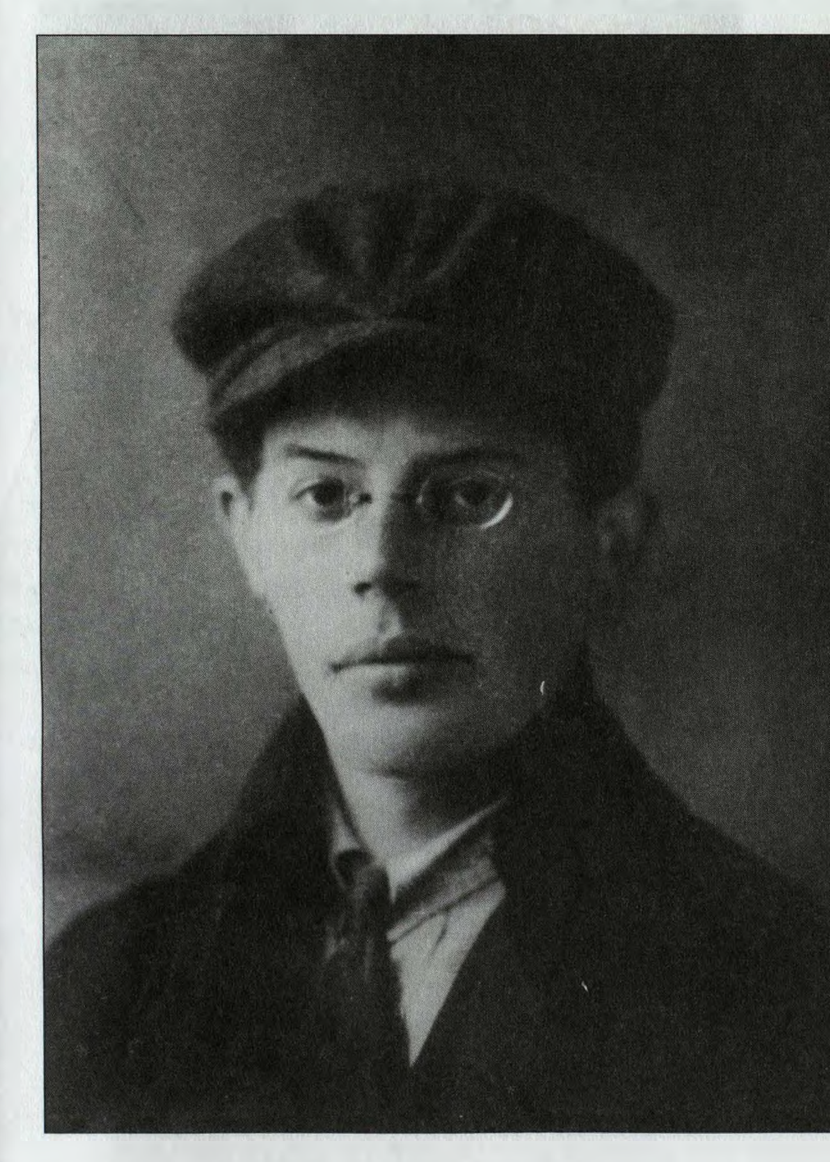




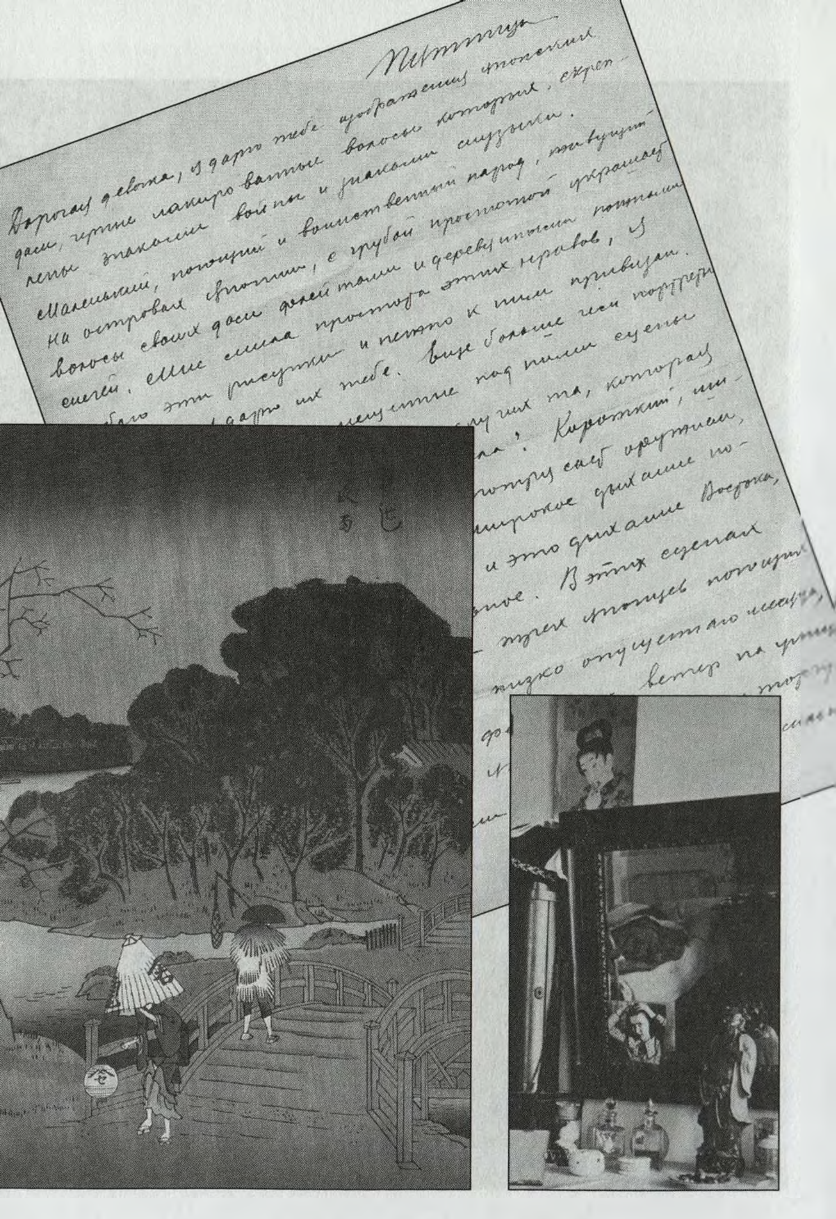


Семейное гнездо и хлебопекарное заведение Тарасенко:
Одесса, Вознесенский переулок, дом 20

«Коллектив художниц»: сидят Тоня Трепке, Маруся Тарасенко, Генриетта Адлер; справа стоит Рая Менделевич. Одесса, начало 1920-х. Сохранившиеся наброски Маруси: автопортрет и мужская модель. Одесса, 1923. Собрание А.И.Ильф



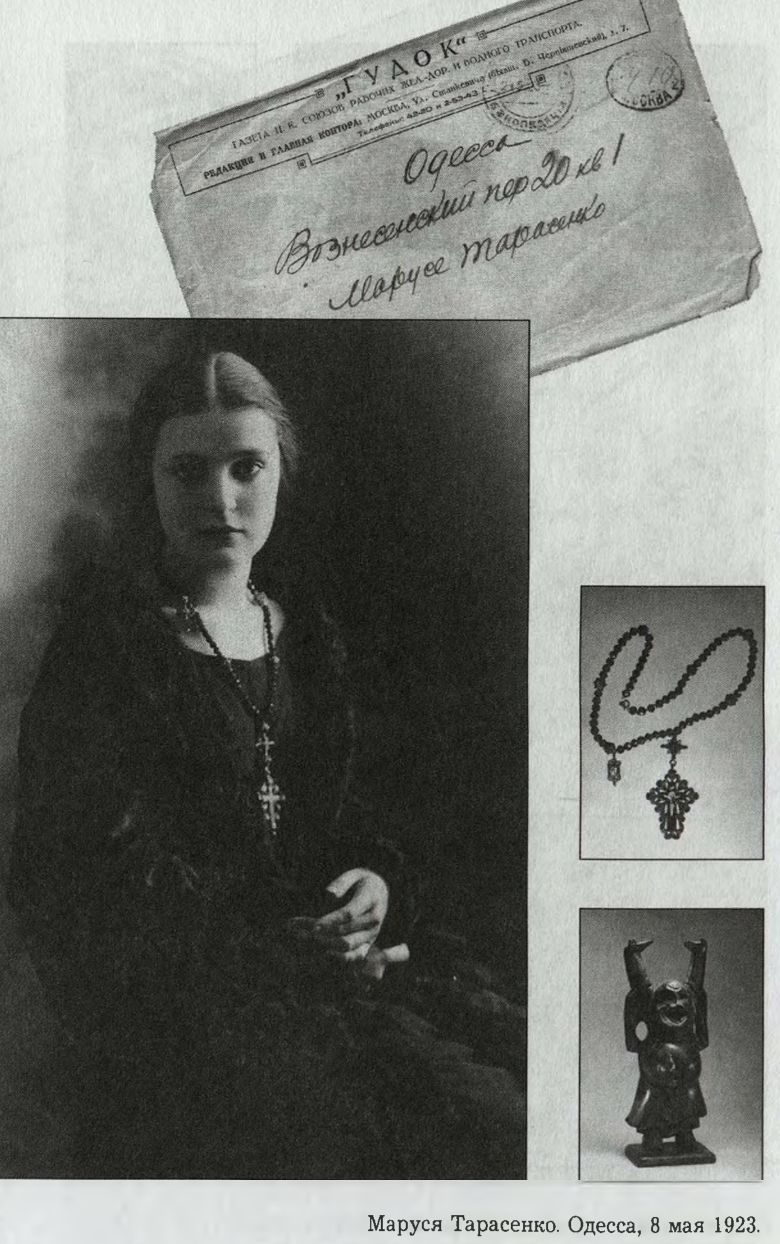
Илья Ильф. Одесса, 1920



В Одессе Ильф подарил Марусе японские гравюры, которым посвящено его письмо от 1 декабря 1922. «Японская красавица» висела над туалетным столом Марии Николаевны. Фото Ильфа, 1933



Дом в Одессе на Софиевской улице, 13,
откуда Ильф уехал в Москву 7 января 1923.
Ильф — сотрудник газеты «Гудок». Москва, 1923.
Братья — художник Михаил и журналист Илья. Москва, 1924



Маруся Тарасенко. Одесса, 8 мая 1923.
Крест на ее груди — московский подарок Ильфа.
Японский божок — это «лакированный бездельник»
из одноименного ильфовского рассказа (июнь 1923)



Ильф. Москва, 1923. На обороте фотографии надпись:
Маленькой дорогой девочке. Ильф.
Маруся, бывшая Тарасенко, ныне жена Ильфа.
19 сентября 1924



Сотрудники «Четвертой полосы» газеты «Гудок».
Слева направо: И.Овчинников, Ю.Олеша, К.Фридберг,
М.Штих, И.Ильф, Б.Перелешин. Москва, 1925.
Олеша с Ильфом. Москва, весна 1924



Ильф и Олеша с куклой. Москва, весна 1924.
См. письмо из Одессы от 23 августа 1924 плюс комментарии Катаева.
На Тверском бульваре в Москве: Е.Петров, М.Файнзильберг,
В.Катаев, Ю.Олеша, Ильф. См. письмо Ильфа от 2 мая 1924



22 октября [1923]

Нельзя уже сказать — я глупая и ужасная. Это иначе. Я постараюсь быть спокойной и не говорить.

Иля, ну скажите, неужели я уже такая плохая? Я очень боюсь, что вы не станете меня любить. Я расскажу вам всё.

Слушайте.

Вчера мне было так хорошо. Мне было письмо от вас и от мамы. Я была очень рада.

Весь вечер я сидела и писала. Конечно, я поеду в Одессу, а не в Москву.

Сейчас утро, я только что пришла. Я не спала здесь. Было мне очень противно и холодно. Я не могла здесь остаться.

Я шла сюда, не подымая головы. На улице было много людей. На мне было летнее белое платье, так как я ушла этой ночью. Мне очень, очень сейчас нехорошо. Мой добрый Иля, мой дорогой Иля, очень.

Да, но я должна всё рассказать.

Да, я сидела и писала. Потом пришел Миша.

Иля дорогой, ведь Миша рыжий, чудесный и умный?

Почему же он так сделал?

Ну, я, наверно, очень виновата.

Нет, я спокойно и всё расскажу.

Вот он сейчас ходит и громко стучит ногами. Мне очень нехорошо, так нехорошо.

Я еду. Уеду в Одессу. Мне очень, Иля, не хочется уезжать. Мне будет очень нехорошо. Я знаю.

Я, наверно, очень глупая, очень нехорошая.

Он свистит. Ему все равно — мне все равно, и я свищу.

Но сказать мне такое.

Слушайте. Я всё не могу рассказать.

Так вот, он пришел. Потом он лежал. Я сидела около, и мы разговаривали.

Иля, если б вы были, Иля, если б вы были, Иля. Ну, мой хороший, какая я нехорошая. Бог мой, как мне печально. Я уеду. Боже, как это глупо.

18 - 4720

Мы сидели и разговаривали. Очень мирно, очень мило и хорошо. Он называл меня Маришей, рассказывал и много смеялся. Я тоже. Мне было тепло и хорошо.

Мне было хорошо и спокойно. Я молчала и тихо сидела. Я вспоминала комсомольцев и не могла не улыбаться.

Миша говорил, что у меня нет жизни, нет веселости, что я мертвая, и еще много.

Мне было хорошо. Главное, что мне было так хорошо.

Вот он опять стучит ногами и опять свистит.

Потом он спросил меня, я уже не помню, как — почему я на него обижаюсь. Так как-то. Я ответила...

Сейчас он вошел и спросил: «Вы уже написали письмо, напишете? Сегодня отправите?»

Вот я вам пишу.

Иля, голубчик Иля, почему же так. Иля, Господи, как это нехорошо. Иля, Иля.

Я ответила — что я никогда не обижаюсь, только он мне противен. Что если человек говорит мне — ты дура, я знаю, что я не дура и мне только он противен.

Вот хотите — любите меня, хотите — нет. Иля, Иля.

Господи, почему я такая ужасная, Иля.

Миша капельку улыбался и спрашивал: «Как же вы можете жить с людьми, если вам...» и еще, и еще. Я ничего не отвечала.

Что я могла сказать? Что я не так сказала, что он мне не противен, что я его очень люблю и что он очень, очень хороший. Просто я не так хотела сказать, как вышло.

Иля, ну разве он мне противен. Ведь это же глупо. Ужасно глупо.

— Отвечайте, — сказал он мне. Я молчала. Вы знаете, как я умею молчать.

Если б я сказала — вы мне капельку неприятны, — тогда было бы иначе. Но я сказала — вы мне противны. Мне было тепло. Я молчала.

Как мне нехорошо сейчас всё это. Я уеду.

— Садитесь писать, — сказал он мне. — Садитесь писать Иле, что вам страшно, страшно хочется приехать в Москву.

Я выслушала. Еще долго сидела. Он смотрел на часы, ничего не говорил и удивленно подымал брови, видя еще мое колено. Я не могла уйти. Тогда я вдруг взяла его за рукав и потянула.

Когда просишь о чем-нибудь и тебе отказывают, ужасно потом стыдно. Очень стыдно и противно себя.

Я не была виновата, я просто не так сказала, как хотела.

Да, и я потянула за рукав, и мне сказали — уходите.

Понимаете, как мне теперь стыдно и противно.

Ведь он большой, хороший и умный. Я ничего не понимаю. Разве он мне противен. Я очень, очень к нему хорошо отношусь. И мне только было жаль, если он думает, что он мне противен.

Нужно было говорить, — скажете вы. Иля, но что же? Иля, дорогой, вы знаете, что именно тогда, когда надо говорить, я молчу. Я молчу.

Мне вдруг всё абсолютно всё равно, я чувствую, что надо говорить, и не могу. Я хотела и сказала — мне надо давно уйти, а я всё сижу. Но ничего не вышло. Просто нет сил выговорить слово. Да что можно сказать, когда ты сейчас противна.

Ну, Иля, самое главное, что это ужасно глупо. И как только Миша мог ко мне так отнестись. Я не понимаю. Я очень, очень удивляюсь. Ведь он должен был понять, он видел, как я к нему отношусь. Иля, я ничего не понимаю. Я ужасно устала, и у меня очень болит голова.

Здесь оставаться нельзя, когда тебе говорят — вы страшно хотите уехать. Мне все равно. Я уеду.

Мне совсем не все равно. Бог мой, если б вы знали, как мне сейчас нехорошо. Но он ведь большой и умный. Как он мог.

Я уеду. Уеду обратно в Одессу. Пусть так.

Если вспомнить — Миша Рыжий сначала был учителем Маруси, потом слал ей в Одессу весьма нежные письма, называл ее «прелестной своей ученицей», «золотоволосой ясностью» и «лунной девочкой». А она радостно писала Тоне Трепке всего за четыре дня до ссоры: «Он похож на взрослого, большого брата. Он очень мил, очень внимателен этот Миша, веселый, как будто бы (я не знаю) много разговаривающий». Почему такое случилось? Может быть, он ревновал ее к брату, а может быть, просто не церемонился.

[*Почтовый штемпель*: Петроград 23.10.23]

Не любите меня, Иля. Не надо. Я так себе сейчас противна. Вы, наверно, уже меня не любите. Меня нельзя любить. Бог мой, как всё противно. Хорошо, что нет солнца. Туман, грязь, гудят автомобили. Что мне делать?

У меня шумит в голове, и она ужасно тяжелая. Я всю ночь почти не спала. Мне так нехорошо. Сыро, туман. Миша ушел. Сказал: «Вы напишите, сегодня пошлете!» — и ушел. Пусть я уеду. Пусть мне все равно. Иля, ну скажите, зачем вы меня любите. Иля, ведь вам всегда плохо из-за меня. Господи, если б была ваша милая, добрая, дорогая голова. Иля, как я сейчас хочу с вами. Иля, ну хороший, родной. Разве меня можно любить? Вы видите, что я делаю. Как мне нехорошо. Как мне печально из-за Миши. Я очень, очень удивляюсь, как он мог это понять. Ведь никогда, никогда я на него не обижалась. Ведь он очень хороший. Как мне неприятно. Он очень хороший и добрый. Как же он так? Почему? Мне все равно. Я уеду. Но мне нехорошо, что он останется ко мне так. Иля, вы ему напишите, что я его очень, очень люблю, совсем не сержусь, что он так, и что он очень милый и добрый. Обязательно напишите. Я очень хочу. Да? Напишете? Мне очень, очень печально, что так. Вы меня любите? Иля, родной, как же можно меня любить? Всегда у меня так, всегда выходит плохо. Бог с ним, с Мишей, я уеду. Довольно.

Как я себе надоела. Бог мой, как я надоела. Иля, как я хочу, чтобы вы меня любили. Разве было похоже, что я к нему плохо отношусь? И вот только вчера одна моя невоз-

можная фраза. Я ведь не знала. Бедный мой Иля, как вам, должно быть, всё это неприятно. Вы видите, как я совсем не умею с людьми. Но Миша, Миша чтобы так... Такой рыжий и хороший. Смешно. Очень глупо и смешно.

Иля, мне очень стыдно и неприятно говорить вам об этом, но если у вас есть деньги и вы можете, пришлите мне, пожалуйста. Я написала бы домой, но выйдет гораздо дольше. Иля мой хороший, не сердитесь на меня. Неужели я такая невозможная? Иля, неужели? Неужели со мной так трудно жить? Иля, я вас очень, очень люблю. Иля, какая глупая. Иля, что же это?

Маруся

Для меня уехать ужасно — из-за работы. Я должна была работать у Карева*.

Только вчера я писала — мне так не хочется уезжать. Я вас очень, очень люблю. Вы самый хороший.

*Карев, Алексей Еремеевич (1879–1942), живописец и педагог. Учился в Саратове, где познакомился с И. Борисовым-Мусатовым, П. Кузнецовым, П. Уткиным. С 1903 — в С.-Петербурге, участвовал в выставках «Венок» и «Золотое Руно», испытал влияние художников «Голубой Розы». С 1917 — член объединения «Мир искусства». Изучал творческий метод Сезанна. Преподавал в Академии художеств. В письме от 17 мая 1922 г. Маф пишет о бывшем училище Штиглица в Петрограде, «где поставил преподавание художник Карев по аналитическому методу. Он мне показывал школу и работы учеников — я видел реальные, хотя и небольшие результаты как для учащихся, так и для самого метода».

Петербург, 22-го октября [1923]

Сейчас вечер. По крыше всё каплет. Тихо. Только в голове грохот, точно тикают огромные часы. Мой пульс 98 в минуту. Это Николай Семеныч* сосчитал. Эту бумагу дал мне Швальбе. Сегодня ужасно трогательным тоном он мне сказал, что я хорошая. И вообще он очень мило и заботливо ко мне сегодня относился. Мне это было хорошо. Мне

все равно кто. Мне необходимо было сегодня, чтобы кто-нибудь ко мне ласково.

Я очень, очень дурно себя чувствую. Ночью я совсем промочила ноги. Это не важно.

Иля, если б я могла сказать, как я вас люблю, как вы мне сейчас нужны и как мне плохо.

Иля, ко мне очень многие хорошо относятся. Меня никто никогда сильно не обидел.

Я знаю, нельзя быть ребенком. Но когда меня обижают, я очень теряюсь и не знаю, что делать.

Со мной поступили грубо. Со мной никогда никто так не поступал. Я ничего не понимаю.

Вы скажете — говорить человеку, что он противен, тоже грубость.

Я нехорошо сделала, и мне так ответили. Я заслужила. Да?

Иля, если вы скажете, что заслужила, я вам поверю.

Я буду дома. Мои будут очень рады. И они хотят, чтобы я приехала.

Опять я буду шагать от черного, маленького Вознесенского переулка к Ришельевской, а потом Дерибасовской улице.

Иля, что я могу сделать?

Внизу играют, капли равномерно капают на нашу покатую крышу. Иля, мне всё сейчас таким маленьким, ненужным, смешным кажется.

Ну, я сказала, он ответил.

Я знаю, вы меня любите.

То есть я вам верю, нужно мне вам верить. Необходимо.

Вы меня любите? Да?

Я писала — вы не станете меня любить. Но разве из-за того, что я сделала, перестают любить?

Ведь нет? Иля, нет?

Вы же далеко, так ужасно далеко.

Иля, ну Иля, если б вы знали, как мне печально. Я очень мало сегодня слов сказала.

Я удивляюсь человеку.

Большому умному человеку, который со мной — маленькой и глупой.

Мне так захотелось, чтобы вы, и пойти в кинематограф. Сидеть в темноте, слушать ужасную и такую чудесную музыку. С вами, с вами.

И вы брали бы из моей ладони семечки.

Как нехорошо.

Вы видите, как я много вам пишу. Когда мне плохо, я всегда пишу много.

Миша ушел.

Иля, голубчик, как мне печально, что всё это случилось.

Только вот теперь я вижу, какой чудесный Петербург и как я начала его любить.

Я хожу по лестнице — Миша будет ходить, а я нет.

Вот почта. Миша будет, а я нет. Мне печально.

Но ничего, Иля. Я совсем не умею жить. Как это странно — надо уметь жить.

По-моему, это очень просто.

Ну, я не как другие.

Нет, я знаю, что у меня очень много плохого.

Миша всегда говорит обо мне, о моих взглядах так, как будто бы он узнал и проверил всё во мне. Я не знаю, может быть, это так. Может быть, я ошибаюсь, когда говорю — нет.

Иля, Иля, ведь я ничего, ничего не знаю. У меня есть только одно — это любовь к вам.

Если я потеряю вас, мне ничего не останется. Вы мне так нужны. Я знаю, как я вас люблю. Да, я вас люблю. Очень, очень люблю.

Я хожу и чувствую всю себя — голову, руки, ноги. Всё это нужно тащить, и всё это тяжелое. Невыносимо тяжело.

Я совсем чужая себе, и всё со стороны. Как будто бы другой человек.

Иля, Господи, как мне написать, почему вас нет со мной.

Бог мой, как печально.

Я лягу и буду думать о вас. Мне так нехорошо, а вы там и еще ничего не знаете. Так странно — мне нехорошо, а вы не знаете.

Может быть, вы сейчас в этой чудесной пивной слушаете музыку и еще всякое. А я вот здесь, мне так печально, и пишу вам.

Мне очень, очень нравится, что внизу играют. Я всегда это любила, и всегда мне было печально.

Вот придет Миша, длинный, рыжий, будет ходить тяжелыми шагами, громко кашлять и свистеть. Я на него не сержусь, если вы скажете, что я виновата, но мне очень больно, что всё это так вышло.

Мне хочется взять его за руку и сказать, что всё это не то, что всё это не так, что он чудесный и добрый.

Но разве я могу это сделать?

Я деревянная, совсем деревянная.

И потом, если он заберет руку и так на меня посмотрит, разве я смогу?

Сколько раз в темноте и холоде мне хотелось к вам хорошо. Взять вас за руку, но я не могла. Я часто это делала?

А разве много так было?

Очень мало. Хочу, ужасно хочу, и всё что-то не дает. Никогда не говорила вам хорошо. А мне так хотелось.

Я деревянная, совсем деревянная.

Господи, как вы только могли меня полюбить.

Иля, ведь вы меня любите? Родной Иля.

Бедный мой, добрый Иля, как вам должно казаться нехорошо.

Как я всё это делаю?

Разве я знаю, что выйдет плохо? Я никогда не думаю.

Разные люди разно принимают. Ни за что нельзя со всеми одинаково. И я никогда не была одинаково.

Но Миша. Я не знала, как к Мише подойти. Ему скучно, очень скучно было со мной.

Я не умею разговаривать.

Я могу только о снах, о пудре, красном носе.

Бог мой, как я, наверно, ему надоедала. Но вчера было так хорошо. Он был очень хороший — терпеливо выслушал сон и разговаривал.

Иля, даже если шутя говорят — «Если б у меня была хорошая книжка, я, конечно, с вами не разговаривал бы» — он.

Ну, я глупая, но я понимаю, что шутят. И все же мне капельку не хочется, чтобы так обо мне в шутку.

Видите, какая я глупая.

Я старалась быть поменьше с ним последнее время, мне очень неприятно было, чтобы ему надоедать.

Иля, вы не сердитесь на меня, что так случилось? Ей-Богу, я не виновата.

Иля, не надо сердиться.

Иля, родной, любите меня.

Только вам со мной не скучно. Да, Иля?

Вам не очень скучно со мной?

Теперь я лягу и буду думать.

Иля, напишите мне — девочка. Иля, мне так плохо, так печально.

Иля, я ничего не понимаю.

Господи, Господи.

Маруся

*Николай Семенович Слепкер — сосед по квартире на Васильевском.

27/X [1923]

Маруся, моя дорогая девочка, мне страшно больно. Мне просто ужасно. Миша тебя обидел. Боже мой, девочка, что же мне делать? Если бы я был здоров, я сейчас же бы приехал. Но, Боже мой, я не могу приехать. Я уже три дня в постели и очень страдаю. У меня, кажется, припадок аппендицита*. Твои письма меня ошеломили. Девочка, девочка, я ничего не знал. Девочка, милая дорогая Маруся, тебе не надо уезжать. Он извинится. Не может быть иначе. Это что-то ужасное. Этого не может быть. Я знаю, что ты не виновата. Девочка, я тебя очень, очень люблю. Не

уезжай. Как мне страшно. Я болен и ничего не могу сделать. Господи, Господи. Зачем это случилось. Ты шла по улице ночью. Маруся, Маруся, напиши мне сейчас же. Девочка дорогая, ты ведь не уедешь. Маруся, как я виноват, что ты одна. Маруся. Будь спокойна.

Иля

Вспоминает Олеша: «Однажды ночью Ильф разбудил меня среди ночи стонами. Он жаловался на очень сильные, необычные боли в животе. Стало понятно, что нужно раздобыть доктора. Где его раздобыть? Была ночь, молодость, неумелость. Я решил, что выйду на улицу и пойду, ища врача по вывескам.

Я вышел. Никитская, Никитские ворота. Вот темный, похожий на уходящий вдаль поезд, Тверской бульвар. Впрочем, не темно, нет! Август, ночь августа, еще полной грудью вздыхают деревья — всё прекрасно вокруг, прекрасно!» (*Книга прощания*).

Врача он все-таки нашел. Правда, был не август, а октябрь.

Заказное письмо
Обратный адрес:
Петербург, В.О. 2-ая линия, д. 15, кв. 25

Петербург 29го октября [1923]

Иля, мой добрый, хороший Иля. Иля, вы больны. Иля, это мне нехорошо. Мне очень печально. Вы больны, а здесь так, и еще так нехорошо пишу вам.

Иля, мне очень хочется, чтобы вы не были больны, чтобы у вас ничего не болело.

Вы будете здоровы. Конечно.

Я очень хочу. Иля, ведь я хочу.

Иля, вы очень сильно больны?

Иля, да? Как это нехорошо.

Иля, это очень нехорошо, когда болен.

Ну вот, Иля, разве мне нужно, чтобы он извинялся. Я об этом очень не хочу писать. Я устала от всего этого, но вот в последний раз. Иля, разве это нужно? Разве я хо-

чу этого? Разве я обижена. Нет, нет и нет. Ведь ничего не изменится у меня к нему. Ведь я по-прежнему хорошо отношусь к нему. Но я знаю одно, что оставаться мне здесь нельзя. Нельзя быть с ним. Может быть, я очень лишняя и очень мешаю. Ничего, Иля. И если я хочу уехать (чего я совсем не хочу), то только для него, а не для себя.

Только я все еще ничего не понимаю и все еще очень удивляюсь, почему так? Это что-то не то, и мне всё кажется, что иначе. Но что — я никак не могу придумать. Война — это не то. Ведь прежде войны была другая причина. Это не то, что мне опасно и я должна уехать. Я уже писала вам вчера об этом: Если война и если опасно, так зачем же говорить — «А может быть, вы хотите остаться, может быть, вы хотите найти комнату?». Иля, ну разве нужно яснее? Милый, разве это не ясно? Война — это предлог, чтобы меня не было.

Главное — чтобы меня не было.

Иля, мой дорогой, я пишу очень спокойно. Мне совсем не обидно всё это. Это всё очень просто. Если человек мешает, если он неприятен, от него стараются избавиться. Тогда уходят, если трудно уйти — удаляют его.

Иля, мой дорогой, мне совсем не неприятно, что он ко мне плохо. Только когда я слышу нехорошие слова, я застываю. Иля, ведь вы меня любите.

Бог мой, вы меня любите.

Я не хочу. Меня не любят — я ухожу. Я привыкла, чтобы ко мне хорошо относились. А жить вместе и не разговаривать, это немыслимо. Т.е. теперь, сегодня, мне сказали пару слов. Но, Иля, милый, родной Иля, так нельзя.

Я не знаю, что он вам написал вчера. Это письмо я опустила. Он мне дал. И как дал. Это не важно. Может быть, я всё преувеличиваю.

Нет, вы хорошо подумайте. Может быть, вы согласитесь с ним. Я ведь ужасно не живая. И когда он говорит о людях с деревянными ходулями вместо ног и жижицей вместо мозгов, я опускаю глаза, мне всегда кажется, что это ко мне. Нет, это не так. Но во всяком случае он при-

писывает меня к ним. Я помню, как и прежде, я чувствовала, как я его иногда просто злю. «Вы смотрите на мир со своей точки зрения», и еще как-то там сказал. Нужно было слышать, как это было сказано. Я просто его злила иногда всем своим. Иля, Ей-Богу, я не обижаюсь. Я очень понимаю, что со мной страшно скучно. Это правда, правда. Я ему очень надоела. Я не знаю, что он вам написал. Может быть, гораздо короче и гораздо яснее. И так как он, наверно, иначе относится ко всему этому, то и по-другому.

Иля, как я была рада, Господи. Как я была рада вашему письму. Иля, вы понимаете, бумажка, на которой вы писали. Мне было все равно, но главное, что вы.

Нет, мне было не все равно, что написано. Иля, добрый, ну какой хороший Иля. Ну, вы мне написали, и я очень была рада. Иля мой, вы любите меня. Господи, я вас очень, очень люблю. Мне сейчас хочется плакать, что я не могу сказать вам, как я вас люблю. Иля, я не могу вас тронуть. Иля, вы больны. Иля, вы больны, как это нехорошо.

Иля, ну разве это важно, что с ним. Между нами? Милый, родной, может быть, очень важно, но не надо.

Зачем об этом так много?

Вы не сердитесь на меня, вы меня любите?

Что же мне еще. Пусть он меня ненавидит миллиард раз. Мне все равно. К нему у меня ничего не изменится, и пусть. Меня это не трогает.

Я вас очень, очень люблю.

Ну, он ваш брат, ну, он хороший, и Бог с ним.

Иля, вы не сердитесь, что я о нем так пишу. Хорошо, Иля? Ну, он чудесный, милый, славный, и всё. Хорошо? Да, Иля?

Только зачем вы больны. Зачем, Иля, вы больны. Я очень не хочу этого.

Иля, это ничего, если я уеду? Бог мой, как я не хочу этого. Иля, я пишу — уеду и не верю, не могу представить, что это будет. Как же так? Неужели я уеду? Обратно? В Одессу. Разве. Нет, я не понимаю этого.

Иля, не сердитесь, что я так пишу, и не удивляйтесь. Но вы понимаете — он, он сказал, и я должна уехать. Он,

не вы, а он. Он не может, он не должен. Пусть бы сказал — «Вы мне мешаете, идите на улицу». Но из города мне предлагать уехать. Это уже очень нехорошо. Вы видите, Иля, какая я злая. Очень, очень. Да, да.

Ну, ничего.

Иля, ну разве я вся такая нехорошая, разве у меня всё плохое?

Иля, милый, ведь вы любите меня, так за что же вы меня любите?

Может быть, потому, что вы мало были со мной, а если б много, как он, весь день, вы увидели бы, какая я и как со мной скучно. Иля, подумайте, может быть, это так. Но это ужасно, я не хочу, чтобы так было, я хочу, хочу, чтобы вы меня любили. Не может быть иначе.

Иля, милый, пусть всё это вас не раздражает.

Иля, я вдруг вспомнила, как мы были в кинематографе и видели женщину с ужасным носом. И вы мне говорили — не смотри, не надо, а мне было так смешно, так смешно.

Нос был действительно ужасный. Правда, Иля? Вы помните? Вы еще хотели рассказать Мише, но забыли. Иля, вы помните, как мы стояли, и вы были очень высокий, а я маленькая. И косы. Мне очень нравилось. И теперь тоже.

Иля, ну какой вы хороший.

Иля, ну я ничего не могу сказать.

Вы самый, самый хороший.

Иля, ну что же сказать, чтобы вы увидели, как я к вам. Я ничего не могу, ничего не умею.

Господи, опять не то.

Иля, но вы должны знать, как я вас люблю.

Иля, мне просто стыдно, что я так много написала. Это, правда, ничего?

Иля, ну если мне хочется. И потом это вам, никому другому.

Иля родной, вам очень больно? Иля, да?

Иля, напишите мне всё, всё. Я должна знать.

Как я не хочу, чтобы вы были больны.

Иля, ну не надо, чтобы болен, не надо, чтобы больно.

Ну, родной, что я, маленькая, могу сделать, но я очень, очень не хочу этого.

Иля, ну добрый, ну хороший, ну зачем. Ну, я не знаю.

Как это нехорошо.

Ну, я очень вас люблю.

Ну, я очень не хочу, чтобы больно.

Иля, Иля, что мне вам сказать, что мне сделать? Господи, я очень вас люблю.

Иля, вот все время думаю о вас. Мне сейчас хорошо, когда я пишу вам.

Тихо, тихо и никого нет.

И солнышко сегодня было такое хорошее. Иля, желтое-желтое, и спокойно, спокойно, медленно, медленно передвигалось по небу. Сегодня очень холодно и так чудесно. И вода подмерзла. Очень хорошее солнце, и у гла́за мои волосы такие очень хорошие.

Бог мой, если б вы были со мной. Я ничего не могу сказать.

Иля мой хороший, вы далеко и вы больны. Иля милый, зачем вы больны. Господи, господи. Зачем это. Иля, родной, я очень вас люблю, я очень не хочу, чтобы было больно.

Целую вас, мой Иля

Маруся

Бог мой, как я много написала. Ничего, Иля?

Иля, Иля. Ну, ничего.

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

28 октября [1923]. Воскресенье

Дорогая моя Мурочка!

Письмо твое получила в субботу 26 октября ст. ст. и очень радуюсь за тебя, что тебе хорошо, и дай Бог, чтобы ты ни в чем не нуждалась и в дальнейшем времени. Ты получила мое первое письмо, но когда ты будешь это получать, то я думаю, что уже мое второе бу-

дет получено. Ты пишешь мне в каждом письме, чтобы я много не работала, но подумай сама, как я могу не работать, когда нужно, а нужно везде самой посмотреть, как в пекарне, как и в квартире, я за последнее время квартиру совсем забросила, но сейчас немножко привела в порядок, везде вымазала, вычистила, и стало чистенько и приятно. Ну и наработалась я! Вставала в четыре часа утра, чтобы могла до света что-нибудь сделать, потому что помогать как раз некому, то была Женя нездорова, и потом заболела и Надя. Лежала Надя два дня и не подымалась, но все-таки, когда поднялась, все равно помощи никакой, потому что слабость, головокружение, здесь теперь свирепствует такая болезнь по названию грипп. Ну, кажется, об этой разной чепухе довольно писать, это не очень тебя, наверное, интересует.

Ты пишешь, что жалеешь, что не купила краски у Бондарина, но подумай сама, за что их было покупать, когда денег не было, надо занимать и занимать, так сама ты пишешь, что как ты будешь зимовать в своей кофте, но что я могу сделать, когда я не имею, откуда сделать тебе пальто. Если бы было за что, я бы тебе сделала и прислала, когда не в силах. Надо и этим девочкам хотя бы что-нибудь сделать. Жене поправила ботинки, а Наде заказала туфли, и вот уже целый месяц никак не сделают, и она, бедная, никуда не может пойти. Ну, это все не важно.

Посылаю тебе твои картины — *Изю и девочку*, которые ты просила, а остальное потом понемножку, потому что всё сразу нельзя, и посылаю твой пирог, который ты не имела в день рождения, но зато лучше позже, чем никогда, посылаю еще пару чулок, немножко твоей мази, каплечку пудры, это хорошая пудра. Одним словом, всего понемножку, что тебе принесут, то всё твое. И еще тебе посылаю 9.500 рублей, чтобы ты себе купила какие-нибудь ботинки, но если будет мало, то я потом вышлю еще, но сейчас больше не имею.

Коля мне ничего не пишет и не присылает то, что обещал прислать, то я могла бы тебе больше выслать, но подумай — мы же коечто тратим.

Целуем тебя все. Папа, Мама, Надя и Женя, но больше всех — я, твоя мамка, которая по тебе скучает.

Затем до свидания, моя дорогая дочурка. Жду ответа.

Твоя мама.

Когда я буду иметь лишние деньги, я тебе пришлю, а ты мне купишь теплые валеные туфли, там у вас продают очень хорошие теплые и недорогие. Сюда некоторые проводники привозили, советую тебе купить для себя для комнаты.

Одесса 28 октября 1923-го

Здравствуй, дорогая дочурка Маруся!

Ну, что тебе написать первое. Напишу о своем здоровье, это главное. Чувствую себя здоровым, бодрым. Работаю, как тебе известно, выпекаем булки, продаем, понемногу зарабатываем на расход для прожития, вот и всё. Ну и тебе что пожелать? Тоже старайся, трудись, будь хорошей, доброй, обходись с окружающими по-хорошему, для тебя будет хорошо. Впрочем, тебе об этом говорить не надо, ты сама отлично понимаешь. Слава Богу, не маленькая, и теперь благодарю за добрую память и признание ко мне. Вижу со строк твоих писем, что тебе очень скучно по матери, но, конечно, ты в этом права, а во-вторых, на это была твоя добрая воля, дай-то Бог, что тобою были сказаны слова, что ты говорила: «Я же не буду вечно около вас». Это твои правдивые слова. Это так должно было случиться. Ну и случилось, а дальше, что тебе еще написать. Ты пишешь, чтобы я написал в своем письме относительно того, что меня интересует. Для меня усё интересно, что тобой написано. Мы, когда получаем письмо от тебя, бросаем усё и скорей принимаемся за чтение. Ты скучаешь по нас, и мы, в свою очередь, также и по тебе. Когда нет тебя, стало как-то странно по вечерам — бывало, придешь, на пианино сыграешь, и я послушаю, а теперь не слышно звуков рояля. Посмотрю на портрет на твой, дай только да еще память оставила, свое искусство, портрет, который, было, взглянет, и за тебя вспомнили, и теперь по просьбе твоей мама передала, чтобы тебе доставили по твоему желанию. Мама постаралась твою просьбу исполнить, да, Марусечка.

Я не могу себя простить за то, что я позабыл тебя поздравить с днем твоего ангела, но лучше поздно, чем никогда. Поздравляю, дорогая дочурка, желаю много-много счастливых лет и успехов у твоем труде. Целую тебя у самый лобик и у правую щечку. Ну, ты теперь видишь, что я на тебя не сержусь. Ты очень добрая и хорошая наша и любимая дочь, будь счастлива и здорова. Пиши почаще, будем ждать. Ну довольно. Разобрала мой скверный почерк? Да к тому еще и малограмотен, за это извини, не виноват в этом.

Твой отец, любящий тебя и не забывающий никогда.

30го октября [1923]

Бог мой, Бог мой, как чудесно и как печально. Иля, Иля.

Моя маленькая, покатая крыша вся покрыта снегом. Вы понимаете, белым милым снегом.

Иля, Иля, как печально.

Там вдали гудит автомобиль, и у меня тихо, тихо.

Господи, откуда у меня такая печаль.

Мне печально, мне так печально. Спокойно, тихо, ужасающе печально. Что я могу говорить. Иля, Иля, почему вы не со мной?

Иля, вы далеко и вы больны.

Маленький, беленький, тоненький снежок. Он падает с самого утра, и моя крыша растет.

Почему есть всё и нет вас.

Почему я не могу пойти с вами под тоненьким снегом.

О Иля, как мне печально. Как я вас люблю. Иля, Иля, родной Иля. Иля. Это ничего, что печаль. Это потому, что снег, пасмурно и чудесно. Это потому, что слишком хорошо. Всё бело, бело, всё мое, всё очень это... Господи, я не знаю.

Я пойду на улицу, и под ногами будет снег, а сверху тоненький. Он будет на волосах, платье и ресницах. Милый тоненький мой снег.

Иля, Иля, но почему нет вас. Когда так, должны быть вы. Бог мой, почему нет вас. Я хочу с вами. Я хочу с вами. Я никогда так сильно не хотела. Бог мой, как я вас люблю. Иля, родной. Мы любим друг друга. Вы любите меня, и я люблю вас. Бог мой, как мне хорошо.

Родной, вы только поймите. Если б вы были со мной. Почему у меня так сильно бьется сердце. Иля, Иля, как я люблю вас.

Иля, как чудесно. Иля, теперь темно, но еще не поздно. Голубчик, родной мой, ну что мне делать.

Маленький, тоненький снег. Мне так хочется плакать. Снег милый, белый, мне печально, мне хочется плакать. Иля, как я люблю вас.

Иля, Иля, ну любите меня.

Ваша Маруся

19 – 4720

Москва, октябрь 30 [1923]

Дорогая девочка, я тебя люблю. О чем ты спрашиваешь? Ты знаешь, как я тебя люблю. Милый, дорогой мальчик, мне очень, очень больно за тебя, которую так обидели. Я совершенно не понимаю, зачем Миша всё это делает. Он болван и животное. Я бы его побил, если бы он был под рукой. Что-то совершенно нелепое и отвратительное. Объяснения я от него не получил. Но я узнаю. Он должен будет мне сказать. Это просто большое свинство то, что он проделал над тобой, моей маленькой и беззащитной. Девочка дорогая, будь спокойна, всё будет очень хорошо. Тебе не надо никуда уезжать. Мой добрый, мой хороший, разве я знал, что может выйти что-нибудь такое? Это просто большое свинство с Мишиной стороны. И совершенно непонятное. Он сошел с ума. Это хамство, то что он проделал. Я возмущен и бешусь. Какая гадость.

Маруся дорогая, ты ведь мне веришь. Я думаю, что ничего плохого больше не будет.

Живи, девочка, спокойно. С Мишей я поговорю. Мне очень, очень больно за тебя. Я тебя понимаю. Ты права, девочка. Забудь всё это, думай только о себе, будь весела и спокойна. Я думаю о тебе много. Через дня два я, наверно, встану с постели. Мне очень неудобно лежа писать. Пиши мне.

Целую тебя, милая, дорогая девочка. Не тревожься, будь очень спокойна. Дорогой мой, милый мальчик.

Твой Иля

Петербург, 31-го октября
[*Отправлено из Петрограда 2.11.23*]

Иля, Иля, что же делать.

Сегодня снег, снег и скользко. Вечер, огни, сине и зелено.

Что мне писать.

Мне только одно — почему вас нет со мной. Почему нельзя, чтобы вы со мной.

Бог мой, Иля. Это ничего, что я так много пишу об этом?

Иля, это ничего, что я так часто и много пишу?

Иля, я не могу иначе.

Иля, я проснулась и вдруг вспомнила, что вы писали — спасающие мысли. Потом я вспомнила, что написала — спасающая печаль.

Иля, здесь снег. Иля, здесь чудесно. Вчера вечером я была на Невском.

Там иначе, чем здесь. Здесь тишина и спокойно, а там шум, автомобили, веселые, толстые, добрые люди в шубах. И огни. Много огней, так что хочется взять их в руки. И на мосту черные застывшие лошади, сокрытыя снегом.

Приятный, чудесный Петербург. Я не желаю, я не хочу, я не уеду отсюда.

Иля, снег, крыши, деревья, Нева, и я должна уезжать.

Они были чудесны. Трое толстых, ужасно толстых, красных и добродушных мужчин. Они не были молоды, и это было хорошо. На плечах они несли шубы, ужасно тяжелые шубы. Они смеялись. Им было тепло. Шли по Невскому и смеялись. Мне тоже было тепло, и я начала смеяться.

Чудесный мой, мой Петербург.

Разве я могу это рассказать, а мне хочется. Это ничего, что я так плохо рассказываю?

Но я не умею, а мне хочется. Зима, снег и всё.

Иля, я не хочу уезжать.

Иля, я не хочу. Иля, почему вас нет. Иля, мне всё печаль и всё хорошо.

Иля, я не люблю его.

Иля, я не хочу уезжать.

Маруся

Я ужасно скучная и противная.

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

31 октября. Вечер

Дорогая Мурочка!

Пишу тебе нашу радость, приехал к нам в гости Колюша и так неожиданно, ничего нам не написал, а так вдруг приехал 30 октября по старому стилю. Я так сразу, как его увидела, прямо испугалась, так неожиданно. Я держала в руках бутылки с маслом в кухне, слышу, кто-то идет. Я спрашиваю: Кто там? А он голову показывает свою и говорит: «Здравствуйте! Это я». Я с ним поздоровалась и заплакала, что со мной этого не было, потому что вспомнила тебя. Он расспрашивал о тебе, как ты уехала и чего ты туда поехала. Он такой здоровый и красивый, а приехал и говорит, что соскучился за нами и приехал погостить недельки на полторы. Читал твои несколько писем и хотел бы тоже поехать к тебе и повидать Петербург.

Да! Я еще забыла тебе написать в прошлом письме поклон тебе от Соболя* и Генриетты. Они были у нас и взяли картину Соколини «Прачка» и еще некоторые маленькие акварельные рисунки. Генриетта читала одно твое письмо, которое ты нам прислала. Она говорит, что ты ей написала только одно письмо и больше от тебя ничего она не получает. Ну, больше пока ничего нет новенького. А все-таки жаль, что ты не с нами.

Целуем тебя все: Папа, Мама, Надя, Коля и Женя. А я тебя больше всех, моя дорогая Маруся.

Привет всем, кто тебя любит и уважает.

Твоя мама

Пиши нам.

*Наум Соболь, художник.

Москва, ноябрь 5 [1923]

Маленькая девочка, тебе не надо беспокоиться. Я уже здоров. Было больно. Очень. Но теперь ничего. Что мне делать, девочка. Я думаю о тебе. Я не знаю, почему это всё случилось, как Миша может всё это делать. Я тебе верю и верю хорошо. Но тебе не надо уезжать. Никуда не надо ехать. Если тебе очень нехорошо там, то можно ведь найти другую комнату.

Никто не может тебе запретить жить в Петрограде. Поведение Миши возмутительно. Я крайне раздражен и зол. Какое право он имел. Где вежливость, где простой такт. Мне очень за тебя больно. Из-за болезни я уже не смогу сейчас приехать. Придется немного отложить. Но я скоро приеду. Наверно, еще в этом месяце. Мы всё это устроим. Я спрашивал у Миши, в чем дело. Он мне дал короткий и неясный ответ. Я жду бóльшего. Пока, девочка, будь спокойна, будь весела, мы всё устроим и уладим. Напиши мне, работаешь ли ты у Карева. Я больше сейчас писать не могу. Напишу после. Целую тебя, мой мальчик.

Иля

Москва, ноябрь 5 [1923]

Девочка, я писал уже тебе сегодня. Девочка, целую твою руку, целую губы, милый и дорогой мальчик. Зачем думать, что надо уехать. Ты никуда не уедешь. Даже не думай об этом. Петербург твой весь, и ты будешь делать в нем, что хочешь. Почему уезжать? Из-за чего? Из-за того, что Миша сделал гадость. Бог с ним, мы это потом разберем. Я очень его люблю и все-таки теперь страшно против него раздражен. Но из-за этого тебе вовсе не надо уезжать. Милый, добрый мальчик, тебе скучно? Я знаю, что тебе скучно, но мы это поправим. Мы устроимся. Ты ведь будешь жить в Москве, и мы будем вместе. Тебя тогда никто не обидит. Мы будем вместе, и я тебя вовсе не возненавижу. Ты не скучная и не противная. Или скучная, но я тебя люблю. Люблю такую, какая ты есть, а не такую, какой, может, ты бы хотела быть. Ну, я тебя люблю. И руки люблю, и голос, и нос, нос в особенности, ужасный, даже отвратительный нос. Нос особенно. Вообще это нехороший нос. Он похож на оглоблю, на белую извозчичью лошадь, на тысячу разных безобразных предметов. И все-таки я люблю. Ничего не подела-

ешь. Я люблю такой нос. Милый мальчик, не думай ни о чем, только о себе. И ради бога, не думай, что тебе надо куда-нибудь уезжать из Петербурга. Это чепуха. Мальчик, опомнись, рассуди здраво. Ну, зачем, отчего тебе уезжать. Это же смешно. Будь веселой, спокойной и доброй. Ешь три раза в день и каждый день. Я очень об этом прошу. Я не прошу, чтобы ты меня любила, но есть ты должна, как я прошу. Иначе может произойти катастрофа. Я увижу, какая ты противная, и весьма возможно, да, это весьма возможно, я перестану тебя любить. Так что лучше ешь. Помни, три раза в день. И не печалься. Не думай, что всё плохо. Не всё еще так, как надо, но не всё же очень плохо. Поверь мне, мальчик, я страдаю оттого, что тебе не всё хорошо. Хороший и добрый, милый друг, большой и хороший друг, смотри на вещи легче. Может быть, ты много преувеличиваешь? А зима, наверно, чудесно, и про трех толстяков я верю. Наверно, они такие. Работаешь ты уже или нет. Напиши мне, и если нет, непременно скажи почему. Нет ли денег, или Миша не сделал того, что обещал. Непременно. Иначе — катастрофа. И вообще я решил ставить условия. Абсолютно серьезно. То есть ненависть к тебе и всё прочее до револьверной пальбы или облития кипучим ядом. Ах, Маруся, когда я после болезни вышел на улицу, что это было. Мне надо было попасть очень далеко, и извозчик повез меня страшной и очаровательной дорогой переулков, ветреных, темных, благословенных семейным уютом и пузатыми желтыми самоварами. Это совершенно особенное, колеблющееся чувство, у меня было чувство доброго хозяина хороших вещей. Не всё, мой милый мальчик, плохо. Есть много прелести в самой дурной жизни, и ко многому не надо приглядываться. Будь, девочка, жизнерадостна. Всё это мы устроим, сделаем, чтобы было хорошо. Я еще напишу. Целую милые руки.

Иля

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

19 ноября 1923

Моя дорогая и милая Маруся!

Как я рада за тебя, что я хоть чем-нибудь тебя могла порадовать, своей посылкой, которую я тебе передала, но не знаю, все ли ты получила, что я передала, ты мне не описала всего. Был мешочек зашитый, и в нем было: круглый пирог с вареньем, потом кекс круглый, коржики, монпансье, две пары чулок, пудра и мазь, а в свертке был кусок целый сухой колбасы и кефали, а в письме были 9,500 мил. На ботинки. Получила ли ты это все? Картины ли твои сохранились, не испортилась ли эта, где написан Изя? Потому что она сырая, и я не знала, как бы получше ее запаковать. Но не знаю, купишь ли ты что-нибудь за эти деньги, наверное, будет мало, но что я могла сделать? Я больше не имела, чтобы прибавить, папа дал семь с половиной, а остальные я добавила. Я тебе перед посылкой послала письмо, и ты его получила, наверное, но ты мне ничего не написала, был ли там один миллиард, который я вложила в середину письма? Если был, то я каждый раз в письмо могла бы тебе положить кое-что. Письмо твое я получила, то, которое ты выслала 30 октября, и как ты все так пишешь грустно и печально, что и снег, и холодно, и у тебя рваные туфли, и у меня сердце разрывалось на части, но слава Богу, что я смогла хоть что-нибудь тебе выслать, но если бы я не имела бы ничего, что тогда было бы! Я не знаю. Я, наверное, с ума бы сошла, продала бы последнюю рубашку и тебе послала бы. Может, Бог даст, еще через некоторое время еще кто-нибудь будет ехать, я опять тебе кое-что смогу передать. Но как тебе там ни хорошо, ты пишешь, а все-таки без нас тебе скучно. Но пройдет еще немного времени, ты обживешься, заведешь знакомства и понемножку нас станешь забывать и изредка, может, будешь вспоминать свою бедную маму, которая осталась здесь одна и некому ее пожалеть и приласкать, как делала иногда это ты, когда я чего-нибудь плакала. Ты обнимала меня и говорила: «Мамка, не плачь!» А теперь я одна, вот и сейчас сижу пишу тебе письмо и плачу — нет никого, Женя спит, Папы нет, ушел в кустпром, а Нади тоже нет, и так грустно и печально, и ничего нет отрадного.

Утром получила твое письмо, которое ты послала второго ноября. Прочла, немножко всплакнула с радости за тебя, что ты там получила. Я вообразила, как ты была там рада. Я связала вторую кофту теплую, эта вышла длиннее и красивее, так я думаю, ее тебе передать, а ты передашь мне свою. Ну что тебе еще написать, что у нас тепло, холодов совершенно нет, зимы, наверное, совсем не будет — так тепло.

Что ты теперь делаешь, занимаешься, сама или с кем-нибудь, и дай Бог тебе успеха в твоих делах. Работаем мы все так же, как работали, сейчас все здесь страшно вздорожало, хлеб 40 м фунт, и всё остальное очень дорого.

Постараюсь еще чего-нибудь повкуснее. Целую тебя, дорогая моя девочка, и прижимаю к своей груди, и папа тебя целует в твою умную головку. Будь умницей, делай все хорошо.

Твоя мама

г. Одесса. 19 ноября 1923 года

Здравствуй!

Дорогая Маруся, я очень был удивлен, когда получил от мамы письмо, в котором она упоминала о том, что ты уехала в Петроград. Я приехал в Одессу и вот нахожусь уже здесь семь дней, через дня четыре уезжаю обратно.

Судя по твоим письмам, у тебя есть желание приехать на Рождество в Одессу, и так как мои дела теперь сравнительно ничего, то в этом направлении ты можешь положиться на меня: необходимая сумма для поездки будет выслана в ближайший срок. Впрочем, было у меня желание приехать в Петроград, дабы оттуда с тобой ехать в Одессу. Но решил, что вместо того, чтобы тратить 4-5 червонцев на поездку для своего, извини за выражение, «рыла», я определил употребить вышеозначенную сумму на иной предмет, как-то: сооружение пары сапог для себя или же что-нибудь для маман, одним словом, в таком роде. Желательно получение некоторых сообщений о достопримечательностях Петербурга, о которых каждый побывавший в Петербурге говорит о них. Я пускаю туман, когда приезжаю в Одессу, что «мы», мол, в Москве-то и в Петрограде-то живем. Напиши что-нибудь и о московской выставке, попросил бы побольше. Убытки возмещаю (бумага, чернила и проч.).

Ответы на все интересующие меня вопросы желал бы получить тотчас же по получении настоящего письма по адресу: г. Первомайск Одесской губ, Окрземуправление. Землемеру Н. Тарасенко.

Уважающий тебя братик Коля

Моя золотоволосая сестра!

Милая, не сердись. Мое молчание вовсе не вызвано нежеланием писать тебе. Ничего подобного! Ты думаешь, я не хочу. Я все собираюсь с силами и как напишу тебе длинное, длинное письмо. Будешь читать три дня и три ночи (знаешь, как говорится в сказках). Жди и не сердись.

Твоя славная смешная (твое выражение) Надя

Здравствуй, Маруся!

Маруся, я на тебя не сержусь, да и не имею права сердиться. Я рада, что и ты на меня не сердишься. Живу по-старому, хожу в школу, с Надей ругаюсь, да и больше ничего. Пока все. Ей-Богу, не знаю, что больше писать. Ну, пока, всего хорошего.

Твоя сестра Женя

СЕМЕН ГЕХТ ИЗ МОСКВЫ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

20/XI — 23 г.

Милая Генриетта!

Я очень, очень рад. Вы приезжаете? Итак — вы приезжаете — чудесно! Снег будет — пока его нет — дождь и грязь, — но он будет. Его будет более чем достаточно. В воздухе пахнет им, он может пойти каждый час, каждую минуту.

Генриетта, я любопытен. Что это за новости? Кроме того — я сочинитель. Как? Действующие лица не знают о своих действиях и прочее?? Ведь это сюжет — подумайте — сюжет!

Ту мою вещь, которую я хотел вам прислать, я сдал в печать.

А у меня только черновик. Приезжайте — почитаем вместе.

Итак — Соболя побоку! Он уехал и уже нами основательно забыт.

Это письмо мое, Генриетта, будет очень коротким. Я должен сейчас улаживать дела с военным столом.

Завтра я напишу подробнее — мне хочется говорить много, очень много, а сейчас мне нужно бегать выяснять, регистрироваться и прочее.

Иля написал Вам письмецо, просит передать вам — делаю это.

Генриетта, вы безнадежно вклеились в мой обиход. Я чертовски много думаю о вас, я вижу вас во сне, я хочу вас видеть наяву.

Я хочу вас видеть наяву!

Нас ждут московские кинематографы
" " "   пивные
" " "   кремли
" " "   площади

и московские друзья, и московские знакомые! И я! — впрочем, об этом уже было говорено мною впереди.

Целую вас, Генриетта, и жду с адским нетерпением ответа.

Гехт

ИЛЬФ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

19 ноября 1923

Дорогая Генриета, мне передали, что Вы скоро приедете. Я очень рад этому и ожидаю Вас с нетерпением, если по штату мне позволены такие чувства. Что же касается поцелуя, то мне его не передали. Гехт показал мне только три трогательные красные строки, где об этом говорилось. Поэтому я не теряю надежды получить его (поцелуй) после Вашего приезда. Мои надежды нахальны, и я даже удивляюсь себе. Не сердитесь на меня за это. Я печалюсь и просто умираю от детских волнений, которые являются без причины. Если бы Вы знали, в каких сентиментальных выражениях я иногда утопаю, то Вы умерли бы от смеха. Мне самому даже иногда смешно. В Москве легко смеяться и легко волноваться. Я уже год здесь. Я уже больше не ошеломленный провинциал. И все-таки у меня к Москве тесная и теплая любовь. Я очень рад

Вашему приезду, самоотверженно рад за Вас и эгоистически рад за себя. За себя, потому что Вы — Генриета из милого девичьего гнезда на Преображенской и всё такое. Ну, вот и всё. Приезжайте скоро. Пока будьте веселы. Это легко сделать в Одессе перед отъездом в Москву. Передайте от меня что-нибудь Тоне*. Только не «поклон» и не «привет». Это фальшивые слова. Я думаю, что Вам их легко будет избежать и что Тоня все-таки поймет мою преданность и всё такое без поклонов-приветов. Целую Вашу руку и желаю счастливой дороги.

Ваш Иля

*Тоня Трепке.

Ильф был в Петрограде в конце ноября.

СЕМЕН ГЕХТ ИЗ МОСКВЫ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

22 ноября [1923]

Милая Генриетта!

Я сейчас на почтамте. Замерзшая рука с трудом выводит буквы.

Холодновато.

Я смотрел вчера вечером «Капризы мисс Мей» с Мери Пикфорд. И что же? В некоторых местах маленькая Пикфорд похожа на вас. Это нашел не я, а Иля. Он пришел позавчера вечером.

— Гехт, — сказал он, — вы хотите увидеть сейчас Генриетту?

— ??

— Отправляйтесь на Арбатскую площадь в кино б[ывший] Художественный.

— Ах, — протянул я, догадываясь, — вот что...

— Да, — ответил он тоном полпреда, раздувая ноздри, — вот оно что!

Я не побежал к Арбатским воротам, потому что было уже около 12 и кончался последний сеанс.

Вчера я просидел зато весь вечер. У меня теперь уйма забот о всевозможных регистрациях, и я бегаю затравленной крысой по Москве.

Я успел уже подружиться с двумя редакциями, теперь я имею дело с другими тремя редакциями — Москва — провинция большая, и жить в ней весьма забавно.

Милая, дорогая, родная Генриетта, ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся*, Иля и я. <...>

Иля сидел мрачный — нет писем и всё такое. Я сидел тоже мрачный — день был чересчур неприятный. И вот — легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушел.

— Друзья, письмо! — сказал Катаев.

— Это от мамы! — крикнула Муся.

— Это мне! — процедил сквозь зубы Иля.

А я молчал.

Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло:

— Это для Гехта.

А я-то был рад. Я обладаю (на двадцать коп.) пророческим даром. Чудесно, Генриетта!

Я хотел бы, чтобы это письмо не было вами получено, ибо это означало бы...

Это означало бы, что вы выехали, что вы в пути, что вы миновали Круты и Нежин, что вы пересекаете Черниговщину, что ваш состав ползет, замедляя ход, по слабым мостам, через Десну, через маленькую, узкую Десну — ах, Десна, дни мои, слезы мои!

Но если вы еще там, на ул. Петра Великого, в темном дворике, где каменные плиты и дикий виноград, если вы еще там, напишите точнее, подробнее о вашем переезде сюда, в Москву.

Милая, дорогая, родная Генриетта, целую вас и жду ответа.

Гехт

*Муся — тогдашняя жена Катаева.

Москва, ноябрь 30 [1923]

Я не нашел твоего письма на Мыльниковом. Там перебирались из одной комнаты в другую, и письмо затеряли. Мне очень жаль. Я надеюсь, что его еще найдут и оно не пропадет для меня. Я видел тебя только три дня. Милый мальчик, как я тебя вспоминаю. Теплое одеяло, теплый висок, милые, дорогие губы и го-

лос, тихий и оглушительный, будто стреляют в ухо. Это оттого, что так близко, и оттого, что под одеялом. Я трогаю себя за лоб и снова трогаю. Я не знаю, отчего. Это напоминает тебя. Не знаю, почему. Несколько часов назад пошел сильный снег, теперь всё покрыто снегом и очень похоже на Петроград. Как же мне не думать только о тебе. Мальчик, мне без тебя очень скучно. Тебе тоже скучно, мальчик, и это для меня гораздо хуже. За свое отвечаю я, а твою скуку чем мне можно оправдать? Я так чувствую себя виноватым. Очень большой город и твои большие глаза. На санках. На темной Галерной. То, что ты меня любишь, всегда поражает меня. И теперь еще. Я думаю, Маруся, не всегда о себе. Девочка, если я пишу так часто о себе, то разве это не написано о тебе? Может быть, я просто не умею писать. Я любил посумасшедшему весной, когда поезд меня мучил, он так медленно шел, и сейчас я люблю тебя не иначе. Мне кажется, что ты мне мало веришь. Верь мне больше. Крошечный день, три маленьких дня. Через месяц опять. Только через месяц. Мне с тобой не скучно. Мне не скучно с тобой. Странно, я волнуюсь теперь, когда пишу. Я мог бы уже привыкнуть к тому, что люблю тебя, а вот еще не привык. Я люблю и мало спокоен. Ты моя. Зачем мне так трудно. Я целую тебя, девочка. Целую много раз. Не скучай. Не забывай меня. Я очень тебя люблю.

Твой Иля

ИЛЬФ — ГЕНРИЕТТЕ АДЛЕР В ОДЕССУ

Декабрь 1 [1923]

Дорогая Генриета. Я написал ответ немедленно. Вы его не получили и уже не получите. Виноват Гехт. Я уезжал в Петроград. У меня не было марки. Я просил Гехта отправить письмо. Но он посылал телеграммы. А мое письмо лежало на столе. Теперь я

приехал. Я прочел свой ответ. Он был написан серьезно, и мне стало смешно. К тому же Вы уже получили целый веник телеграмм. Я порвал свое письмо и выбросил его. Вот все причины моего невежливого молчания.

Итак, телеграммная горячка Гехта кончилась. Его лихорадка заставила меня сначала печально улыбаться, потом я улыбался весело, а еще потом попрощался с Гехтом. Я поехал на вокзал, он поехал на почтамт. Теперь он больше всего интересуется почтальонами. Вид этих почтенных людей заставляет его сердце шататься. Но Вашего письма нет. И Гехт, совершенно печальный, ест свою яичницу. От горя он стал обжорой. Он потолстел от горя. Отчего же Вы не пишете, Генриетта? Пишите. Иначе он получит заворот кишок, умрет, и его будет хоронить Зозуля*. Это похороны третьего ранга. Ему все сочувствуют, и он ест среди соболезнующих вздохов. Я так мало понимаю во всём, что случилось, что не смогу об этом писать, боясь попасть не в тон. Простите и все-таки пожалейте меня. Ей-Богу, я ничего не понимаю. Во всяком случае, Гехт чист и атакует телеграф не без основания.

Здесь уже зима, и в Петрограде тоже зима. Со всей сбруей, с издыхающими закатами** и великим безмолвием. Маруся смеется надо мной и говорит, что я самый некрасивый. Я целовал милую, теплую руку и даже не пытался защищаться. В печке догорала Помпея, и окно было черное. Петроград огромен и пуст, как зрительный зал посреди дня. Но снег, летящий наискосок, делает его милым и приятным. Может быть, тут важны еще милые, теплые руки. Но я теперь в Москве, и мне не стоит вспоминать Петроград. Иначе я задохнусь, и мое сердце расколется. Я грустен, как лошадь, которая по ошибке съела грамм кокаину. Я заскучал в четверг, а приехал я из Петрограда тоже в четверг [28-го ноября. — *А.И.*]. К этому почти ничего нельзя добавить.

Меня слегка развлекают толстые папиросы и толстый Гехт. Но Гехт бредит письмом и Бабелем. Письма всё нет, а Бабеля слишком много. Приезжайте. Вчера была снежная буря. Приезжайте. Зимой здесь нет ветра. Здесь поставили плохой памятник Тимирязеву. Вы его увидите. Есть много обольстительных мест. Приезжайте, Вы их увидите.

Жмите папу, что есть сил***. Если захотите, напишите мне. Если не захотите, напишите, что не хотите. Целую. Руки.

Ваш Иля

*Гехт в это время начал работать в «Огоньке», редактором которого был его земляк Ефим Давидович Зозуля.

**Образ, заимствованный из стихотворения *Агаты и Лягушки* одесского поэта-футуриста Анатолия Фиолетова (1897–1918), друга и учителя Багрицкого: «Зеленочерный вздох вам посылаю тихо, когда Закат издох».— Сб. *Зеленые Агаты* (Одесса, 1914). Цит. по: Анатолий Фиолетов. *О лошадях простого звания*. Одесса, 2000, с. 65.

***«Престарелый, седоусый отец Генриетты, папа [Савелий Ильич], которого нужно было “жать”, чтобы он согласился на переезд, серьезно заболел» (Сергей Бондарин. *Илья Ильф*. — В кн.: *Парус плаваний и воспоминаний*, с. 169).

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

9-го декабря. Вечер

Дорогая Музочка!

Наконец-то я смогу тебя хоть чем-нибудь порадовать и передаю тебе кое-что. Немножко испекла кое-чего, а то каплю варенья, сахару, меду — и так того-сего понемножку. Чулки тебе твои теплые, чтобы не мерзли твои ножки, которые, бедные, ходят в туфлях по морозу. Но ничего. Бог даст, они заслужат и ботинки. Посылаем тебе немножко денег, один червонец и пятерку, хорошо было бы, если бы и Коля тебе прислал то, что обещал. Если он тебе прислал, то ты мне напиши, как ты думаешь приехать или нет, чтобы я знала, как мне поступить, чтобы выслать еще что-нибудь к празднику, если ты

не сможешь приехать. Слава Богу, наш папаша начал понемножку поправляться, а то было совсем хотел заболеть, его целую неделю трясла всё лихорадка, и он стал такой худой, как ты уезжала, а ведь он было так хорошо поправился. Получала ли ты от Коли письма, он как уехал, нам еще ничего не писал. От тебя тоже вторую неделю ничего не получаю, а так привыкла каждую неделю от тебя иметь письмо. Ты, наверное, на меня сердишься, что я тебе так долго ничего не посылаю, а я так люблю читать твои письма, в которых ты так ласкова бываешь со мной, но последнее письмо было сухое, ты была сердита из-за письма, которое дали читать Генриете. Ну да ничего, всё пустяки, всё будет по-хорошему, лишь быть здоровым. Мы живем всё по-старому, девочки занимаются, а мы работаем. Погода у нас стоит отвратительная, то дождь, то туман, такая сырость, что ужас, так в кости и лезет. Я прямо прихожу в ужас, что же ты там, в мороз и без ботинок.

Что ж тебе еще писать? Разные пустяки, которые мало тебя, может быть, интересуют. Сейчас у нас всё стало дорого, хлеб белый сто рублей фунт, арнаутский 80 рублей, а также всё остальное очень стало дорого, всё по червонному исчислению, мануфактура очень дорого, так что ничего не докупишься. Пока соберешь немного денег купить что-нибудь, но когда пойдешь купить, то за эту сумму ничего не купишь.

Обещал Коля тебе выслать на дорогу, выслал ли? Ах, как бы я хотела бы тебе сделать пальто и ботики, когда горе, что нет денег много, все уходит на кушанье, у нас уже мясо 350 рублей, сало 1 миллиард, но в общем нужно два миллиарда в день нам, чтобы не сидеть голодному, но еще есть и другие расходы. Как много тебе написала, а ничего хоть интересного. Целуем тебя все и желаем тебе успеха, почему ты ничего не напишешь, ты что-нибудь работаешь?

Ну, пока до свидания! Остаемся твои родные и знакомые.

Целую тебя несчетно раз.

Твоя мама

10-го декабря 1923 г.
Петербург

Иля, Иля, мне очень стыдно, что я вчера вам такое писала. Пожалуйста, это ничего. Пожалуйста, пишите ей. Не нужно ничего.

Какая нехорошая я.

Иля, это очень дурное письмо.

Ну, как я могла писать такое.

Пожалуйста, забудьте и пишите ей.

Я знаю, что сейчас тоже плохо выходит.

Но я не знаю, как сказать.

Это, конечно, всё не важно, но, по-моему, вышло плохо.

Мне неприятно, что я сказала, чтобы вы не писали ей.

Я этого не должна.

Ничего, Иля, это так.

Маруся

«Вчерашнее» письмо не сохранилось. В начале декабря между Марусей и Генриеттой произошла размолвка, можно сказать, разрыв отношений. Думаю, из-за этого Маруся и рассердилась на переписку Ильфа с Генриеттой.

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

10 декабря [1923]. Вечер

Дорогая моя девочка!

Пишу тебе немножко, чтобы ты не думала, что мамка тебя забыла. Но что писать, я сама не знаю, что тебя интересует, когда присылаю тебе письмо и пишу разные пустяки. Я когда тебе что-нибудь пошлю, так мне делается хорошо, и я рада за тебя, как тебе будет приятно получить. Если бы я знала наверное, что ты не будешь дома на праздниках, то нужно кое-что тебе опять выслать, чтобы у тебя тоже был праздник. Буду уже кого-нибудь подыскивать, чтобы свезли тебе корзиночку чего-нибудь. Коля как уехал, не прислал нам еще ни одного письма, и мы ничего за него не знаем, как ему там, и так же само, он должен мне сообщить, послал ли он тебе деньги, которые обещал, он мне говорил: обязательно, мама, я ей вышлю, и в тот же вечер мы писали вдвоем. Но, может быть, у него много работы, и еще в придачу не получил денег. Как ты там живешь? У вас там в Петербурге холодно, морозы, и ты, моя бедная девочка, наверное, мерзнешь, или тебе тепло? У нас тоже стало холодно, уже морозы начались и маленький снежок.

Напишу тебе кое-что о наших маленьких делишках. Я переделала Жене пальто зеленое, которое было твое, а Наде перешила бархатное, мы сделали из него манто, но нужно было добирать плюшу, и Надя ходила на Новый базар и докупила куски из старых пальто. Потом нужно было еще купить мех, потому что свой Надя отдала Жене, и мы купили воротник и манжеты из кроличьего меха, очень получился красивый, серый с белыми волосиками изредка, и такой плохой мех и то обошелся нам в 22 миллиарда, и она в этом манто настоящий гвардеец, такая здоровая, она сейчас поправилась и выглядит очень хорошо, и папа, слава Богу, стал поправляться, за что я очень рада. Но больше всего меня беспокоит, чтобы ты не осталась без ничего на праздниках, чтобы я могла так устроить, чтобы тебе прислать, и я буду стараться. Как бы я хотела, если бы имела возможность и для тебя сделать пальто, как я тебе когда-то обещала, но всё сразу не могу, надо кое-что девочкам купить. И я купила им по две сорочки и по платью, а теперь всё так дорого.

Милая и дорогая девочка, не сердись на нас, всё, что можем, мы стараемся и для тебя, насколько возможно. Может, Бог даст, заработаем, тогда и для тебя будет. Письма от тебя мы еще не получили, которые ты обещала нам прислать и написать всё подробно. Пиши нам, как живешь, что ты делаешь. Но больше всего меня беспокоит, чтобы ты не осталась на праздники без ничего, если не сможешь приехать. Я уже хотела бы тебя увидеть, четвертый месяц пошел. Но, Бог даст, когда-нибудь увидимся.

Шлем тебе привет мы все и целуем тебя, дорогая наша девочка, но я больше всех тебя целую, моя Мурочка.

Твоя мама

Москва, декабрь 30 [1923]

Маруся, маленькая и непонятная девочка. Что мне писать. У меня глупая и тупая голова. Не смейся, это так. Разве я уже не говорил много раз и в одинаковых выражениях, что люблю. Мне хочется еще раз признаться в любви. А сколько раз я уже это делал. И я не могу сказать это еще раз. У меня нет такого слова. Мое слово кажется мне уже обиходным. Боже мой, я так глупею, я слишком много думаю о том, что ничего не стоит, и позорно забываю

о человеке, единственном, о любви, мой мальчик, о том, ради чего и чем я жил этот большой, непонятный, сумасшедший год. Уже мне недолго тебя ждать. Не позже чем через месяц мы будем вместе. Мой мальчик, ты мне нужен. Ты говоришь, что мне с тобой скучно. Разве у меня такой вид, что я с тобой скучаю. Милый, дорогой мальчик, мне нужно твое письмо. Почему его нет, большого, маленького, родного письма?

Ты рада, когда я приезжаю. Боже мой, как я буду радоваться, когда ты приедешь. Боже мой, я слаб и, наверно, не смогу тебе даже сказать, как я рад. Я глуп и скрытен. Мне надо видеть тебя каждый день. Скоро освободится моя комната. Мальчик, может быть, мы будем молчаливы, я не знаю тебя вовсе, но и буду учиться знать тебя, ты мне поможешь, что ты делаешь, я так хорошо всё вижу, твою колючую постель, и тебя, теплую и розовую. Не сердись на меня, я мучусь без тебя, без твоих рук и головы. Я хочу иметь тебя рядом с собой и слышать, как ты смеешься надо мной. Маленькая, розовая девочка, в постели ты совсем ребенок, дорогой и единственный. Маленькая, ты совсем одна, потерпи, совсем уже немного. Я тоже один. Мне, наверно, не веселее, чем тебе. Мне очень, очень скучно. Я поцелую тебя тихо и скромно, и мы будем вместе. Маруся, девочка моя, ты скоро приедешь. Целую тебя.

Твой Иля

Из Петрограда в Москву
Дата на штемпеле: 2.1.24

Воскресенье [30 декабря 1923]

На улицах сыро и туман, мокрые тротуары, ноги скользят, подгибаются, и почему-то беспрестанно вспоминаю вас, маленького и большого, под белым с голубыми полосами одеялом, а около дивана туфли, милые туфли.

Вот он, мой Иля.

Я хотела бы, чтобы он слился с туманом, сделался легким и голубым, как он, но все время он, Иля, передо мной, и отогнать не могу.

Вот он, мой Иля.

Сегодня, как вчера, и как вчера не была у вас, так и сегодня, а думала, думала, засыпала, думала, просыпаясь.

Я много думаю, Иля, ничего не понимаю, так что голова становится тяжелой и так тяжело плечам.

Не знаю, думает ли Иля, забыл ли очень или не очень.

Завтра, быть может, будет ясно и солнце, и я пойду к нему, а если будет туман и сыро, тоже пойду, не могу иначе.

Я оттягиваю и боюсь, боюсь узнать, быть может, гораздо хуже того, что думаю. Нет, надо сразу сделать больно, и сделает Иля, которого люблю так много, нежно и тихо, тихо люблю, как никогда, и радуюсь и удивляюсь, пускай он и забыл меня совсем.

Бог мой, как всё.

Я приду, буду молчать, долго молчать, смотреть на него, стены, автопортрет Mifa, и там будет столько слов, слов для моего Или. Потом уйду. Иля будет чужой, как боюсь этого.

Иля будет смотреть на чужую Марусю и тоже будет молчать, а ей будет так больно.

Зачем? Довольно. Пускай будет больно, и конец.

Вот сижу, долго сижу, не могу писать.

Прежде могла безмерно, теперь уже пришло то время, когда так много, что нечего писать.

Ну, что же, что должна написать вам.

Как много должна и как ничего не могу.

Разве только мой Иля милый, под белым одеялом с голубыми полосами, а около дивана туфли, славные туфли.

Вот всё.

1924

Маруся уезжает в Одессу

2-го января 1923 <1924> г.
Петербург

Сегодня я еду. Об этом я хочу сказать вам.

А сейчас солнце, снег, и мне капельку печально.

Мой большой и глупый и милый брат прислал мне деньги.

И это нужно сделать.

Если вы захотите, напишите мне опять в старый и мрачный Вознесенский переулок.

Если мы захотим, я смогу приехать в Москву на обратном пути, как тогда. Помните?

Я хочу.

Это я хотела сказать.

Вот, Иля.

Маруся

Привет Олеше и Мише. Может быть, я нехорошо написала, но мне очень трудно.

Всё расскажу.

ИЛЬФ — МАРУСЕ В ОДЕССУ

Москва, январь 5 [1924]

Мальчик, мне мало писать. Просто в моей пещере нет бумаги. Все-таки стараюсь вместить как можно больше. Ты сама видишь, как я это делаю. Нет, твое письмо хорошее, только слишком короткое. Это маленький шедевр, сотворенный из опыта перед тем,

чего стыдиться, может быть, не стоит. Ведь ты мне говорила, что собиралась уезжать. Я очень рад, что ты дома. Милый мальчик, я послал тебе глупую радостную телеграмму. Это вместо подарка к празднику. Подарок паршивый, зато ты хорошая. Но ты приедешь? Обратно ты приедешь? Или, может быть, тебе уже надоели желтые комнаты и холодные реки. Мне желтая комната кажется уже ненужной. Мальчик, ты не уезжай в Петербург. Приезжай прямо ко мне. Мы уже не будем жить отдельно. Моя комната освободится. Так условимся — ты едешь прямо в Москву, и я встречу тебя опять на том же вокзале, на Брянском, холодном и стеклянном. Мне давно не было так хорошо, как сейчас. Пиши мне большое письмо. И точное. Я тебя очень прошу — точное. Сколько будешь в Одессе и всё такое. Но я тебя не тороплю. Если хочешь побыть дома, то не спеши. С адским нетерпением жду писем. Пожалей меня, мальчик. Пиши. Я привык и не могу без писем. А их стало очень мало. Целую тебя, какую угодно — злую или добрую. Я страшно рад. Ты приедешь прямо ко мне. Жду твоих писем. Веселись и делай, что хочешь. Целую. Девочка, Маруся.

Твой Иля

Москва, январь 14 [1924]

Вежливые люди не начинают письма упреками. Но письмо могло быть еще десятого. 5-го ты приехала. Ну, еще пять дней. Значит, 10-го. Как я невежлив. Пятна на губах становятся все шире. Это вывод из нейтрального положения. Где мое письмо? Мой мальчик. Весь город прорезан толстыми канатами. Это обмерзли провода. Это корабль. Я хожу по этому кораблю. Что со мной делается. Что мне делать. Куда мне пойти сегодня вечером. Куда мне деваться утром. Мне неприятно всюду. Бульвары замерзли. Это не бульвары, это кавказские пояски, серебряные и черные. Где мое сердце. Бульвары мне

враждебны. Я написал тебе много писем. Какой бред, мой мальчик. Ночь и день одинаковы. Ночь — негатив и день — негатив. Белые деревья и черное небо. Корабль покинут людьми. Только я и канаты. Вся теплота была в тебе. Шло от тонкой руки и маленького рта. Что же мне теперь делать. Мимо бешено манифестируют мелочи и снег. Ну, хорошо, я потерял свои обозы. Печаль и пиво, разве это одно и то же. Я бормочу. Но я пива не пил. Ни сегодня и ни еще две недели назад. Ни одна мысль не завязана и не стоит на месте. Это письмо будет так же мало понятно, как и все прежние. Я расчетлив и хитер. Хиромантам иногда нужно верить, если они говорят неприятности. Почему же я так неясно живу. Отчего мне так неудобно. Мне хорошо только с тобой. В тебе всё тепло. Мне было холодно сегодня. Ветер сидел у меня на шее. Он предъявлял ко мне слишком большие требования. Я не снес и окоченел. Почему от меня требуют больше, чем я имею. Я люблю тебя, мальчик мой. Я всегда хочу писать только так. И всегда, кажется, пишу только так. Маруся. Просто, все просто. Ах, как просто. До истерики. Рваные платки белые, снег белый, тисненые стекла белые. Основной цвет. Он же единственный. Я горький человек, смешная тварь. Ну, до каких же пор я буду терять дыхание, сомневаться, ждать тепла оттуда, где его нет. Мой мальчик. Мне скучно? Да, скучно. Ты? Тебя нет. Мой мальчик. Шелковый блестящий чулок. Или нет, не шелковый, кажется. Иначе название. Но как я помню. У тебя большой глаз. Это запоздалое сведение. Но так было. Большой, шелковый, блестящий на сгибе колена глаз. Бред. Поцелуи показывают конец. Дошел до поцелуев, и письмо кончается. Честное слово, я смешная тварь. Когда ты приедешь? Я писал тебе. И послал телеграмму. Сегодня 14-е.

Иля

Ответ на предыдущее письмо:

Спешное письмо
Москва
Солянка, 12
ком. 363
Редакция «Гудка»
Ильфу

19-го января 1924
Одесса

Уже было утро, мне снились страшные сны, и ваше письмо, и крик почтальона. Все это был еще сон. И во сне я читала. И оттого так странно и печально.

Вы не хитры и не расчетливы. Вы просто милый и дорогой. И я просто нужна вам. Вот всё из этого.

Я не знаю, сколько вы меня любите, но я нужна. И сейчас мне не хочется писать вам. Всё просто, ясно и, главное, трезво. Не нужно бреда, бреда милого, дикого и дорогого, бреда во сне. Печально и жалко. Как будто бы вы умерли и я больше не смогу поцеловать вас, не смогу этого сделать, и вот отчаяние. Я всегда мало вас целовала. Мне ничего не нужно от вас.

Я люблю вас. Мне не хочется так много говорить об этом. Всё, что я могу, я вам дам, еще больше, если вы сумеете найти и взять. Это не нужно. Я часто теряю, когда говорю. Но это не то.

Вы мало знаете меня. Что я знаю о вас? Ничего. И мне еще хуже. Мне очень больно и печально. Зачем вы так пишете. Неужели уже совсем так мало вы верите мне?

Я иду и оглядываюсь. Мне не так, как всегда. Мне ничего не стыдно, потому что я люблю вас. Мне просто. Многое иначе. Вы иначе. Мой бедный Иля, это всё так. Я оглядываюсь на себя. Это всё нужно рассказать, рассказывать и держать за руку. Будет легче и яснее. Но вы заставили меня писать, а я не могу писать. Бог мой, это ничего не выдумано, верьте мне. Это уже лучше, а затем это — я не верю вам, вы не верите мне. Бог мой, это смешно, когда так любят друг друга.

Почему нам страдать, задыхаться, не верить. Неужели нельзя иначе. Или мы не можем без этого. Мне почему-то уже не страшно, когда думаю, что так будет всегда.

Бог мой, мне все равно, я слишком люблю вас. И мне вам это будет иначе читать. Ваше письмо пришло в сон, оно было еще во сне, и оттого оно такое милое и дорогое.

Не нужно не верить мне, я дам вам всё, что могу. Будет иначе, будет хуже и будет хорошо. Что я могу?

Я могу очень много и очень мало. Я приеду, поцелую вас и возьму за милую руку. Я приеду на день. Я всё расскажу. Это уже скоро. Наверно, через неделю. Потом мы будем много вместе, и тогда мы всё увидим. Я очень вас люблю. Очень хочу видеть вас. Не нужно ничего лишнего. Бог мой, зачем это всё. Неужели мы не умеем иначе, Иля, ну милый, ну добрый, пусть вам будет хорошо. Ведь я очень люблю вас. Что же? Крепко, крепко целую вас. Ну, родной, ну, всё.

Ваша Маруся

Москва, январь 19 [1924]

Час назад я брался писать. Маруся, из этого ничего не вышло. Я был встревожен. Даже легко обижен. Я буду писать, а ты нет? Первые три строки были трагические, четвертой не было вовсе, и вся эта бумага полетела под стол. На моих глазах эту драматическую бумагу выгнали веником в коридор, а оттуда еще черт знает куда, наверно, в мусорный ящик. Маруся, девочка, я очень рад, что так вышло. Целую маленькую, теплую грудь и большой глаз. Лучше мне теперь, чем час назад? Нет, но я знаю, что смешно сердиться. Я так же тревожусь, но я не злюсь. Я только очень хотел получить письмо. Я и теперь очень хочу. Телеграмма — это не то. Телеграмму страшно получать. Мне было очень тяжело ее разрывать. Я хотел, чтобы она была не от тебя. Я боялся того, что в ней могло быть написано. Может быть, что-нибудь нехорошее? Нет, нет, мальчик. Всё хорошо, ты так хо-

чешь, пусть так будет. Я думал о тебе, немного и горько, о том, какая ты. Я помню тебя хорошей и плохой. Мне всё это одинаково дорого, и всё хорошо вспоминать. Мое сердце двигается, это колет и двигается любовь. Я помню тебя хорошо и сильно.

Я не спрашиваю, почему ты не можешь писать. Я сам не мог писать, и это было только час назад. Хорошо, я буду один писать. Что же? Хочу тебя видеть. Мы лежали тесно и хорошо. От тебя шло много тепла. Теперь ничего. Костлявый Миша толкает меня ногою. Он острый, как плуг, и холоден, как плохое мороженое. Из-за этого я вижу ужасные сны, какие-то голубые френчи. Маленькая, милая, разве это вкусно? Нет тебя, и нет теплоты, томительного жара, есть так мало. Между прочим, я стал уже настоящим идиотом. Меня это мало беспокоит, но другим, наверно, неприятно. По переулку шляются весенние слухи, и слышно мартовское гарканье ветра. Впрочем, он, как в кинематографе, только шевелит сахарными ветвями, но вовсе не дует. И тебя нет, и писем нет. Почему ты не пишешь, когда ты приедешь? Я прошу тебя, мальчик. Спасибо за телеграмму. Девочка, родная, крошечная девочка, отчего ты не пишешь. Я так долго ждал. Не читай то, что зачеркнуто. Это глупо там написано. Твой большой глаз целую еще раз. Милый, теплый, дорогой мальчик.

Твой Иля

Напиши скоро, когда приедешь, и обо всем, что тебе нужно для этого.

Ответ на письмо Маруси от 19 января:

Москва январь 23 [1924]

Спасибо, девочка, за письмо. Ты милая и хорошая девочка. Целую тебя, мальчик дорогой, добрый, милый, мой чудесный большой ребенок. Ну, милый, хороший. Мне так хочется теплоты и близости, чтобы видеть

твои большие, нежные глаза и тронуть маленькую, теплую грудь. Мальчик мой, мальчик. Приезжай скоро. У меня всё не устроено, но всё равно. Мальчик мой. Мы будем вместе. Вместе, я и ты. Девочка моя дорогая, почему ты пишешь, что приедешь на день? Разве ты не получила моего первого письма? Я тебе писал, что ты останешься в Москве. Зачем тебе ехать в Петербург. Моя комната маленькая и дрянная, но разве нам будет плохо? Милый, дорогой, приезжай сразу ко мне. Ну, телеграмму перед приездом и остальное. Ты ведь уже знаешь. Напиши мне, когда. Я больше писать сейчас не могу. Умер Ленин.

Пиши мне, мальчик мой теплый и нежный. Ты очень добра ко мне. Целую тебя, мальчик. Нам будет хорошо. Маруся, милая.

Твой Иля

На конверте поздняя приписка рукой М.: «В феврале я приехала из Одессы, куда ездила к родителям на Рождество, в Москву, и мы стали жить вместе в Чернышевском переулке. В апреле я уехала снова в Одессу».

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

[Апрель 1924]

Милая девочка, ты так давно мне ничего не пишешь, и я не знаю, почему. Мне так приятно, когда я получаю от тебя письмо, но вот сколько времени уже прошло, но от тебя ничего нет. Но все-таки я посылаю тебе маленький подарок, и, собственно говоря, это папа. Этот человек сам захотел сделать для папы услугу за то, что папа для него сделал. Он продал ему мешок муки, и он за это хочет ему услужить, и пока ты к нам приедешь, то немножко поправляйся, кушай яички и масло немножко. Ну, пока, всего хорошего, оставайся здорова и собирайся к нам. Мы все, слава Богу, здоровы, чего тебе желаем. Целуем тебя все.

Папа, Коля, Надя, Женя и твоя Мама

Привет от меня Иле. Пиши, не забывай свою мамку.

Из «Выписи о браке» (тогда это так называлось) от 21 апреля 1924 г.

«следует, что жених (холост) и невеста (девица) вступают в первый по счету брак».

Мама рассказывала о причине официального брака: ездила она часто, билеты на поезд стоили дорого, а как жена сотрудника газеты железнодорожников она получила право на бесплатный проезд.

Телеграмма из Одессы от 25 апреля 1924 г.

МИЛЫЙ ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО МНОГО ЦЕЛУЮ = МАРУСЯ

Спешная почта
Москва, улица Станкевича, № 7.
Типография «Гудка». Ильфу

Одесса, апреля 25го <1924>

Милый, милый мой Иля. Сейчас вечер. Я недавно пришла. Я много ходила. Милый, вы там, и я много думаю, как ваша голова лежала у меня на плече. И весь вы меньше, трогательный и дорогой. Всегда очень трогательный. Это много, и трудно сказать.

Дорогой, вы знаете, как я вас люблю. А люблю я вас очень. И Москва дорогая с вами, и часы, и я не слышу. И лежите вы один под красным одеялом. Уже всё это я говорила. Но я не знала, что это так будет. Я не грущу, нет. Просто мне хочется быть с вами, дорогой. Это так. Что же, дорогой.

Ну, я чудесно доехала, всё цело, кошелёк. Все были любезны, все зараз лезли на третью полку. А сегодня я уже ходила по Одессе. Вот и всё. Одно и то же.

Утром, когда приехала, было очень хорошо. Но потом этот город. Родной, это всё не печаль, и пусть даже печаль. Разве мне это плохо, если это из-за вас. Нет, дорогой.

Когда мы выехали, очень скоро начал падать снег. Было всё бело, совсем зима. Потом град, потом дождь. Я боялась, что и в Москве так.

Бедный и родной, что же сказать вам. Вот, конечно, это ничего — я хотела купить туфли, но здесь нет ни одной пары, как в Москве. Нет. У всех круглые носы. Я была очень зла. И не куплю. Ничего, что я написала вам об этом? Мне не стыдно. Но это смешно — покупать в Одессе туфли, приехав из Москвы. Но это безобразие, Ей-Богу. Правда, Иля? Нет остроносых туфель. Мне ничего не стыдно. Я ничего не боюсь, я не думаю, — я люблю вас. Я помню круглую голову, розовые губы, пальцы мои родные. Вы всё знаете, но мне нужно всё это говорить вам.

Родной, напишите мне. Я знаю, что вы напишете, но я говорю. Дорогой, я не забыла о фотографии. Я помню об этом. И я уверена, что это будет мне. Меня нет с вами. Я только боюсь, чтобы вам не было очень хорошо.

Родной, вы стояли за стеклом, на перроне. Бог мой, вы понимаете, я уже ничего не могу сказать вам, вы не услышите. Уже нельзя тронуть рукой, поцеловать дорогой лоб. Я хочу, чтобы вам было печально. Иля, это потому что я очень люблю вас. Потому.

Целую милый, дорогой лоб. Голубчик, напишите мне скоро. Милый, милый, родной.

Ваша Маруся

Привет Мише и Олеше.

Я посылаю письмо на Чернышевский, чтобы вы не получили и не читали в редакции. Мне не хочется. Может быть, так не выйдет. А если я пошлю спешное, вы скоро его получите. Это для вас и это для меня. Вы скорее мне напишете. Это для меня. Быстрее получу ваше письмо.

Любите меня, голубчик. Я очень хочу лежать у вас на плече. Милый, мой бедный, я очень вас люблю.

Маруся

ИЛЬФ — МАРУСЕ В ОДЕССУ

Москва, май 2 [1924]

Дорогая Маруся, ты видишь, что прошло больше, чем день. Два дня или даже третий уже. Но я сегодня уже сидел на бульваре, и меня обрабатывали. Раньше я не успел, то есть снимался уже раз, но вместе с бандитами Юрой, Валей, Женей и Мишей. У них что-то на фотографии получилось, но я был так весело пьян, что вместо лица вышла какая-то мутная дрянь. Честное слово, милый, хороший, я думал, что сижу спокойно, а вышла чепуха. И вот я сегодня проделал эту сложную штуку уже сам. Ты приедешь, я покажу тебе карточку, она у меня есть. Маленький, дорогой, тебя еще долго не будет. Со мной спит Миша, большой и жесткий. Я боюсь к нему притронуться, я искреннейшая из тварей, он мне мешает. Наверно, я скоро получу твое письмо. Что ты делаешь, бедный мой большеголовый, дорогой, чудесный мальчик. Что с твоей щекой. Мама, наверно, мажет тебя керосином. Бедный, ты приедешь, и тебя никто не будет пачкать керосином. Я тебя поцелую и возьму за руку. Ты приедешь и обнимешь меня, милый мой, нежный ребенок. Уже потеплело, и нет никакого снега. У меня сегодня чисто, а вчера, правда, было грязно, но вчера я ликовал по случаю 1-го мая. Дорогой, добрый мой детеныш, девочка, я посылаю тебе мою морду. Она вышла, как видно, такой, как на самом деле, то есть ужасной. Губы, как калоши, и уши, как отлив. Милый, дорогой, за что ты меня любишь. Я тебя люблю за то, что ты красивая и маленькая. А ты за что? Милый, крепко, много тебя целую.

Твой Иля

Одесса, мая 3-го [1924]

Милый, милый, я очень жду письмо и вот опять пишу вам. Милый, мне так скучно. Ужасно скучно. Я только могу думать и вспоминать о вас.

Дорогой, я ничего не выдумываю. Я помню, как вы сказали. Но это так.

Я знаю одно. Я приеду, мы будем лежать вместе, вы подложите мне под голову руку и скажете — Спокойной ночи, девочка, потом вы поцелуете меня в лоб.

Добрый мой Иля, как я хочу, чтобы вы скорей поцеловали меня в лоб.

Дорогой, я так хочу скорей ваше письмо. Родной, вы не послали мне телеграмму. Иля, ну что же.

Я знаю, что вы написали, и я скоро получу ваше письмо.

И все равно я не приеду раньше, чем говорила. Нет, я не приеду.

Ну, как же вы там? Пожалуйста, только не очень веселитесь.

Я маленькая и с голыми руками. И когда я без туфель, а сестра в туфлях, она выше меня. Ей-Богу. Только вы больше меня.

Не обижайте, родной. Ну не надо, даже если я виновата. Бог мой, мне всегда очень плохо. Не нужно, Иля, обижать меня. Я ведь вас люблю.

Милый, это так, ничего, я вспомнила.

Родной, что вы делаете?

Иля мой. И, пожалуйста, работайте. Я очень хочу. Вы обещали.

Милый Иля, вы знаете, я очень вас люблю.

Ну вот, дорогой, я приеду, и всё будет хорошо.

Правда? И я скоро получу письмо? Да?

И, пожалуйста, не умрите, я очень боюсь и прошу. Ей-Богу.

Милый Иля мой, вы уходили и говорили — будь здорова, девочка.

Ну, Иля, ну милый.

Твоя Маруся

Одесса, мая 8-го [1924]

Сегодня я получила вашу телеграмму. Я еще не очень скоро приеду. Да. Конечно. Я не знаю, что писать. Так. А вы пишите.

Я не очень валяюсь в постели, ну, а курю так очень много. Много.

Приеду не очень скоро. Но скоро. Ну вот, Иля. Не знаю. Но скоро. Конечно. Ну, вот не знаю. Веселитесь, пожалуйста. Бедный, при мне вы ни разу. И не напились так, чтобы лицо трещало и разваливалось. Вы ходите ведь самостоятельно?

Ну, скоро я приеду. И, пожалуйста, веселитесь.

Здесь совсем лето. Я хожу без шляпы, в одном платье. И очень жарко, и солнце.

Я веселюсь. Страшно много говорю. Что же. Мама вовсе керосином меня не мажет. Нет.

Ну, вот всё.

Маруся

Спасибо за фотографию. Вы ужасны. Я задохлась, когда увидела вас. Милый. Бедный мой.

Ответ на письмо Маруси от 3 мая:

Москва, май 7 [1924]

Милая моя дорогая девочка, приезжай сейчас же. Как же ты могла подумать, что надо непременно сидеть в Одессе. Милый мой, бедный, глупый, хороший. Я тебя очень, очень люблю. Мне без тебя плохо. Тебя нет, мой маленький, теплый ребенок. Маленькая грудь и живот, мягкий, хороший, дорогой живот. Маленький, дорогой, ноги твои и колени. Разве я могу без тебя, доброй, хорошей, моей рыжей Маруси. Маруся, милый, приезжай как можно скорее. Мы поцелуемся и будем сидеть вместе. Мы никогда не будем ссориться, честное слово, не будем. Мы будем лежать вместе ночью и утром, и курить папиросы. Маленький мой. Ну, я тебя много, нежно

целую. Я буду бриться и не буду колючий. Ну, приезжай скоро, я тебя хочу тронуть за руку и посмотреть на тебя. Мы будем ходить в кино вместе. Ты меня поцелуешь, милый.

Нежная моя девочка, мне сейчас страшно, что тебя еще долго не будет. Еще, может быть, неделю. А мне страшно хочется тебя увидеть сейчас и обнять тебя, когда ты стоишь. Ты маленький, худой, без башмаков, милый, мой ребенок, девочка еще. Ты же мой, только мой, и я твой, Маруся, только твой. Ты возьмешь меня к себе, тебе будет тяжело от меня, и мы будем вместе смеяться, что мы вместе. Дорогой, дорогой мой, хороший, ты меня целовала. Мальчик, приезжай, мы будем вместе очень долго. Я и ты, и больше никто. Мне очень не терпится, чтоб ты приехал. Целую твою ручку дорогую, рот дорогой и милый, рыжие волосики и пуп мягкий, мой пуп. Что мне делать, мой дорогой? Приезжай сейчас же. Милая девочка, я тебя очень люблю, ты мне пишешь на Вы, а подписалась Твоя Маруся. Милый, дорогой мальчик.

Твой Иля

Маруся уезжает в Москву.

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

На почтовом штемпеле: 27.5.24

Дорогая Мусинька!

Почему ты мне не напишешь, как ты приехала, благополучно ли, сохранилось ли всё в целости, не растеряла ли чего в дороге. И еще о своем здоровье, ведь ты уехала и была так нездорова, я страшно беспокоюсь и не знаю, что подумать, что до сих пор ты не написала, а ведь прошло уже двенадцать дней после твоего уезда, и до сих пор я ничего о тебе не знаю, что с тобой. Если тебе хорошо, ты весела и здорова, то я очень рада, но не дай Бог, что с тобой случилось, то я себе представить не могу и хожу, как сумасшедшая, и целый день

только о тебе и думаю. Пиши, милая моя девочка, не забывай свою бедную маму, в каком смысле бедную, ты, конечно, знаешь, которая только и думает и беспокоится только о вас, ведь вы все мои дорогие дети. А за тебя я еще больше беспокоюсь, потому что ты от меня далеко и я не могу тебя часто видеть и знать, что с тобой, хорошо тебе или плохо.

Работаем по-прежнему, как ты знаешь, я всегда занята, но о тебе думать, моя девочка, каждую минуту, конечно, есть время, и каждое утро жду почтальона, но он ничего не приносит. Посылаю привет Иле. Привет тебе от всех.

Целую тебя, моя дорогая девочка.

Мама

ПОЕЗДКА В САМАРУ, ИЮНЬ 1924

Дореволюционная открытка с изображением Струковского сада в Самаре и подписями на русском и французском языках, получена 16 июня 1924 г.:

Дорогая Маша

Это лучшее место в городе. Больше добавить нет места. И целую.

Иля, ваш

На бланках газеты «Гудок»:

Самара, июль 14 [1924]

Многоуважаемая Маруся, помните ли Вы еще меня? Я теперь живу на Сенной улице. Это возле улицы Льва Толстого и недалеко от Соловьиной. Чтоб я пропал, если я не люблю Вас. Я Вас очень люблю, многоуважаемая Маруся, и я всё вам расскажу. Как мы ехали, как приехали и что случилось.

Поезд бежал очень быстро, и первые сто верст остановки не было. Даже затошнило. Потом показалась Коломна, большое собрание золотых куполов. Мы постояли немного за розовой, облитой светлым

дождем станцией Голутвин и поехали дальше. Рязань тоже была розовая. Всюду продавали малину и ходили мужики, как их рисуют в хрестоматиях. В лапотках и прочее. Нос мой всё это время распухал. Он теперь тоже пухнет, он красный и какой-то очень противной формы. Милый дорогой мальчик, хорошо, что ты его не видишь. В поломанной Самаре он производит сильный эффект. Здесь никто не ходит в белых башмаках, Романовского* считают за идиота, а меня с Юрой за американских евреев.

Да, на всех станциях продавали жареных кур с четырьмя ногами и просто поросячьи ноги. «Тридцать пять копеек, вся удовольствия», как они говорили. Я покупал «всю удовольствию». Честное слово, это хороший край. В Батраках мы ели копченую стерлядь. Вкус голландского сыра. Чудная рыба. Появились какие-то птицы. Тоже из хрестоматий. Удоды, ястреба. Потом мы ехали вдоль Волги. Большая, очень большая, печальная и спокойная река. Потом переезжали Волгу по страшной высоте Сызранского моста. Ехали через мост медленно и долго — 14 минут. Впечатлений от этой честной реки не особенно много. Через четыре часа мы влетели в красивый, очень культурный лес, перескочили опять реку и приехали. Романовский страшно надоедал.

Милая моя девочка, сегодня понедельник, я уже скоро приеду и увижу тебя. Ты розовая, как Голутвин и Рязань. Ты хорошая, добрая и дорогая. Я буду тебя страшно и долго любить. И мы всегда будем вместе. Целую тебя, моя девочка, и пишу дальше. Самара разбита и поломана вдребезги. Но люди здесь живые и знаменитые. У них такие фамилии — Евстропов, Праздников, Рукомоев и так дальше. Мы поселились сначала на Саратовской в доме, который самарская гордость. В нем пять этажей и испорченный лифт. Это гостиница «Националь». На гостиницу и ознакомление с местными пивными ушли все

деньги, и мы поспешили удрать из Самары. Здесь с нас ничего не берут, зато ничего и не дают. Обещали вид на Волгу, но это удовольствие здесь всюду. Все улицы выходят на Волгу. На всех пивных висит устрашающая надпись «Кредита нет даже для Вас». Я тебе, девочка, всё расскажу, когда приеду. Москва лучше, но здесь есть то, чего в Москве нет. Это дичайшая провинция. А пивная улица (Советская) похожа на Балчуг за Москворецким мостом, только Балчуг великолепней. Писать больше не стоит. Я расскажу. По Волге я еще не катался, но кумыс уже пил. Он похож на жидкий, газированный кефир. Против меня висит знамя (на стене). Там нарисован голый мужчина. На груди у него социалистическая надпись, а ногу кусает зеленая змея. Идет дождь.

Я весел и очень тебя люблю. Милый, дорогой чудесный мой мальчик. Мой. Целую тебя очень, очень.

Твой муж Иля

*Романовский — сотрудник «Гудка».

Михаил Булгаков записывает в дневнике: «21 июля. Понедельник. Приехали из Самары Ильф и Юрий Олеша. В Самаре два трамвая. На одном надпись «Площадь Революции — Тюрьма», на другом — «Площадь Советская — Тюрьма». Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!»

ИЗ ОДЕССЫ — МАРУСЕ

На почтовом штемпеле: 23.8.24

Милая моя Мусинька!

Вот уже целая неделя, как я получила твое письмо, а я всё не соберусь тебе написать. Я очень рада, что ты, слава Богу, здорова, а то я очень беспокоилась, мне всё почему-то казалось, что ты нездорова и не можешь мне написать, и оттого я не получаю от тебя писем. Вообще разные представлялись страхи, а тут мне еще одна ворожка гадала на карты и наговорила мне таких ужасов, что я совсем голову потеряла, что у тебя какая-то опасность была, но которая, сла-

ва Богу, миновала, но остальное всё было хорошо. Только выпадало на карты, что ты будешь иметь успех в твоих делах и всё такое для тебя хорошее. Когда приедешь к нам, тогда сможешь лично сама погадать, пойти к ней, она недалеко живет от нас и всегда забирает у меня белые калачи. Но всё это не важно, всё ерунда. Что пишет тебе Коля, как ему теперь живется, кажется, ему теперь немножко трудновато, не так, как раньше. Он мне очень редко пишет. Ну, что же еще тебе писать, моя милая девочка, что я делаю, то тебе моя жизнь известна каждый день одно и то же, и так без конца. Мне только и есть удовольствие и развлечение, как я получаю твое письмо, и мне кажется, что как будто бы я с тобой поговорила, так мне делается радостно и приятно, а сердиться на тебя и думать не смею, но когда долго нет письма, я страшно волнуюсь. Но ты мне будешь писать почаще.

Ну, до свидания, моя милая и дорогая Мусинька, будь здорова, и желаю тебе успеха в твоих делах. Привет тебе от папы и Жени.

Целую тебя крепко.

Твоя Мама

Ma petite soeur!

Как в романах, я начинаю свое письмо по-французски. Милая, милая, я тебя очень люблю. Ей-Богу! Я хочу тебе написать длинное, длинное письмо, но никак не соберусь. Крошка, в тех книгах, присланных мне тобою, была карточка, которую возвращаю. Извини, что не раньше, забыла.

Большое спасибо за книги.

Целую тебя крепко несколько раз

Ta grande soeur
Nadine

P.S. Привет Иле и поцелуй его.

Разреши, пожалуйста, наш спор — т.е. мамин и мой — на карточке плачущая девочка или кукла? Пожалуйста!

Пиши мне, дорогая.

Эта фотография уцелела, и у нее есть своя литературная история.

«Моя комната, — вспоминает Катаев свое первое московское жилище в Мыльниковом переулке, — была проходным

двором. В ней всегда, кроме нас с ключиком [Олешей], временно жило множество наших приезжих друзей. Некоторое время жил с нами вечно бездомный и неустроенный художник [Михаил Файнзильберг, Маф], брат друга [Ильфа], прозванный за цвет волос рыжим. Друг говорил про него, что когда он идет по улице своей нервной походкой и размахивает руками, то он похож на манифестацию. <...>

Так вот, этот самый рыжий художник откуда-то достал куклу, изображающую годовалого ребенка, вылепленную совершенно реалистически из папье-маше и одетую в короткое розовое платьице.

Кукла была настолько художественно выполнена, что в двух шагах ее нельзя было отличить от живого ребенка.

Наша комната находилась в первом этаже, и мы часто забавлялись тем, что, открыв окно, сажали нашего годовалого ребенка на подоконник и, дождавшись, когда в переулке появлялся прохожий, делали такое движение, будто наш ребенок вываливается из окна.

Раздавался отчаянный крик прохожего, что и требовалось доказать» (*Алмазный мой венец*).

Фотография с изображением Ильфа, Олеши, и куклы сохранилась в альбоме поэта-футуриста Крученых (РГАЛИ, ф. 1821, оп. 1, ед. хр. 7). В 1929 году Маф написал под снимком: «Этот Антошка подарен мною Ильфу (брату) в Петрограде». И справа: «Это мой единственный ребенок. М.». Надпись Петрова: «Справка. Малютку звали Антошка. В конце концов ее украли. Евгений Петров». Опубл.: *Фотография из старого альбома*. — Фонтан (Одесса), 2003, № 3 (64). Публикация Александры Ильф.

ПОЕЗДКА В НИЖНИЙ НОВГОРОД, ИЮЛЬ 1924

Открытка от 27.VIII.24 с изображением 2-го Зеленого съезда с Коромысловой башней в Нижнем Новгороде:

Милая и дорогая девочка Маруся, сижу в этом городе и занимаюсь. Напишу письмо. Целую Вас крепко.

Ваш Иля

Н.Новгород, 27/VIII 24

Милый мой, добрый, ты у меня один на свете, больше у меня никого нет. Ты это знаешь. Я здесь уже целый день. Живу на вокзале. Мне дали комнату и постель с одеялом. На одеяле большими буквами вышито «НОГИ»*. Туда надо класть ноги. Сейчас я их туда положу и буду спать. Весь день я обозревал и ездил трамваем. Завтра я ездить не буду. По моим расчетам, трамвай еще сегодня вечером развалится. Так же с одним упованием езжу этими же вагонами по плашкоутному мосту через Оку. Плашкоут стоит на разных бандурах и гаргарах, а рельсы под разными углами приколоты к доскам булавками и больше ничем. Все молятся, когда вагон идет по плашкоуту. Еще ездил на фуникулере, здесь называется «элеватор». Думал, что из меня станет, когда он упадет вниз, и ни до чего не додумался, а просто испугался. На горном берегу стоит такая купеческая гиль с чепухой, с переулками, с лесенками вместо мостовой, что ни в какой Москве этого не увидишь. Все нижегородцы бородатые до отвращения и похожи на Малышева, будто они его взрослые дети. Город очень красиво стоит по обе стороны обеих рек. Ярмарка — запустение. Персы противные, ходят в черных фесках и торгуют сушеной гнилью. Малышев — достойный человек, принял меня с азиатской вежливостью, но потом куда-то провалился. Кажется, его украли вонючие персы. Я удрал, чтобы меня тоже кто-нибудь не обидел. Нашел знакомого одессита. Честное слово. Украл сегодня в Главном доме, в книжном магазине, книгу. Я там спрашивал кое-что и положил свои книги на прилавок. Потом ушел и через полчаса заметил, что у меня лишняя книга «Химическая война». Стало очень стыдно, и пошел и извинился. Извинили. Свиньи.

По Волге шляются пароходы и плачут. По Оке плотовщики медленно разъезжают на больших бревенчатых гаргарах. Вообще — Канада с бородой. Я доволен, что всё это вижу. В половине шестого очень

остро и внезапно захотелось в Москву. Убедил себя, что не надо. Здесь хорошо. Оказывается, ярмарку построили испанцы. Неизвестно, почему.

Был в Кремле и созерцал реки со страшенной высоты. Я тебе расскажу. Здесь живет часовщик Глазиус**. Прекрасная фамилия. Познакомился с ним посредством мошенничества.

Юрию Карловичу прошу передать, что спектакли «Факела» начнутся 29-го. Потому не имел удовольствия и так далее. В объявленном репертуаре водевиль Юрия Карловича*** не значится. Смущен, но соболезную.

Посреди реки горят красные и желтые фонари прямо на воде. В Главном доме висит вывеска «Ось Наталка та Маруся» и продают пряники. Там же портреты Наталки с Марусей. Очень похожа на тебя. Я смотрел на это в половине шестого. Вот как разворачивают любовные комплименты.

Милая моя Марусенька, я тебя буду страшно и долго любить. Ты, наверное, напилась вчера пьяная, пришла домой и плакала. Добрый, милый мой мальчик, я скоро приеду, и мы крепко обнимемся. До свидания, девочка, целую твои губы, руки и всё. До свидания, маленькая.

Твой Иля

* См. описание собесовских спален: «Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово “Ноги”» (*Двенадцать стульев*).

** «Часовой мастер Глазиус-Шенкер» (*Золотой теленок*).

*** Возможно, *Игра в плаху* (1921)

Ильф едет в Одессу

Одесса, 5 августа 1924

Дорогая Марусичка, папа принял меня очень любезно. Я даром жестоко волновался, подъезжая к Одес-

се. Мой папа замечательный, милый старик. Я его очень люблю. Он деликатный, хороший. Он долго смотрел на твою фотографию, но она, как видно, произвела на него должное действие. Милый мальчик, он, кажется, очень доволен, но скрывает это. Мне от этого смешно и весело. Я с папой в большой дружбе. Он подарил для тебя одну штуковину. Я пока об этом не пишу. Это чудная штуковина, и ты, милый, будешь страшно радоваться, когда ее увидишь. Я уже ел скумбрию и сделал один визит к родственникам. Скажи Юре, что я был в «Пивном Колодце», но в самый колодец не спускался (мне стало страшно), а пил пиво наверху.

Дорогой теленочек, мне здесь почти нечего делать, и я скучаю по тебе. Мне трудно проснуться без твоей милой носатой головы рядом. В Одессе жарко. Нападают разные паршивые знакомые, которых я не видел уже 1000 лет. Вообще всякое. Ты понимаешь. Крепко, крепко целую тебя, милая Маруся.

Твой Иля

Был в гостях и понял, кто черненькая. Это жена Хигера. Глупый, я безумно с ней целуюсь. Каждую минуту.

Иля

1925

ИЛЬФ — МАРУСЕ В ОДЕССУ

Москва, апрель 22 [1925]

Дорогой Марусик, ты у меня один на свете. Ты хороший и добрый. Я бы написал новый, но ты будешь смеяться. Телеграмму я получил.

Целую тебя тоже. Ты, наверно, уже потолстела. Я еще не потолстел, потому что на праздниках* много шлялся. Я был в Зоологическим саду и видел: слона (серого), львов (персиковых) и леопарда (ситцевого). Кроме того, 1000 зверей, птиц и гадюк. Мы с тобой пойдем вместе. Миша почему-то не приезжает, и я живу один. В моей комнате очень чисто и даже светло. Милый мой Марусик, напиши мне, пожалуйста, подлиннее и побольше. Живу я неплохо. Один раз ходил даже в кинематограф. Один раз пил даже пиво. Больше разврата не было. Ни с кем я не целовался и ни с кем не обнимался. Достоевчик мой дорогой, как я ни думаю — не могу себе представить, что ты делаешь. Наверно, много спишь и смеешься. Как твои красные чулки? Напиши про всё непременно. Шура за мной ухаживает, дает мне кушать, а утром жарит яичницу. Беспалов меня познакомил с одной старушкой, и старушка будет искать нам новую комнату. Я не напивался и вел себя всё время с достоинством. Погода стала дрянноватая. Кланяется тебе «Водовозная»** башня. Целую тебя, мой мальчик, обнимаю и крепко люблю. Кланяйся всем вашим.

Твой муж Иля

Заходил вчера к Генриетте. Но она, оказывается, давно уехала с мамашей в Одессу.

*Пасха.
**Водовзводная башня Московского Кремля.

Москва, май 1 [1925]

Дорогой мой Марусик, почему же ты заболел. Бедный мой, дорогой. Мне без тебя очень скучно, и день очень большой. Я думаю, что когда ты получишь письмо, твоя спина уже не будет болеть. Милый мой, хороший, папа мне написал, что ты ему очень понравилась. Я очень обрадовался. О чем же ты с ним говорила. Наверно, болтала ужасно много и непонятно. Дорогая мача, крепко тебя целую. Когда ты приедешь? Если тебе скучно, приезжай очень быстро. Мне скучно. Рыжий спит на корзине, на наше ложе я его не пускаю. Он тут похаживает и похваливает твои автопортреты. Кстати, он привез из Петербурга твои автопортреты. Теперь их уже ровно 1000.

Мне очень печально, что ты болен и похудел. Ты побольше кушай, тогда всё пройдет. Купи себе мирмилад и кушай. От мирмилада пузо толстеет. И пуп делается глубокий. Честное слово, дорогой. Я уже совсем забыл, какой ты. А ты, наверно, очень хороший. Рыжий, носатый и толстенький. И новый. Извините, пожалуйста. Сам я понемножку процветаю. Мозоли моей давно нету. Продукты Глика* ее истребили. Осталось еще на четыре мозоли, но я подарил жидкость Великому Арту** из редакции. А он подарил мне штаны. Мои совсем распались. Пиши мне. Крепко тебя обнимаю. Я послал тебе деньги. Целую тебя, мой дорогой.

Твой Иля

Кланяйся твоим мамам и сестрам, и папам, и братьям.

*Жидкость от мозолей.
**К.Н. Фридман (?).

Москва, май 9 [1925]

Дорогой мальчик, приезжай быстро. Конечно, я хочу, чтоб ты приехал. Мне сначала было не очень скучно, а теперь очень. Ты очень давно уехала, мне очень хочется тебя увидеть и поцеловать один раз. Приезжай, теперь тепло, мы будем гулять и радоваться. Добрый мой, милый, толстый мой, хороший. Я буду очень веселый, если ты приедешь. Я написал страшно много «очень», ты извини, пожалуйста. Мишу я на постель не пускаю. Я не потолстел, потому что ты уехала. Приезжай, я тоже потолстею. Целую тебя, мой мальчик, и жду.

Твой Иля

Поклонись всем твоим от меня. Приезжай.

ПОЕЗДКА В СРЕДНЮЮ АЗИЮ, 1925

Открытка:

Сызрань, июнь 21 [1925]:

Дорогая Маруся, на пути в Багдад шлю Вам поклон и всё остальное. Сейчас будет Волга. Но это Вам не интересно. Целую Вас крепко.

Ваш Иля

Открытка:

Оренбург [*зачеркнуто*] Актюбинск, июнь 22 [1925]

Дорогая Маруся, в 1500 верстах от моей квартиры усмотрел верблюда. Корабль пустыни был вместе с лошадью и запряжен в сенокосилку. До Багдада еще далеко. Целую тебя,

Твой Иля

Над моей бедной головой витают ястреба.
Извините, что неразборчиво, трясет.

Иля

Надеюсь, что Вы на даче.

Ташкент, вокзал, 24 июня [1925]

Дорогой мой Марусик, крепко тебя целую. Приехал сюда и, не выходя из вокзала, еду в Самарканд. Очень хочется видеть тебя и сказать тебе что-нибудь очень хорошее. Ты мой дорогой и хороший. Самого Ташкента я не видел (я думаю заехать на обратном пути), но когда я проехал пустыню (настоящую, Маруся, без выдумки, как было жарко) и увидел ташкентский оазис, весь в тополях и финиковых деревьях, то я несколько обомлел. Место необычайное «на взгляд Запада». Библия и Египет. Ходят какие-то полуголые нубийские рабы и говорят о том же, что 100 000 лет назад. И сверкают белками. И зубами. И всюду ослики, телята и прочая библейская арматура. Есть даже Исав и Яков. Много рук, покрытых шерстью, и много субтильных коричневых молодых людей рабоче-дехканского происхождения. А в пустыне на телеграфных столбах сидели беркуты. И, кажется, степные орлы. В общем и целом, это Ветхий Завет. На «Багдадского вора» не похоже. Передай это Перелёшину, если он приехал. Галине** я привезу черепашку (живую) не более пятака (нет, трех копеек) величиной. В самом Багдаде я буду завтра утром. Тебя нету, мой дорогой, и я здесь один.

Целую тебя крепко. Подарков привезу тебе много очень.

Мише передай привет. То же самое Юре.

Милый, мой дорогой Марусик.

Я почему-то не верю, что ты на даче. Дай Бог, чтоб ты еще там жил. Мне очень хочется.

Твой Иля

Целую тебя, дочечка.

*Галина — жена Б.М. Перелёшина.

Открытка от 30.6.25, с фотографией Н.Н. Бромлей, артистки МХАТ-2. Отправлена из Ташкента:

Дорогая Маруся, я третий день в Самарканде. Свыше меры доволен. Комары тоже кусают. За неимением чего другого пишу на наболевшем лике Бромлей.

Твой Иля

1926

Телеграмма из Одессы от 31 мая 1926

НУ ПРИЕХАЛА ЦЕЛУЮ КРЕПКО ПРЕКРЕПКО ДАЧА ЕСТЬ ХОРОШАЯ = МАРУСЯ

Одесса, июня 1-го 26-го года

Дорогой Иля, смотрела одну дачу на 16-ой станции. Там очень славно. Комната одна с передней, террасой стеклянной, кухня, погреб есть. Ну, беседка виноградная, дальше идет фруктовый сад. Предлагают стулья, диван, стол большой на террасе, вода тут же в передней. Всё это отдельно совершенно. Море недалеко. Только через поле, обрыв и море. Есть у нее свои коровы. Очень чисто, выбелено, тихо. Живут там люди, но отдельно совершенно. Там не блестяще, но очень славно. Хочет она денег 125 рублей за всё лето и ни копейки меньше. Там больше похоже на деревню, вида «интеллигентной» дачи нет. Нет аллеек и т.д. Нет песочка, но славно. До этого смотрела еще две дачи. Не понравились. Плохо. Ну, денег меньше не хочет. Я долго с ней торговалась, но ничего не уступает. Сегодня поеду к знакомым, узнаю, что слышно. Я расспрашивала. В Аркадии очень трудно, в Люстдорфе тоже. Очень много занято. На «настоящей» даче, т.е. красивой, комната стоит 35 червонцев. Я всё хорошо узнаю. Устала я сегодня страшно. Очень много ходила. Теперь вот о чем хочу тебя просить. Как только прочтешь письмо, звони Рае* и узнай у нее, где она жила прошлым летом. Адрес точный. Я очень глупо сделала, что забыла узнать адрес. Теперь очень жалею. В конце концов очень трудно и просто невозможно заходить в каждую дачу и

спрашивать: у вас есть комната? Этого я не могу сделать. Я просто узнаю, как и где, и еще поеду. Но, Иличка, мне так жарко это делать. Очень. Денег... Ну, ладно. Если я найду хорошую комнату и недорого, я возьму ее, конечно. Увидим. Подожди, я отдохну. У меня устала рука, и снова буду писать.

Ну вот, я опять пишу. Ну, Иля. Я очень устала. Что я хотела еще написать. Да, вот о чем. Прислугу я решила не брать. Т.е. так я решила с Надей. Даже одна Надя. Вот почему. Нас двое. Нам нужно только обед. Чай поставить несложно. Зачем же она нам, если нас так мало. Надя будет варить обед.

Теперь вот что. Садись и немедленно пиши мне. Напиши тот максимум, который ты можешь заплатить. Вообще напишите, сколько Вы будете давать мне денег.

Иля, поймите, я приеду, мне понравилось, сколько? — мне говорят. Я не могу оставить задатка, ибо не знаю, подходит ли Вам (само собой понятно, что если дешево, то и я замечу, что дешево, и писать Вам не стану), пишу Вам письмо. Когда приходит Ваше согласие или несогласие, дача сдана. Я понимаю, что Вам нелегко. Не забудьте, что хозяевам абсолютно безразлично, живут ли два человека в комнате или восемь. Они не учитывают, что я одна. Пусть больше людей, но и больше денег. Вернее, столько, сколько они хотят. Я же одна. Вернее, с Надей. Ну, Вам понятно.

Ну, еще поезжу, посмотрю. Телеграмму не послала из-за денег. Я не могу взять у мамы. Ездить по дачам стоит денег, у меня их нет, беру у мамы. Мне нравится здесь. Хочу только поскорей переехать. И очень нужны деньги. Отец деньги пришлет Колодину** очень скоро. Пожалуйста, не беспокойтесь.

Так вот, немедленно напишите мне обо всем. Узнайте непременно адрес у Раи. Или у Сокола***. Прошу, отвечайте немедленно. Ждать я не могу. Напишите обо всем обстоятельно. Я же буду искать. Авось. Так напишите, и сегодня же. Непременно. В городе сидеть трудно, и нуж-

ны холсты. Кланяйтесь всем. Напишу сейчас же, как получу Ваше письмо.

Целую Вас, Иля.

Ваша Маруся

*Р.Л. Менделевич.

**Инженер Колодин — сосед Ильфов по квартире в Сретенском переулке. У него одолжили денег для папы Тарасенко, чтобы он мог заплатить налоги или отдать долги. Лейтмотив «Колодин требует вернуть деньги» звучит в письмах месяц подряд.

***Семен Сокол, их друг и фотограф.

Одесса, июня 3-го 26-го года

Ну, Иля, мне уже тошно, столько я наездилась. Всё смотрела дачи. Дачи такие — 15 чер., 18 чер. Комната. Мебели нет, кухни нет. Черт его знает. Я очень зла. Честное слово. Единственное место, что мне понравилось, это на 9-ой станции в монастыре. Там чудесно. Очень большое место, и разбросаны домики. Их много, и только в одном я нашла комнату. Комната плохая. До нее надо пройти комнату, в которой живут. Гудит примус, пахнет рыбой. На втором этаже. Жарко. Там хорошо, но комната. Нельзя. И хотят 10 червонцев. Теперь так — всё, что было хорошего, занято. Осталась одна дрянь, которая через неделю тоже будет занята. Всюду дачники, как мухи. Клумбочки, песочек, всякая красота, от которой тошнит. Я же хочу больших деревьев, траву, тень. Больше всего мне нравится дача на 16-ой станции, о которой я Вам писала. Там удобнее всего. Во-первых, много значит, что мне дают мебель, ничего перевозить не нужно, есть кухня, погреб, это всё очень удобно. Хочет она у меня столько денег потому, что комнату, которая выходит в переднюю, как и моя, она отделит и устроит ход через кухню, значит, нужно сдавать дешевле. Дает она мне посуду, кастрюли. Там у нее не замечательно, но приблизительно то, что я хочу. Она и песочком обещает посыпать. Женщина очень славная и простая. Толстая, с красным рябым лицом, а муж у нее Сезанн красномордый и с белой щетинной бородой.

Я молю бога, чтобы поскорее пришло Ваше письмо с адресом Раиной дачи. Вот еще у меня надежда. Когда я говорю знакомым 125 рублей, говорят — недорого, поэтому платят 18, 20 и 25. Раньше, раньше было дешевле, но теперь наехало много отовсюду. Завтра поеду снова. Я уже маме должна столько денег. Чем я очень довольна, что оставила задаток старухе, 10 рублей, что взяла у мамы. Если найду лучше и дешевле — хорошо, а если не найду... Вы, Иля, пожалуйста, не думайте, что я безалаберно отношусь ко всему этому. Нет. Я бегаю, как собака, с дачи на дачу в страшную жару. Теперь скажите мне, пожалуйста, сможете ли Вы заплатить столько денег? Пишите мне, что делать. Мне так приелись дачи, что ни о чем другом не могу писать. Главное, не знаю, дорого ли. Вернее, много ли Вам столько платить денег. Сколько Вы сможете мне присылать? Надеюсь, что Вы мне написали уже обо всем этом. Ну, Иличка, вот всё, что могу Вам написать. Будьте здоровы, дорогой. Целую Вас. Не могу забыть, что не видала «Три эпохи»*.

Ваша Маруся

Пишите немедленно.

*«Три эпохи» (1923) — фильм Бастера Китона с великолепными трюками, своего рода пародия на фильм Гриффита «Нетерпимость».

Москва, июнь 3 [1926]

Дорогая Марусичка, мне очень обидно, что у Вас нету денег. Извините меня. Послезавтра, 5-го, я Вам пошлю 70 рублей. Купите себе холст, дайте задаток и переезжайте. Если не найдете дешевле дачу, то берите эту. Плохую все-таки не берите. Рая мне дала такой адрес: 7-ая станция, Вагнеровский пер., № 11. Горецкий Александр Васильевич, кажется. Скажите, что Вы знакомая Раи.

Я сплю на Вашей постели. Очень мне удобно. Мой папа еще не приехал и вообще не пишет.

Теперь о Вашем бюджете. Я смогу присылать Вам рублей 120 в месяц. Постараюсь больше. Если, конечно, ничего не изменится. Например, если меня не выгонят из одной из редакций.

Следующие деньги я смогу послать Вам только через 2 недели. Так что Вы сообразуйтесь. Пожалуйста, только не голодайте. И живите спокойно очень.

У меня в комнате чисто. Морда моя опять болит, но, наверно, пройдет. Целую Вас крепко. Всем Вашим кланяйтесь.

Твой Иля

Одесса, июня 6
26-го года

Иличка, где это Вы надписывали конверт? Отчего такой дрожащий почерк? Иля мой, бедный, у Вас болит голова. Бедный мой. И даже пожалеть некому и поцеловать Вас некому, чтобы всё прошло. Мальчик мой дорогой. Ну, давай разговаривать. Только не о дачах, нет. Через час я поеду смотреть по Вашему адресу.

Иля, маленький, сейчас я приехала с дачи. Дача мне очень понравилась, но его не было дома. Завтра утром я снова поеду туда. Поскольку я видела, там трава, деревья, много заросших мест «без песочка». Мне очень, очень хотелось бы получить там комнату. Ша, ша, какой я несчастный, мне уже так надоело ездить и смотреть. Если бы не было жарко, но при такой жаре ничего нельзя сделать. И у меня такое чувство — вот возьму эту, а потом обидно — вдруг есть дача и хорошая, и дешевая, а мне жарко, и я не поехала туда и туда, не посмотрела еще раз, и живу в дыре. Нет, конечно, это не совсем так. Но я очень много выбираю, а выбор-то и небольшой.

Ну, что же мне делать, дорогой? Посмотрю, поезжу еще. Но всюду очень дорого. Как мне хочется, чтобы была комната на Раиной даче. Чтобы переехать и жить уже спокойно. Там очень хорошо, Иля. Но где хорошо, там давно занято, а что не занято плохо, и мне, конечно, не нра-

вится. Ну, вот как я много пишу об этом. Тебе еще не надоело? Дорогой мой, пожалей Марусичку. Что же еще?

О папином долго писать неприятно. И мне и жаль его, и... Я и не знаю. Он несчастный человек. Деньги он, конечно, пришлет. Что делать. Мне страшно неприятно перед Колодиным. Очень, очень. Но еще больше перед Вами. Я уехала и избавилась, а Вы его видите каждый день. Мальчик мой, извините меня, пожалуйста. Ну что я могу сделать. Ничего. Только говорить папе без конца. Ну, он смотрит на меня виноватыми глазами. Иличка, Вы понимаете всё, дорогой. Я скажу Вам. Через день, два папа пошлет 10 червонцев и еще через неделю остальные. Вот всё. Не знаю, что и делать. Но у него долги, долги, без конца. Эти деньги, что пошлет, он занимает. Мне страшно его жаль. Он несчастный человек, Иля.

Вот всё, дорогой. Извините. Мне очень неудобно из-за отца. Так, дорогой.

Маленький, пусть не болит у Вас голова. Обязательно напишите мне. Я буду ждать. Иличка. Маленький мой Иля.

Маруся — твоя

Одесса, июня 7-го
26-го года

Иля, я сняла дачу. Уже окончательно. На 6-ой станции. Дача славная. Сегодня снова исходила тьму дач. Была на даче у Горецкого. У него абсолютно ничего нет. Отчего Вы не написали в апреле? Можно было приготовить хорошую комнату, — сказал он мне.

Ну, рассказывать не стоит, где я только не была. О своей тоже не хочется писать. Приедете — увидите. Разве что комната очень хорошая, прекрасная, есть и деревья, есть и травка. Только вот к морю не очень близко, но ведь мне не очень это и надо. Цена 115 рублей. Это самое дешевое, что я вообще выторговывала до сих пор. Это, Иля, недорого.

Иля, я буду жить очень экономно, и сколько бы ты ни присылал, денег мне хватит. Задаток же старушка мне отдаст. Ну, ничего. Я очень довольна. Серьезно, Иля. Там чу-

десная крыша, а на крыше вышка, на которой мы будем с тобой сидеть и целоваться. Иля, тебе, наверно, понравится.

Я пишу тебе часто, ибо всё время хочется тебе рассказать.

На этой даче я внесу при переезде 25, оставила задаток в 15 рб. Значит, сорок, а остальные в три срока. Значит, каждый месяц. Понял, Иля? Ну, вот и всё.

Мальчик мой, как же ты живешь без меня? Марусика нет, ничего нет. Как же так. Маленький, маленький мой. Иля мой добрый, дорогой. Я крепко, крепко тебя люблю. Ну вот, и я очень часто думаю о тебе и думаю, что тебе будет очень трудно. Иличка, мальчик, ну голубчик, ты приедешь, и нам будет очень весело. Я сначала хотел написать, что за дачу 100 рублей, но потом раздумал. Иличка, честное слово, я очень много исходил, и это самое «по возможности дешево». Иля, пиши мне, пожалуйста. Я очень, очень хочу. И напиши еще, пожалуйста, много. Ну, обо всем обо всяком. Пожалуйста.

10 июня [1926]

Иля, я только что получила твое письмо. Ты, наверно, уже получил мое. Завтра я переезжаю. Пиши мне, пожалуйста, туда. Адрес такой: Средний Фонтан, 6-ая станция. Экономический переулок, дача № 7. Е. Ганской для М. Файнзильберг. Вот так.

Бедный, так тебе очень жарко. Иля, я купила холст очень хороший. По 70 к. Это очень дешево. Устроил мне знакомый. Целых 7 метров. Дают вообще только полтора. Ну, не важно. Вот уже дождь. Прошлую ночь был страшный град. Одна знакомая, посчитав, что у нее разбито 16 стекол, упала в обморок.

Вот уже третий день дождь. Если будет так дальше, будет не очень весело.

Дорогой Иля, у нас есть соломенная лежанка, которую я купила для Нади, и есть огромный гамак, который достала Надя. Мальчик, вот так. Что же?

До свиданья, дорогой. Будь здоров. Пиши мне, Иля.

Твой Марусик

Одесса, июня 14-го
26-го года

Снова я пишу. Ужас, ужас, ужас! Что Вы будете делать, бедненький. Давно я Вам не писала так часто. Даже тогда, когда Вы были в Москве, а я в коллективе. Сегодня весь день шел дождь. Целый, целый день. Ветер, холод и совершенная осень.

Натягивала и грунтовала холсты, намучилась, испачкалась... как только я умею. Надя уже легла спать, я напишу и тоже пойду.

Мальчик, я очень хочу начать работать. Как только высохнут холсты, я это сделаю. С гамака я падала два раза — в первый раз одна, во второй вместе с Надей. Не успела Надя сказать: Когда будем падать, подымай голову, — как мы упали. Голову я всё же ушибла, и она весь вечер болела. Гимнастикой я занимаюсь с таким упоением, что у меня «болит аппендицит». Надеюсь, что пройдет.

Ради бога, Иля, мое пальто упаковано? Я очень беспокоюсь, сделала ли это Шура. Надеюсь, что сделала. Если нет, сделайте это немедленно.

Дорогой, как же Вы живете? Обедаете ли Вы дома?

Дорогой, не считайте безумием, что так часто пишу. Думаю, что со временем это пройдет. Дождь падает и падает, и всё это поэтому. Не думайте, что мне скучно или тоскливо. Мне очень хорошо. Иличка, пишите мне, пожалуйста, часто. Иля, слушайте, я очень сонный, и мне хочется сказать Вам что-то хорошее, хорошее, а что — я не знаю. Иля, маленький, тебе не скучно без меня? Тебе хочется меня видеть? Мне хочется все это услышать от тебя, и поэтому я спрашиваю. Наверно, так. Голубчик, спокойной ночи. Я пойду спать. Иля. Это я тебя зову, чтобы покивать головой и поцеловать воздух. Помнишь, мы так делали. Вот я киваю головой.

Будь здоров, маленький. Пиши мне, пожалуйста, и не скучай.

Крепко тебя целую. Пиши на дачу.

Вот я твой Марусик. Крепко, крепко тебя целую.

Я хочу спать, и перо уже заплетается.

Ну, до свиданья, мальчик

Твоя Маруся

Кланяйся, пожалуйста, Нюме. Напиши мне, что он делает.

Я смотрю на Ваши фотографии и страшно рада, что они у меня есть. Очень, маленький.

Мальчик мой дорогой.

Ну, вот и всё.

Москва, июнь 14 [1926]

Дорогая моя Марусичка, я получил твои письма и очень рад за всё — дачу, вышку. Целоваться будем очень крепко. Ты меня извини, что я тебе написал «по возможности дешевле». Ты же хороший и дорогой. Ты чистенький и очень мой дорогой. У меня морда ничуть не болит, и вообще это было совсем не то. Это у меня от зуба болело. Никакого переутомления. Но спасибо, что ты меня пожалел. Я очень радуюсь, что ты уже переехал. Очень тебя прошу не скучать и жить спокойно. Кушай побольше, а кури поменьше. И не бегай. Сиди на одном месте и рисуй. Мой папа приехал сегодня и уже храпит. Правда, сейчас около 12-ти.

Я очень хочу тебя видеть и поцеловать. Очень долго еще ждать. Но ты, пожалуйста, не скучай. Ты живи себе спокойно. В субботу я пошлю тебе 30 рублей. В ту субботу еще. Сегодня понедельник. Так что вовсе не скоро еще до субботы. Я купил себе еще одну рубашку необыкновенного цвета, как радуга. Тебе кланяется Перелёшин, Надежда Львовна, Соня и другие гражданки. Я тебе тоже кланяюсь. И папа кланяется. Не могу много писать, как ты просишь. Я люблю тебя очень много. И почему-то жалко тебя очень. Хочу, чтоб ты жил хорошо и спокойно. Очень хочу. Будь добрый, живи тихо и хорошо. Толстей. Кланяйся своим, особенно Наде. Причин особенной

моей склонности ей не объясняй. Я еще сам не знаю этих причин. Целую тебя очень сильно и добро. Сам живу тихо. Целую.

Иля

Колодину деньги нужны весьма. Ты потороши папу непременно, но сама не волнуйся. Целую тебя, доча моя.

Колодин меня пилит, и я не знаю, как быть.

Склонность (можно сказать, любовь) Ильфа и Нади была обоюдной. Из ее неопубликованных воспоминаний: «Я познакомилась со своим новым родственником, когда М.Н. приехала на дачу в Одессу, где мы жили вдвоем, у самого моря. Мне тогда было около 15 лет, но я была хорошей хозяйкой и поварихой. Она могла спокойно заниматься своей живописью. Моя дорогая сестра никогда не любила заниматься хозяйством. Туда же приехал Илья Арнольдович. Я не сразу привыкла и полюбила его. Мне он показался некрасивым, и потом — какое-то темное пятно на губе. Он шутил, что это пятно у него потому, что его бабушка была негритянка. А потом я очень полюбила Иличку, как и все: мама, папа, брат и младшая сестра. Все. И навсегда».

Одесса, июня 17-го 26-го года

Милый Иля, получила недавно твое письмо. Два часа назад. Вы смешной. Живу, конечно, спокойно. Хожу очень мало. Только сегодня немного больше. Хочу начать работать, но проклятые холсты никак не сохнут. Черт знает, когда высохнут.

Теперь слушай, мой маленький. К твоему папе есть тысяча поручений для меня. Во-первых, мои шкрабы, то есть старые черные туфли, которые мне сильно пригодятся во время дождей на даче. Если, конечно, это удобно. Затем пришли мне на три рубля денег меньше, а на них пойди и купи, пожалуйста, такие туфли, как я себе купила. 41 номер. Пожалуйста, очень прошу. Будь добреньким. Это так — спустишься по Неглинной по Кисельному, пройдешь налево, и там будет эта лавочка. Если у

тебя нет времени, попроси Нюму или Шуру. Еще необходим Глик — боюсь, что он будет преследовать меня всю жизнь. Пожалуйста. Очень прошу.

Ну вот, маленький. Напиши мне, что тебе очень хочется поскорей меня увидеть, что хочется меня поцеловать. Я очень хочу тебя видеть, дорогой.

Иля, еще просьба (честное слово, мне неудобно просить), но нужно на Рождественке во Вхутемасе купить 3 тюбика белил. Здесь они гораздо дороже и хуже. Они по 50 коп. Ничего? Если не хочешь, то не надо. А денег пришли меньше на столько, на сколько истратишь.

Дорогой, всё это привезет мне твой папа. Глика обязательно. Здесь о нем, конечно, даже не знают.

Маленький, я немножко мучусь с «рисованием». Очень трудно. Вчера ставила nature-morte. Ничего не выходит.

О папе я тебе всё расскажу. Я даже не могу и думать о деньгах. Что я могу сделать? Было так. Эти деньги лежали целую неделю, пока шел суд. Папа Луке ничего не заплатил. Потом. Я и не знаю. У него куча долгов. Он этими деньгами уплатил долг старый, который у него требовали. Каждый день он платит 5 рб. процентов. Я не знаю, что будет. Мне страшно его жаль. Он говорит, что целыми ночами не спит и всё думает, думает. Волосы у него стали совсем белые. Бедный мой папа. Я вначале требовала, кричала, что там ждут (мне было очень неудобно перед Вами), но теперь, после всего, я не могу уже этого делать. «Маруся, я отдам, еще немного», — говорит он. Бегает, занимает, чтобы послать Колодину. Вот так. Это всё ему очень трудно. Мама страшно волнуется, что меня впутали во всё это, — как она говорит. Иличка, еще немножко, и он пришлет деньги. Пожалуйста. Я напрасно пишу Вам всё это. Ведь к Вам это не относится.

Ну, целую Вас крепко, дорогой. Кланяйтесь Вашему папе.

Маруся

На отдельном листке:

Дорогой мальчик, шкрабы, белила и две порции Глика передал папе. Будет ли он в Одессе 25-го числа. Туфли не мог тебе купить, у меня сейчас нет денег. Будут в субботу, но сегодня только среда. Ты меня, пожалуйста, извини. Дорогой мой мальчик, пусть папа пришлет хоть сколько-нибудь денег и как можно быстрее. Я знаю, что ты все делаешь, но мне очень трудно говорить с Шурой. Он часто меня спрашивает. Он уже уволен, и, видно, ему нужны эти деньги. Но ты сама не волнуйся. Живи себе тихо. Я страшно хочу тебя видеть. Я о тебе думаю часто и много. Целую, дорогой. Затылочек тоже целую.

Одесса, июня 22-го
26-го года

Дорогой Иля, как же ты живешь. Маленький мой, мне сейчас очень хочется тебя видеть. И чтоб ты меня пожалел. Я очень устал, хочу спать и потому жалобный. Сегодня начал работать. Писал. Весь день. Но больше так не будет. Я очень устал поэтому. Уже думаю о работе, и мне тяжело. Со мной всегда так. Сердце почему-то очень бьется нехорошо. Не знаю почему. И сегодня уже третий день, как мне горько. Ем, и горько. Всё горько — хлеб, мясо, молоко. Никогда в жизни со мной такого не было. Почему это. Горько, и трудно есть. Наверно, пройдет.

Скажи, пожалуйста, Колодину, что остальные деньги скоро будут, а за просроченное время будет заплачено процентов сколько нужно. Папа просил передать тебе свои извинения. Ему очень, очень неудобно, но иначе он никак не мог. Я очень рада, что послали хоть сколько. Ничего, Иличка?

Бедный мой, Колодин тебя очень пилит? Извини нас, пожалуйста, Иля. Что ты делал эти два дня Троицы? Вспоминал меня? Мальчик, я всё спрашиваю, вспоминал, вспоминал? Иличка мой, я совсем тебя забыл. Всегда так. Губы, лоб, руки — всё забыл. Оттого, что не чувствую.

Сегодня получила деньги. Спасибо тебе, дорогой. Мне капельку всегда неудобно их получать. Целую тебя крепко. Руку целую. Люби меня, пожалуйста. Иля, очень хочется тебя видеть.

Твоя Маруся

Одесса, июля 1-го
26-го года

Дорогой Иля, я даже не знаю, как об этом написать. Мне страшно неудобно. Вы, бога ради, меня извините. Иличка, мне нужны десять рублей, нужно на зубы. Это вдруг так неожиданно случилось. Мне их абсолютно неоткуда взять. Я знаю, как у Вас мало денег, и поэтому мне стыдно просить Вас об этом. Но что я могу сделать. Дорогой Иля, Вам, наверно, неприятно, что я так об этом пишу, но я не могу иначе. Мне всегда стыдно просить у Вас деньги. Сейчас я взяла из тех, что Вы прислали. Потом, когда мне не хватит, я возьму у мамы. Так что мне не сейчас нужно, а когда сможете прислать.

Мальчик мой дорогой, я очень Вас люблю. Я очень по Вас скучаю. Иля, Иличка, ты, наверное, уже уехал, если вышло. Вчера я была у Вашего папы. Папа мне всё передал. Спасибо Вам, Иля, за всё. Была я очень возмущена, когда папа сказал, что наш стол плохой, что Вас надули. Я его уверяла, что это не так, что стол хороший. Вот как это было. Просили приходить, я благодарила и обещала.

Два или три дня носила с собой письмо, что Вам написала. Писала, что мы очень любим друг друга и что все же чужие. Может, и хорошо, что не послала. Если Вы уехали, это письмо будет Вас долго ждать. Я читаю Чехова, и почему-то хочется плакать. А Вы мужчина, и ничего не поймете, хотя любите меня. Я Вам ничего не хочу говорить. Люблю, а не хочу и не могу.

Я очень черный и очень красивый. Я не хотела писать Вам до сих пор, чтобы Вы сразу увидели и удивились. И потолстел я на 10 фунтов. 4.10. Что будет к концу лета, не знаю. Может, еще похудею. Надо утешать себя, что тол-

стеть не буду. Морда вот у меня очень толстая. Даже неудобно, когда смотрюсь в зеркало. Встретит Вас женщина черная и вся в бицепсах, не удивляйтесь — это буду я, вроде борца. Живот только вот еще не очень твердый. Я не пудрюсь и не крашу губы, очень себя люблю и очень страдаю. А Вы всё такой же? Вы не изменились? Любите меня в тысячу раз больше, если можете. Я не могу. Я еще люблю более нежно, чем страстно, а Вам уже пора любить иначе. Курю я много, иногда даже очень много. Черт его знает, что пишу. Играла, конечно, музыка, открывался чудный вид на море, было печально, и хотелось целоваться.

Вот какой я глупый. Но зато Вы меня любите, а Вы умненький. Неужели мы когда-нибудь жили вместе? Целовались, ели вместе, спали вместе, фисташки грызли. Помните? Честное слово, не верится в это. А потом будем вместе. И будет — неужели не видали два месяца друг друга, неужели не целовались, не спали вместе? Прости.

Господи, как я буду рада, когда получу вашу телеграмму, что вы приезжаете. Неужели я поеду на вокзал и встречу вас там, неужели трону за руку. Страшно думать об этом. Мы будем ехать вместе на извозчике.

Я не могу. Я хочу, чтобы меня обнимали, целовали, очень крепко любили. Я молодой и очень хочу любви. Не удивляйтесь. Я молодой. У вас прошло, потом Вы мужчина. Я хочу пудриться, и чтобы это видели, хочу быть красивой и чтоб нравилась.

Иля, поцелуй меня крепко и прижми меня сильно, сильно, чтоб нечем было дышать.

Твой Марусик

Москва, июль 5 [1926]

Дорогой мальчик, я беспокоюсь. От тебя нет писем, и я думаю, что ты болен. Почему ты мне не писала, была ли ты у папы. Я тревожусь, ты писала, что тебе всё горько, может быть, ты заболела. Дорогой, милый мальчик, если б завтра хоть пришло твое

письмо, я был бы очень рад. Целую тебя крепко. Получила ли ты 60 рублей? Кланяйся Наде. Целую тебя очень.

Твой Иля

Колодин ждет по-прежнему.

Ответ на письмо Маруси от 1 июля:

Москва, июль 6 [1926]

Моя дорогая, милая дочка, ты меня извини, что я все время так коротко пишу. Я не знаю, может, я слишком много думаю о мелочах — они у меня занимают много места. Я тебя люблю, как прежде любил. И я хочу тебя любить, потому что ты мне родная. У меня уже никого нет ближе тебя. И если тебя нету, мне уже не с кем жить. Мальчик мой тихий, мне хочется быть с тобой и разговаривать в постели, ты же любишь говорить по ночам речи, и я тебя всегда слушаю внимательно. Ты моя, и я буду только твой. Хочу тебе писать много, и не выходит, кажется. Я беспокоился о тебе, боялся, что ты болен. Ты очень потолстел, наверно. А я не потолстел, наверно, даже похудел. Но ты еще толстей, пожалуйста. Я приеду, и ты меня тоже утолстишь, если так можно сказать.

Насчет денег, тебе должно быть, в самом деле, стыдно, потому что мне неудобно, когда тебе стыдно просить. Мне делается тебя очень жалко, мне кажется тогда, что я тебя всегда обижал. И мне очень горько и несчастно. Дорогая девочка, мы же всё устроим. Я сегодня послал тебе 10 рублей. 15-го пошлю 50 рублей.

Ты совсем черный? Наверно, все-таки не черный, а коричневый. И волосы светлые. Наверно, очень смешно. Целую пальчики твои дорогие и мой пальчик тоже. Нос у тебя блестит или не блестит? А щечки блестят. Ты очень мне дорога, Маруся. Я вспоминаю тебя и думаю, что всегда тебя обижал. Я буду хорошо с тобой жить. Обнимаю тебя и целую.

Твой муж Иля

Через месяц, наверно, увидимся. Не скучай. И не худей, а толстей.

Забыл написать, что я никуда не еду. Отказался. Не хочется.

Москва, июль 16 [1926]

Дорогая собака, почему ты мне не пишешь? Раньше писал часто, а теперь, когда ни приду домой — смотрю на стол, а никакого письма нет. Милый и дорогой мальчик, очень надолго мы расстались. Другой раз, честное слово, не надо так надолго. Мне скучно без тебя. Не знаю, что делать, до отпуска еще целый месяц. Никуда я не хожу, то есть редко. Братья мои беспрерывно толкутся на глазах, но в комнате чисто. Купил себе несгораемый плащ. Он ужасно воняет. Купил себе ботинки (мне в дождь не в чем выйти), но польстился на дешевку (20 рублей — желтые и тупые) и, кажется, купил липовые — из промокательной бумаги. Это уже давно (две недели назад), так что наиболее острая сердечная боль (по этому поводу) уже прошла. Так что в жизни никакие особенные удачи меня не посетили. Тебя тоже нету, и даже пожаловаться некому.

В «Р[абочей] Москве» я работаю очень мало (жарко) и, соответственно, мало получаю. Об этом не сожалею. Ты мне всё не пишешь, хватает ли тебе денег. Это не дело. Иногда я думаю, что ты неистово голодаешь. Но почему ты тогда потолстел? Потолстей еще, пожалуйста, и я буду знать, что денег хватает. Что у тебя случилось с зубами? Сегодня я думал, что, наверно, будет письмо, и не было. Ты, кажется, меня разлюбил. Я тебя вовсе не разлюбил и люблю еще больше, чем раньше. Если ты хочешь, буду любить тебя страшно, сделаю всё, что ты хочешь.

Я тебе послал сегодня сорок рублей. Это до конца месяца, больше у меня не вышло. Напиши мне, проживем ли мы вдвоем на 150 рублей в месяц, ког-

да будем жить вместе. Это столько у меня остается чистых денег на «кушать». Не огорчайся, мой мальчик, что я все время пишу о деньгах. Ну, вот. Тебе кланяются все твои бесчисленные знакомые, включая Анну Васильевну.

Муся по-прежнему пикает, Перелёшин придерживает нижнюю челюсть, Олеша болеет всеми болезнями зараз, Миша покупает себе кальсоны, а Женя кричит и барабанит на пианино. Завтра мы все идем на матч Одесса — сборная Москвы. Пожалуйста, не завидуй.

Ты мне пишешь хорошие письма, я их читаю всегда по три раза и больше. Только надо писать чаще.

Твой муж и поклонник Иля

Как тебе живется? Напиши подробно, ты ничего об этом не пишешь. Ты пишешь мне или не пишешь? В заключение скажу тебе по секрету, что Колодин ждет денег. Секрет небольшой, но надоедливый. Ты все-таки не огорчайся и не плачь. Целую тебя.

Иля

Борис Перелёшин постоянно придерживал нижнюю челюсть — это была его характерная черта: «Перелёшин, держащийся за подбородок» (Петров), «...шел Перелёшин, сутулясь, держа руку у рта, он, заикаясь, бормотал...» (Из воспоминаний художника Даниила Дарана *В редакции «Гудка»*). Ильф сфотографировал его именно так (1930). Евгений Петров был на редкость музыкален и отлично играл на пианино.

Катаев вспоминает: «Он [Олеша] был мнителен и всегда подозревал в себе какую-нибудь скрытую, смертельно неизлечимую болезнь. Одно время он был уверен, что у него проказа. Он сжимал кулаки и протягивал их мне:

— Посмотри. Неужели тебе не ясно, что у меня начинается проказа?

— Где ты видишь проказу?

— Узлики! — кричал он.

— Что за узлики?

— Видишь эти маленькие белые узелочки между косточками моих пальцев?

— Ну, вижу. Так что же?

— Это узлики, — говорил он таинственно, — первый признак проказы. Узлики!

Слово «узлики» он произносил с особым зловещим значением. Не узелочки, а именно узлики.

Однажды под зловещим знаком узликов прошел целый месяц: ключик ждал проказы и был в отчаянии, что проказа не проявилась» (*Алмазный мой венец*).

Москва, июль 20 [1926]

Дорогая девочка, я очень испугался твоей болезни и даже теперь не совсем верю, что ты здоров. Будь добрый мальчик, не болей очень много и не болей. Я очень боюсь, потому что меня нету и я ничего не знаю. Если бы я был с тобой, я бы тебе говорил что-нибудь, и тебе было бы легче болеть. А без меня лучше старайся не заболеть. Я крепко и сильно тебя люблю. Скоро уже приеду, будем жить вместе, и нам будет очень хорошо. Я скоро приеду, ты, пожалуйста, не унывай. Я же скоро. Мне очень хочется ехать, страшно. Милый мальчик, целую тебя очень добро и нежно. Жду твоего письма. Они теперь редко приходят.

Сегодня приехала Пикфорд с Фербенксом. Смятение у Александровского вокзала было необыкновенное. Как будто Керенского в 17-ом году встречают. Сильно дамское общество. Зрелище было занимательное. 20 тысяч психопатов и 20 тысяч людей, обошедшихся без истерики. Все кричали ура и бежали за автомобилем. Я рассмотрел только великого барбоса (Фербенкса), а Мери так и не заметил. Великий барбос точь-в-точь багдадский вор. Нюма видел аглицкую Мерю и гордится. Миша стоял впереди прочих и ничего не увидел. Тоже гордится. Расскажу тебе, когда приеду. Писать об этом сложно.

Дела мои обычны. Колодин ждет денег, я жду отпуск. Получила ли ты 10 и 40 рублей? Напиши. Кланяйся Наде и всему семейству. Луке все-таки не

кланяйся по-прежнему. Пусть страдает. Тебя целую и обнимаю.

Твой муж и повелитель Иля

«Приехала Мэри Пикфорд. Она приехала с Дугласом, у которого щеки были такие, что за ними не было видно ушей.

Она ехала мимо бедных, полосатых полей. С ней вместе ехал оператор, снимая ее, уже немолодую, толстого ее, славного и уже уходящего из славы мужа.

Поезд бежал, бежали желтые станции. На вокзальных площадях люди кричали.

Махали кепками.

Девушки в кофточках, сшитых из полосатых шелковых шарфов, приветствовали Мэри. На вокзале собралось тысяч пятнадцать. Люди висели на столбах перрона. Немолодые люди с высоко подтянутыми брюками, люди в пиджаках, застегнутых на одну пуговицу, и в серых, из бумажного коверкота рубашках приветствовали знаменитую американку.

Толпа бежала за автомобилем. В автомобиле Мэри с открытыми пыльно-золотистыми волосами.

Ночью пошли на Красную площадь. Вверх подымались купола церкви, похожей на тесно сдвинутые кегли.

Пропустили в Кремль. Дуглас залез в большую пушку, как когда-то залез Макс Линдер, но в пушке было не смешно.

Город был очень серьезный, и актеры не решались на развязность».

Виктор Шкловский. *Жили-были*. М., 1964, с. 343–344.

Олеша вспоминает: «Я шел навстречу потоку, так что несколько раз я отскакивал от бегущих на меня. <...>

Поток движется на меня — по тротуару и по мостовой... Это прибытие в Одессу Керенского. Люди бегут за ним, рядом, впереди. <...>

— Ура! Ура!» (*Книга прощания*)

Москва, июль 26 [1926]

Милый Марусик, получил деньги и отдал их Колодину. Добавлять ничего не добавил. Полагаю, что ему хватит.

Я приеду немножко раньше. Получу отпуск 10-го августа. Выторговал себе отпуск на 5 дней раньше.

23 – 4720

Выеду, наверно, 9-го и приеду 11-го. Уже скоро. Ты потерпи немножко. Напиши мне, как твое здоровье. Есть ли надежда, что ты будешь весить семь пудов и будешь «роскошная» дама с бедрами, как у извозчика. Я живу тихо до ужаса. Никуда не хожу. «Р[абочую] Москву» совсем бросил. Там жарко и работы нету. В кино не хожу, в гости не хожу, не толстею, но не очень печалюсь. Мечтаю есть следующее: скумбрию во всех видах, помидоры, пшенки, кавуны, кефир, брынзу и дыни. Наши знакомые всё такие же самые. Тоже не толстеют. Кланяйся своему семейству и моему семейству (если увидишь). Целую и обнимаю тебя. Очень хочется на тебя посмотреть, какая ты.

Твой Иля

Одесса
Августа 10-го [1926]

Приезжайте сюда, дорогой. Иначе я приеду через неделю к вам. Мне кажется, что не видала вас очень давно. Соорудим вам небольшие бега из местных собак, если станет вам очень скучно. Приезжайте, я ничем не соблазняю вас, но здесь просто не плохо. И папиросы близко, и трамвай ходит буквально каждые пять минут, море недалеко очень, не высоко, на берегу скамьи, вечером будете наблюдать отражение луны в море, это очень красиво. Вообще вышел полный соблазн. Но не могу не упомянуть о даче, которая маленькая, но расположена в прелестной местности, полна зеленью, имеются огромные ели, длина каждой превышает длину дачи. Веранда большая, и только наша комната в два окна светлая. Приехали бы вы, и потом еще есть здесь Маруся, ваша супруга. Честное слово, меня вы совсем забыли. Я же люблю вас нежно, уважаю по-прежнему и жажду вас видеть. Напишите сейчас же или еще лучше — когда вас встречать. Я надену новое платье, постараюсь стать красивой и любезной. Подумайте, мальчик. Я буду очень рада, действительно, если вы приедете. Иногда я пишу вам взволнованные и нежные письма, вы мой друг единственный и дорогой.

Ваша Маруся

1927

ПОЕЗДКА НА КАВКАЗ И ЗЕЛЕНЫЙ МЫС, 1927

МАРУСЕ — В ОДЕССУ

Москва, июнь 3 [1927]

Дорогая доча, я очень обрадовался твоей телеграмме. Целую тебя в щечи. К сожалению, я уже не смогу сейчас узнать, где твоя дача. Я очень устал и рад, что уезжаю. Я тебя люблю крепко. Мой милый, я постараюсь обязательно приехать к тебе. Все твои вещи я захватил собой. Рубашку взял у Сони. Ее адрес — М. Лубянка, дом № 16, кв. 10. Буду тебе с дороги писать очень часто. Извини, что так коротко написал. Через 2 часа мне ехать. Кланяйся всем. Постараюсь привезти тебе подарочек. Целую тебя сильно.

Твой муж Иля

Владикавказ, 6 июня [1927]

Дорогая Маруся, завтра утром Ваш худощавый муж будет скакать по хребтам. Хребты видны с той улицы, где помещается наш Гранд-отель, и производят нешуточное впечатление. У самой подошвы Кавхребта помещается пивная «Вавилон». Уже имеется Терек, который «дробясь о мрачные» и далее.

Целую Вас нежно. Мне все-таки кажется, что человек создан для того, чтобы ходить по ровным местам, а не по ущельям и всяким дикостям. Впрочем, посмотрим.

Ваш худощавый Иля

Как Вы поживаете? Поживайте, пожалуйста, хорошо.

Тифлис 8 июня [1927]

Дорогая Марусичка, крепко тебя целую. Милый мой, дорогой ребенок. Я проехал по Военно-Грузинской дороге и видел все красоты природы. Ехали мы чудно, и всё оказалось правдой. Замки Тамары стояли на каждой версте. Всякие крутизны и пропасти самые глубочайшие не вызывали, однако, особенной паники. С оскаленными зубами не удалось полежать. В общем, дорога замечательная. Тифлис тоже милейший город. Расскажу особо. Сегодня вечером едем в Батум. Милый, дорогой мальчик, очень хочу тебя видеть. Из Батума напишу больше. Сейчас надо укладываться. Будь здорова, девочка. Целую твои ручи дорогие.

Твой муж Иля

Батум, Зеленый мыс, 12 июня [1927]

Дорогой мой, нежный Марусик, я уже засел на одном месте. Здесь волшебные природы. Живу на вилле, пределы которой необозримы, пальмы, бананы и лимонные деревья с зреющими плодищами внушают уважение. Самые неприкрашенные тропики. Для разнообразия можно посидеть под араукарией, эвкалиптом или магнолией с цветами, похожими на нежнейшую в мире опухоль. Если всё будет в порядке, посижу здесь до 24-го и поеду прямо в Одессу. Купаюсь по мере способностей.

Милый и дорогой, думаю о тебе часто, и мне очень совестно, что ты не со мной. Милая моя мача, доча моя хорошая. Не кури, пожалуйста, много. Когда я уезжаю, то вижу, как я тебя крепко люблю. Я не могу любить других. Ты мой самый хороший, дорогой очень. Целую тебя, девочку мою.

Кланяйся всем твоим, маме, папе, Наде и Жене. И Коле, если он есть. Целую тебя, девочка моя, дорогая, локоточек.

Твой муж Иля

Москва, 5 июля [1927]

Дорогой Малик, приехал исправно. У нас было немного засорено, но сегодня всё уже сияет. Убрали и вымыли даже пол.

Вчера послал на имя Елены Андреевны 60 рублей по телеграфу. Наверно, ты уже получила.

У меня ничего необыкновенного не произошло. Работаю немного. Целую твои щечи и затылочек. Живи, пожалуйста, тихочко. Пиши быстро. Наде очень кланяйся.

Твой Иля

Москва, август 2 [1927]

Дорогой Марусичек, извини меня, дорогой, что я так долго не отвечал. Мой хороший мальчик, я очень добро к тебе и жалею тебя. Ничего, ты приедешь, будем очень хорошо жить вместе. Я тебе буду помогать, не буду тебя мучить и всегда с тобой буду разговаривать обо всем.

Миша сегодня уехал в Одессу вместе с Юрием Карловичем. Не знаю, писал ли тебе, что Перелёшин болен (с тех пор, как я еще уезжал в отпуск) и лежит в больнице. У него и сердце, и болезнь крови. Положение его, кажется, не особенно хорошее. Сам он немного удручен и говорит о смерти.

Маля дорогая, я тут очень забочусь о хозяйстве, купил 2 простыни (полотняные), 4 полотенца вроде того, что я тебе оставил, и множество носовых платков и носков. Так что тебе не придется думать о носках и их искать, как ты всегда это делала. Хочу комнату не оклеивать обоями, а покрасить клеевой краской. Напиши, согласна ли ты?

Работаю я много, но не особенно уж так. Перестал играть в теннис, потому что у меня появился какой-то особенно вонючий насморк, какой-то теннисный. Придется немножко обождать, пока не пройдет.

Деньги я пошлю тебе завтра телеграфом. Напиши, где ты обедаешь и что делаешь. Я уже раз просил, но ответа не последовало на эти законные вопросы.

Носки я иногда ношу даже розового цвета. Необыкновенно элегантно и вызывает восторженные крики прохожих.

Кланяйся, пожалуйста, Наде и всем Вашим. Целую тебя и обнимаю. Пиши. Когда ты думаешь приезжать.

Милая моя доча, мы будем очень хорошо жить. Купим тебе шляпу и заживем очень элегантно. Как Муся. Целую тебя, мальчик мой, нежный и добрый.

Твой муж Иля

Одесса, август 27-го года

Как это ни печально, приходится взять темой для письма мелкие хозяйственные дела, неминуемо связанные с деньгами. Долго объяснять не стану, а дело вот в чем: во-первых, у нас нет одеяла, вернее, есть даже два, но они оба годятся к дьяволу, а поэтому, желая одно из них привести в порядок, требую не меньше как 15 рублей. Понятно? Если у Вас есть другие соображения по этому поводу, то напишите. А принимаю только следующее — не делать, ибо купила новое, дорогое, красивое одеяло. Вот так. Иначе мы обречены зимой на гибель. Вполне серьезно. Затем (всё это, конечно, только в том случае, если у Вас будут деньги, в чем сильно сомневаюсь) необходимо привести в некоторый порядок мой скудный гардероб. Ибо опять же по приезде в Москву не в чем ходить. Здесь же Надя мне всё сделает. Если б Вы были умным супругом, то Вы, например, купили бы какой-нибудь шерстяной чепухи на платье, а также и сатиновой на одеяло, вроде того, что у нас на одеяле, или красивее, полагаясь на Ваш вкус. Здесь всё гораздо дороже. В-третьих, мне нужно 12 рублей на туфли, как это ни странно. Потому что, опять же, по моем приезде в Москву мне не в чем будет ходить. Дожди, слякоть, и желтые разлезутся моментально, а затем... я даже не знаю, что затем. Здесь же за 12 рублей очень хорошие туфли на низком каблуке, крепкие, выдерживающие самые сильные хляби московских погод. Фу, даже жарко стало, пока написала. Всё Вам теперь из-

вестно, предоставляю Вам слово, которому безусловно повинуюсь как слову супруга и повелителя. Думала сэкономить, но ничего, конечно, не вышло. Живут у меня Надя и Женя. Дома плохо, девочки у меня, и всё же маме легче. Единственное, что я могу сделать. Бедная Надя попрежнему возится с обедом.

Комнату можно, конечно, покрасить, только вот цвет и как будет сделано. Полагаюсь всецело на Вас.

Приехать думаю, если будут хорошие погоды, числа 20-25 сентября, если же дожди и т.д., то, конечно, раньше. Были дожди, и похоже на осень. Живу по-прежнему. Пишите, пожалуйста, на дачу, письма приходят исправно. Потому что дома очень задерживаются. Вот и сейчас, может, дома письмо, а привезти некому. Пью пиво, ем мороженое, помаленьку веселюсь. Привет, обязательно, Перелёшину и Мише. Скажите последнему, что очень тронута письмом и что книга мне очень понравилась, что никогда не читала подобного, что это необычайно.

Пишите быстро.

Целую Вас

Маруся

19.8.27

Перевод на 15 р. — к.

На обороте:

Маруся, требуемые деньги (15 р.) посылаю. Шерсть и сатин будут куплены и быстро отосланы. Если Вам интересно, то сообщаю, что туфли здесь носят уже на мужском каблуке, но ноги по-прежнему не моют. Обязательно сообщите, получили ли 60 р. Мне кажется, что я напутал в адресе. Напишите дачный адрес. Я его забыл. Вообще пишите.

Ваш Иля

Одесса, август [22] 27-го года

Дружочек мой, маленький Иля, зачем же мне писать хотя бы одну букву, — я напишу Вам много, много букв. Я очень Вас люблю и очень хочу видеть. Вот одна буква. Вы

нежный, милый, дорогой — вот вторая буква. Я могу очень много их сказать. Вспоминаю о Вас очень нежно. На ночь я читаю географию, и мне снится небольшой земной шар, он в кровавых линиях, границах, я хочу встать на него ногой, он вертится, нога скользит. Так всё время, так долго. Вы подумайте — карты, это очень интересно. Сны хрустальные и граненые. Как пробка. Сквозь смотреть. Это всё география. Жизнь моя течет плавно, однообразно. Я могу много болтать, Вы слушайте снисходительно и добро. Я совсем не умею жить, и так, кажется, будет всегда. Меня это не ужасает. Меня попросят рассказать о Вас. Я скажу — нежный, милый, дорогой — может, это будет много рассказано. Больше ничего не знаю.

Маруся

Иличка, Иля, крепко целую Вас.

Москва 25/VIII [1927]

Дорогая Марусичка, приезжай уже скоро. Если ты хочешь, можешь приехать после первого числа, когда я пошлю деньги.

Я тебя очень люблю и жду тебя. Ты не грусти, мы будем вместе хорошо жить.

Я послал тебе всё, что ты просил. Только подкладка, кажется, слишком жесткая для одеяла. Шерсть была эта самая лучшая. Дороже были только уже очень дорогие, 50 рублей метр и так далее.

Пиши мне, хочешь ли приехать после первого или еще побудешь.

Целую тебя нежно и крепко.

Твой муж Иля

Одесса, август [27] 27-го года

Маленький мой, как же Вы живете? Почему Вы не пишете. Напишите мне, дорогой. Я страшно обрадовалась, когда получила посылку. Быстро порола, чтоб скорей посмотреть. Сегодня 27-ое, до 31-го 4 дня, до 20, вместе 24 дня. Значит, три недели. Через три недели я приеду. Мне хочется поскорей приехать, и вместе нужно побыть подоль-

ше, хочу. Вот так, дорогой. Вы меня любите? Я Вас очень люблю. Недавно я лежала и вспоминала, какой Вы, когда побреетесь. Я Вас плохо помню. Ну, лоб, губы, руки, но нужно всё видеть. Маленький, мой маленький. Что же сказать Вам. Напишите мне, Иля. Напишите, что любите меня. Мне странно, когда подумаю, что столько времени не видим друг друга. Почему? За что? Но так выходит, так нужно. Если б нужно было жить в Москве, нельзя было бы уехать, было бы печально и обидно. Всегда ведь так.

Дружочек Иля, очень Вас люблю. Ждите меня, Иля, и думайте обо мне иногда, когда ляжете в постель и будете засыпать. Я ведь доча, локоточек, затылочек. Мне очень нужно, чтоб Вы обняли меня и поцеловали.

Ваша Маруся

12.9.27
Перевод на 60 р.

На обороте:

Дорогая Маруся, поезжайте, конечно, в мягком. Посылаю 60 рублей. Писем больше писать не буду. Жду Вас. Зайдите к моему папе и возьмите греческую голову*. Приезжайте скорей. Кланяйтесь всем от меня.

Ваш Иля

*Вероятно, это и есть та самая «чудная штуковина», о которой Ильф писал из Одессы Марусе 5 августа 1924.

ЭПИЛОГ

Среди писем Ильфа лежали листки, исписанные маминым почерком.

Перечитывая его письма, она приписывала по нескольку строчек.

Иля уехал из Одессы 7 января 1923 года. 6-го января был сочельник, и мы виделись вечером. Когда я пришла в «Коллектив», соседи уже легли спать, дверь они закрыли на большой крюк, и я пошла с другого хода и долго стучала в дверь, пока они мне не открыли. Они очень сердились. Когда я прошла ряд больших комнат и пришла в красную небольшую, где мы встречались, тотчас раздался стук в дверь, это стучал Иля. Я побежала открыть ему и была рада, что успела до его прихода попасть к себе в комнату. Я, конечно, если б соседи не открыли, ждала бы его на парадной, но где бы мы провели этот последний вечер перед отъездом. Я разожгла маленькую железную печку, она раскалилась докрасна, и сидели с ним до двенадцати часов в этот январский холодный одесский вечер, потом он ушел. Мы очень любили друг друга, мы проводили вместе много ночей, но мы не были мужем и женой, пока я не приехала в его маленькую, как телефонная будка, как говорил Булгаков, комнату в Чернышевском переулке. Я знала многих людей, но он был необычным человеком, больше таких не было даже похожих.

Мне очень скучно без него, скучно давно, с тех пор, как его нет.

Это последнее из слов о том, что я чувствую от его утраты. Много, много слов о нем в душе моей, и вот сейчас, когда прошло много лет и я читаю его письма, я плачу, что́

же я не убила себя, потеряв его — свою душу, потому что он был душой моей.

Скучно, скучно, потому что, кроме него, я не знала более чудесного человека. Жизнь моя стала интересной, он научил меня многое понимать. И никто, никогда не мог сравниться с ним. Ах, боже, что же писать. Восхищение, восторг, вот что вызывал он во мне. Никогда не придумано, всегда ко всему громадное, глубокое чувство и радость жизни, и много терпения и мужества, и вера, что всё будет хорошо. Голубчик, голубчик мой единственный любимый.

Утро. Половина шестого. Я не сплю. Проходит какое-то время, и я вновь читаю эти письма. И плачу. Он близко ко мне, голова, руки, грудь, прижатую ко мне, я чувствую сквозь тонкую белую рубашку. Он весь ощутим, ближе ко мне, чем если был бы в другом городе и [...]

Нет слов, нет слов, — говорю я, опустив руки. Тоска, такая тоска. Вся моя прожитая жизнь здесь, до последнего его дня. Прощай, Иля. Мы скоро увидимся.

Вот снова прошло много времени, и я читаю. Часто нельзя — разорвется сердце. Я старая, и вновь я та, что была, и мы любим друг друга, и я пла́чу.

[1960-е, 1970-е?]

СОДЕРЖАНИЕ

Ильф А.И.

И45 Илья Ильф, или Письма о любви / Александра Ильинична Ильф; Неизвестная переписка Ильфа. Биографический очерк. Комментарии. — М.: Текст, 2004. — 349 с.: ил.

ISBN 5-7516-0427-X

Классик русской сатиры Илья Ильф предстает на страницах этой книги в неожиданном качестве влюбленного. Он мучается и страдает, и не меньше страдает «нежная девочка с большим сердцем» Маруся Тарасенко — его будущая жена. Встречи их коротки, разлуки долги, но письма, которые они пишут чуть ли не ежедневно, помогают им ощущать друг друга рядом.

В книгу вошли недавно найденные восемьдесят писем Ильфа и два его неизвестных рассказа, письма родственников и друзей Ильфа и Тарасенко, дополняющие их романтическую переписку, а также биографический очерк, который охватывает одесский период и первые годы жизни Ильфа в Москве и включает непубликовавшиеся прежде документы из семейного архива Ильфов.

Издание продолжает серию книг, посвященных жизни и творчеству Ильи Ильфа и Евгения Петрова, подготовленных и откомментированных Александрой Ильф.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

А.И.Ильф

ИЛЬЯ ИЛЬФ, ИЛИ ПИСЬМА О ЛЮБВИ

Неизвестная переписка Ильфа

Редактор В.В.Петров
Художественный редактор Т.О.Семенова

ISBN 5-7516-0427-X



Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000

Подписано в печать 15.09.04. Формат 84 × 108/32.
Усл. печ. л. 18,48 + 0,84 (вкл.). Уч.-изд. л. 20,21.
Тираж 3000 экз. Изд. № 537.
Заказ № 4720.

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82; E-mail: textpubl@mtu-net.ru
http://www.mtu-net.ru/textpubl

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г.Можайск, ул. Мира, 93



КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТЕКСТ»

Оптовая и розничная торговля:
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, 7/1
Тел./факс: (095) 156-42-02

Торговый представитель в СПб.:
ООО «Алан». Тел.: (812) 312-52-63

В Москве книги «Текста» можно купить в магазинах:

Дом книги «Молодая гвардия»
Большая Полянка, 28

Московский дом книги
Новый Арбат, 8

Торговый дом «Библио-Глобус»
Мясницкая, 6

Торговый дом книги «Москва»
Тверская, 8

Книжная лавка РГГУ «У Кентавра»
ул. Чаянова, 15

«Пушкинист»
Страстной бульвар, 4, подъезд 10

«Музыкальный парк»
ул. Никольская, 17


2005007594



Первая публикация переписки Ильи Ильфа и его невесты, а затем жены Марии Тарасенко. В книгу вошли полторы сотни писем и подробный биографический очерк с неизвестными документами из семейного архива Ильфов. Издание продолжает серию книг, посвященных жизни и творчеству Ильи Ильфа и Евгения Петрова, подготовленных Александрой Ильф.